БАТЮШКОВ

Анна Сергеева-Клятис

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Один из наиболее совершенных стихотворцев XIX столетия, Константин Николаевич Батюшков (1787–1855) занимает особое место в истории русской словесности как непосредственный и ближайший предшественник Пушкина. В житейском смысле судьба оказалась чрезвычайно жестока к нему: он не сделал карьеры, хотя был храбрым офицером; не сумел устроить личную жизнь, хотя страстно мечтал о любви, да и его творческая биография оборвалась, что называется, на взлете. Радости и удачи вообще обходили его стороной, а еще чаще он сам бежал от них, превратив свою жизнь в бесконечную череду бед и несчастий. Чем всё это закончилось, хорошо известно: последние тридцать с лишним лет Батюшков провел в бессознательном состоянии, полностью утратив рассудок и фактически выбыв из списка живущих.

> Не дай мне Бог сойти с ума.
> Нет, легче посох и сума… —

эти знаменитые строки были написаны Пушкиным под впечатлением от его последней встречи с безумным поэтом…

В книге, предлагаемой вниманию читателей, биография Батюшкова представлена в наиболее полном на сегодняшний день виде; учтены все новейшие наблюдения и находки исследователей, изучающих жизнь и творчество поэта. Помимо прочего, автор ставила своей целью исправление застарелых ошибок и многочисленных мифов, возникающих вокруг фигуры этого гениального и глубоко несчастного человека.

- А. Ю. Сергеева-Клятис
  - ○
  - ○ ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ○ ГЛАВА ПЕРВАЯ
    - ■ I
    - ■ II
    - ■ III
  - ○ ГЛАВА ВТОРАЯ
    - ■ I
    - ■ II
    - ■ III
    - ■ IV

- ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - I
  - II
  - III
- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - I
  - II
  - III
- ГЛАВА ПЯТАЯ
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
- ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - I
  - II
  - III
  - IV
- ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
- ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - I
  - II
  - III
  - IV
- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - I
  - II
  - III
- ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  - I
  - II
  - III
  - IV
- ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
  - I
  - II

- III
- IV
- V

- ЭПИЛОГ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К. Н. БАТЮШКОВА[603]
- БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79

- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123

- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167

- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211

- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255

- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299

- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343

- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387

- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431

- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475

- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497
- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519

- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541
- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563

- ○ 564
- ○ 565
- ○ 566
- ○ 567
- ○ 568
- ○ 569
- ○ 570
- ○ 571
- ○ 572
- ○ 573
- ○ 574
- ○ 575
- ○ 576
- ○ 577
- ○ 578
- ○ 579
- ○ 580
- ○ 581
- ○ 582
- ○ 583
- ○ 584
- ○ 585
- ○ 586
- ○ 587
- ○ 588
- ○ 589
- ○ 590
- ○ 591
- ○ 592
- ○ 593
- ○ 594
- ○ 595
- ○ 596
- ○ 597
- ○ 598
- ○ 599
- ○ 600
- ○ 601
- ○ 602
- ○ 603

А. Ю. Сергеева-Клятис
Батюшков

Батюшкова могут ныне не читать или читают мало; но тем хуже для читателей.

А он все же занимает в поэзии почетное место, которое навсегда за ним останется.

П. А. Вяземский

Слог Батюшкова можно сравнить с внутренностию жертвы в руках жреца: она еще вся трепещет жизнию и теплится ея жаром.

Д. Н. Блудов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Константин Николаевич Батюшков прожил 68 лет. Срок этот вполне можно было бы назвать долгим, если бы в 32 он не ощутил очевидных признаков наследственной душевной болезни, которая еще через два года фактически исключила его из списка живущих. Он был одним из самых талантливых стихотворцев эпохи и по степени дарования мог соперничать (и соперничал) с поэтами первой величины, а вскоре, еще при жизни, был объявлен предтечей Пушкина. Однако всегда был неуверен в себе, свое поэтическое творчество оценивал преимущественно невысоко и занимался литературным ремеслом как бы между прочим, в перерывах между другими, главными — служебными и хозяйственными — заботами. Он входил в самый выдающийся круг современников, среди его друзей были не только крупнейшие литераторы, но и весьма влиятельные люди, государственные деятели, однако сам он не сделал карьеры, не получил чинов, да и проклятый материальный вопрос тяготил его не слишком благополучное существование. Он был хорош собой, приятен в общении, порой блестяще остроумен в беседе, за его плечами были два военных похода, ранение, смертельные опасности, однако в него не влюблялись женщины и личная жизнь Батюшкова — одна из самых печальных страниц его биографии. Список противоречий и странностей, которыми был исполнен его долгий-короткий век, можно продолжать до бесконечности. Во многом Батюшков остался загадкой не только для исследователей и потомков, но и для современников, даже близких друзей. «Кроткая, миловидная наружность Батюшкова, — вспоминает А. С. Стурдза, — согласовалась с неподражаемым благозвучием его стихов, с приятностию его плавной и умной прозы. Он был моложав, часто застенчив, сладкоречив; в мягком голосе и в живой, но кроткой беседе его слышался как бы тихий отголосок внутреннего пения. Однако под приятною оболочкою таилась ретивая, пылкая душа, снедаемая честолюбием»[1].

Более того — за внешней веселостью этого острослова пряталась отчаянная тоска, за легкостью — иногда тщательно скрываемое, а иногда прорывающееся наружу страдание, за скромностью и прозаичностью внешнего облика — кипение чувств и болезненная игра воображения. Нельзя лучше было описать собственную натуру, чем сделал это сам Батюшков:

Сердце наше — кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид;

Но спустись ко дну… ужасно!
Крокодил на нем лежит!

Современники чувствовали, что эта строфа обнажает истинное мироощущение поэта. Не случайно в написанной в 1814 году сатире «Дом сумасшедших» (поистине пророческое название!) хорошо знавший Батюшкова А. Ф. Воейков изобразил его следующим образом:

Чудо! — Под окном на ветке
Крошка Батюшков висит
В светлой проволочной клетке;
В баночку с водой глядит,
И поет он сладкогласно:
«Тих, спокоен сверху вид,
Но спустись на дно —
ужасный Крокодил на нем лежит».

Изучая короткую, но насыщенную событиями биографию поэта, его мировоззрение и творческие поиски, почти все исследователи сталкивались с кричащим противоречием. С одной стороны, Батюшкову, еще с юности ощущавшему свою предрасположенность к душевной болезни, чрезвычайно подверженному любому влиянию извне, необычайно остро реагировавшему на каждую неприятность, внешний мир представлялся враждебным и бесприютным. Доказательства этому щедро рассыпаны в письмах еще совсем молодого поэта: «…Я столько испытал новых горестей и к толиким приготовлен, что и жизнь мне в тягость»[2]; «Я еще откушал от прежних горестей и огорчений; не знаю, как достает на все терпения, а особливо на глупости других»[3]; «Мне так грустно, так я собой недоволен и окружающими меня, что не знаю, куда деваться. Поверишь ли? Дни так единообразны, так длинны, что самая вечность едва ли скучнее»[4]; «Люди мне так надоели, и все так наскучило, а сердце так пусто, надежды так мало, что я желал бы уничтожиться, уменьшиться, сделаться атомом…»[5]; «Я становлюсь в тягость себе и ни к чему не способен. Не знаю, впрок ли то ранние несчастия и опытность. Беда, когда рассудку не прибавят, а сердце высушат. Я пил горести, пью и буду пить»[6]. И — едва ли не пророческое: «Если я проживу еще десять лет, то сойду с ума. Право, жить скучно; ничто не утешает. Время летит то скоро, то тихо; зла более, нежели добра; глупости более, нежели ума; да что и в уме… В доме у меня тихо, собака дремлет

у ног моих, глядя на огонь в печке; сестра в других комнатах перечитывает, думаю, старые письма… Я сто раз брал книгу, и книга падала из рук. Мне не грустно, не скучно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту…»[7] Биограф Батюшкова В. А. Кошелев, комментируя эти строки, справедливо замечает: «…всего двадцать два года, и все несчастия, в сущности, исправимы, и в раздражении самом — не кроется ли каприз? или малодушие? или это действительно предчувствие чего-то трагического, что непременно случится через десять лет?..»[8]

Трагическое мироощущение Батюшкова со временем набирало силу и достигло апогея к 1814 году. Война, которую поэт наблюдал вблизи, окончательно «поссорила его с человечеством», личные неудачи заставили расстаться с надеждами на будущее. «Самый факт „образованного варварства“ и разрушение прежней картины мира омрачали для него радость и гордость победы», — пишет И. М. Семенко[9]. К этому периоду относятся самые безысходные признания Батюшкова: «… поверишь ли, я час от часу более и более сиротею. Всё, что я видел, что испытал в течение шестнадцати месяцев, оставило в моей душе совершенную пустоту. Я не узнаю себя. Притом и другие обстоятельства неблагоприятные, огорчения, заботы — лишили меня всего…»[10]; «Я рассмеялся, читая замечание твое о моем счастии. Где же оно? Все мои товарищи — генералы, менее счастливые — полковники. Теперь, если у меня еще осталась тень честолюбия, то, прослужа три войны, спрашиваю у моего рассудка: что остается мне? <…> Напротив того, я могу служить примером неудачи во всем — но оставим жалобы, они всегда смешны, когда дело идет не до душевных горестей, которых у нас столько!»[11]; «Четыре года шатаюсь по свету, живу один с собою, ибо с кем мне меняться чувствами? Ничего не желаю, кроме довольствия и спокойствия, но последнего не найду, конечно. Испытал множество огорчений и износил душу до времени»[12]; «Что говорить о настоящем. Оно едва ли существует. Будущее… о, будущее для меня очень тягостно с некоторого времени!»[13]

Врач уже страдающего шизофренией Батюшкова Антон Дитрих, наблюдавший его в Германии и сопровождавший в Россию, в 1830 году с недоумением писал о своем пациенте: «… человек, который жил в наиблагоприятнейших внешних условиях, был уважаем в своем отечестве, любим друзьями и родственниками, делал славную карьеру с блестящими перспективами на будущее, одним словом, человек, который имел всё, что делает жизнь светлой и приятной, и при этом постоянно чувствовал себя несчастным…»[14] Дитрих ошибался относительно «наиблагоприятнейших внешних условий» жизни Батюшкова,

однако не подлежит сомнению полнейшее неумение (и отчасти — нежелание) поэта примиряться с обстоятельствами. Состояние тоски, отчаяния и душевного смятения для него гораздо более органично. Ощущение *дисгармонии,* внутренний разлад с миром сопровождали Батюшкова на протяжении всей его жизни.

Другой вывод, которого невозможно избежать, познакомившись с творчеством Батюшкова, связан с основным качеством его поэзии, которое сам стихотворец определил как «возможное совершенство, чистота выражения, стройность в слоге, гибкость, плавность; <…> истина в чувствах и сохранение строжайшего приличия во всех отношениях»[15]. Поэзия Батюшкова была на редкость *гармоничной.* Оценивая его лучшие стихи, Пушкин не раз напишет на полях батюшковской книги «Опыты в стихах и прозе» слово «гармония». К гармонии Батюшков стремился сознательно, считая ее главной особенностью того поэтического рода, который он избрал. «Это чистая поэзия, замкнутое в себе совершенство», — характеризовал творчество Батюшкова Ю. П. Иваск[16].

Противоречие между гармоничностью поэзии Батюшкова и дисгармоничностью его мироощущения бросается в глаза каждому. Оценивая результаты творчества Батюшкова, один из исследователей писал: он сумел создать, «несмотря на острый трагизм своей биографии, благородную, яркую и гармоничную поэзию»[17]. То же самое замечательно точно выразил поэтическими средствами Осип Мандельштам, безошибочно угадав главную коллизию личности Батюшкова:

Наше мученье и наше богатство.
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

(«Батюшков», 1932)

Как же получилось так, что действительность, пугавшая поэта своей хаотичностью, преобразовалась в его стихотворениях в прекрасный и понятный в своей простоте мир, что раздвоенность и противоречивость сознания обернулись цельностью и ясностью созданных поэтическим воображением образов? Как объяснить тот факт, что в стихах Батюшкова почти всегда есть готовый ответ на те вопросы, которые в жизни ему представлялись неразрешимыми и составляли предмет постоянных и мучительных раздумий?

Чем дальше удаляется от нас историческая эпоха, которой

принадлежал жизненный и творческий путь Батюшкова, тем сложнее прослеживаются повороты этого пути, тем более неразрешимы вопросы, связанные с тайной его личности. Наша книга — очередная попытка остановить время и, опираясь на опыт предшественников, а главным образом, — на свидетельства самого поэта и его ближайшего окружения, пристальнее вглядеться в личность Батюшкова и внимательнее вчитаться в его стихи, которые, по словам В. Г. Белинского, «еще не пушкинские стихи; но после них уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских…»[18].

* * *

Во время подготовки этой книги к печати пришло печальное сообщение о скоропостижной смерти директора Вологодской областной научной библиотеки Нелли Николаевны Беловой, которая многие годы была для меня самым близким человеком в родном городе К. Н. Батюшкова. Ее памяти я посвящаю эту книгу.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I
«Сорренто! колыбель моих несчастных дней…»

Автор этой поэтической строки — не Торквато Тассо, а Константин Батюшков. И родился он не в Сорренто, а в Вологде. Это произошло 18 (29) мая 1787 года в семье надворного советника Николая Львовича Батюшкова и его супруги Александры Григорьевны, урожденной Бердяевой. Дата и место рождения будущего поэта не вызывают разночтений. Однако дальнейшие события, относящиеся к его раннему детству, трактовались по-разному почти всеми биографами Батюшкова. Причины противоречий ясны: первые попытки составить его жизнеописание относятся ко времени, когда никого из близких, кто мог бы пом нить детские годы поэта, уже не было в живых. Последние архивные находки проливают свет на многие факты, до сих пор остававшиеся в тени[19].

Константин был четвертым ребенком в семье и — единственным мальчиком. Старше его были сестры: Анна (1780), Елизавета (1782) и Александра (1783). В 1791 году родилась младшая сестра — Варвара. Судьба распорядилась так, что Константин Николаевич всю жизнь исполнял по отношению к ним обязанности старшего — брата, главы семьи: опекал, содержал, выдавал замуж, решал имущественные и финансовые проблемы, одним словом, был вынужден заниматься ровно тем, к чему меньше всего был предрасположен по своему душевному складу. Эти обстоятельства явились дальним следствием той трагедии, которая разыгралась в семье вскоре после рождения последнего, пятого ребенка — дочери Варвары.

16 сентября 1791 года генерал-прокурор А. А. Вяземский принял решение о переводе вологодского губернского прокурора Н. Л. Батюшкова в Вятское наместничество. Это была обыкновенная для того времени процедура — в свою очередь вятский губернский прокурор перемещался в Вологду. Нет сомнений, что приказ начальства не нашел сочувствия ни у самого Н. Л. Батюшкова, ни у членов его семьи. Вятка заслуженно представлялась им не самым благоприятным местом для жительства — зима там была долгой и холодной, а лето, напротив, по-северному коротким. Ехать в Вятку как раз в преддверии скорой зимы не хотелось. Кроме того, А. Г. Батюшкова была на сносях, возраст ее (для того времени —

очень солидный) приближался к сорока годам, и переезд накануне разрешения супруги от бремени, очевидно, казался Н. Л. Батюшкову не самым своевременным. Он стал тянуть время, испрашивая у начальства отпуск то для завершения судебной тяжбы, то для поправки здоровья, и к исполнению своих обязанностей на новом месте приступил только в апреле 1792 года: к этому времени А. Г. Батюшкова не только разрешилась от бремени, но и оправилась от поздних и тяжелых родов — Варвара появилась на свет 21 ноября 1791 года.

К моменту переезда в Вятку в доме Батюшковых оставалось только двое младших детей, старшие дочери уже давно воспитывались в Петербурге, в частном пансионе мадам Эклебен. Плата за содержание троих девочек в столичном пансионе была существенной статьей расходов для провинциалов-родителей. Но оба они принадлежали к древним дворянским родам, и ощущение ответственности за своих детей перед предками и потомками было сильнее бережливости. Дочерям требовалось дать хорошее воспитание, вне зависимости оттого, какая судьба ждала их после пансиона. А ждало — возвращение в родные пенаты, причем скорее всего не в губернский город, а в вологодскую деревню, в поместье, где они оказывались в окружении крепостных и соседей, с которыми редко можно было перемолвиться двумя словами. Понимая это, Н. Л. Батюшков тщетно пытался пристроить своих девочек в Петербурге, обращаясь к Павлу I с просьбой «принять к Императорскому двору» двух старших дочерей, «из коих одна Анна в музыке и пении, а другая Елизавета в рукоделии при природных дарованиях своих особливо себя усовершенствовали…»[20]. Но это будет несколько позже, а пока родители озабочены обустройством на новом месте.

В Вятке Батюшковы прожили недолго — около двух лет, о которых нам почти ничего не известно. След их пребывания здесь зафиксирован в исповедных росписях Знаменской церкви, в приходе которой они состояли: семьи дворян исповедовались ежегодно Великим постом, и это тщательно фиксировалось, поскольку участие дворянина в церковной жизни было важным фактором для его продвижения по службе и получения отличий. И в 1793-м, и в 1794 году Батюшковы исповедуются и причащаются в Вятке; в церковной росписи упомянуты и их дети: Константин и Варвара. Возраст Константина Батюшкова записан неправильно. Священник, конечно, не сверял возраст ребенка с документами, а ставил цифру приблизительно — «на глаз». Так вот «на глаз» шестилетнему Константину можно было дать четыре года, а семилетнему — пять. Вероятнее всего, ребенком он был маленьким и худеньким — хилым; впрочем, никогда и

впоследствии он не отличался крепким здоровьем, высоким ростом и дородностью. В своих записных книжках в 1817 году Батюшков полушутя, полусерьезно перечисляет причины жизненных неудач: «Первый резон, мал ростом. 2 — не довольно дороден»[21]. А арзамасское прозвище Батюшкова было построено на каламбуре: Ахилл — ах, хил! Какие впечатления вынес из вятского периода жизни Константин — нам совершенно не известно, несомненно одно — именно в Вятке детей Батюшковых постигло первое страшное несчастье: летом 1793 года заболела тяжелой душевной болезнью их мать.

Александра Григорьевна Батюшкова (1750/52?—1795) происходила из известного в России рода Бердяевых; русский философ Н. А. Бердяев — ее дальний потомок. Родилась она в семье подполковника лейб-гвардии Преображенского полка — блестящего офицера екатерининского времени — и раннее детство провела в Петербурге. Никакими сведениями о характере и личности Александры Григорьевны мы не располагаем. Известен лишь тот факт, что несмотря на раннюю утрату матери, воспоминания о ней были всегда сакральной темой для всех ее детей, давали им нравственную опору, образец для подражания. «Будьте вместе, мои дорогие друзья, — напутствовал К. Н. Батюшков сестер 28 марта 1809 года, — станем любить друг друга до могилы, чтобы сбылось желание лучшей из матерей»[22]. Автобиографически звучат горькие слова о матери, вложенные поэтом в уста Торквато Тассо — героя исторической элегии Батюшкова «Умирающий Тасс» (1817):

> Сорренто! колыбель моих несчастных дней,
> Где я в ночи, как трепетный Асканий,
> Отторжен был судьбой от матери моей,
> От сладостных объятий и лобзаний:
> Ты помнишь, сколько слез младенцем пролил я!
> Увы! с тех пор, добыча злой судьбины,
> Все горести узнал, всю бедность бытия.

В чем была причина заболевания Александры Григорьевны, мы уже никогда не сможем установить; известно лишь, что болезнь ее протекала очень тяжело и интенсивно. Н. Л. Батюшков пытался сделать все, от него зависящее, чтобы помочь супруге, обращался к докторам в Вятке, однако быстро увидел, что улучшения не наступало. Тогда он адресовал начальству просьбу об отпуске и 24 мая 1794 года вместе с меньшими детьми и больной женой покинул Вятку, чтобы больше никогда в нее не вернуться.

Путь семейства лежал в Петербург, на который возлагались теперь все надежды на излечение. Однако путь этот был не близким, не легким и не прямым — добраться до Северной столицы в то время можно было только через Москву; дорога длиной в 1725 верст (почти две тысячи километров) преодолевалась примерно за месяц, а учитывая постоянные для русских дорог задержки с лошадьми и необходимость в отдыхе для маленьких детей и тяжелобольной женщины, то и значительно больше. Все эти жертвы оказались напрасными. Прожив в Петербурге всего несколько месяцев, Александра Григорьевна скончалась 21 марта 1795 года и была похоронена на кладбище Александро-Невской лавры. Ее могила на 8-м участке Некрополя XVIII века сохранилась по сей день. Описание этих трагических событий содержится в прошении Н. Л. Батюшкова, которое он послал императору Павлу I. Несмотря на официальную сухость документа, он задевает за живое: «Двухлетнее в Вятской губернии служение принужден был я оставить приключившеюся жене моей жестокою болезнью. Пользуя там немало времени безуспешно, решился привезти ее для сего в Петербург. <…> Жена моя, страдая год и семь месяцев, с необычайным мучением умерла»[23]. Все это время Константин вместе с младшей сестрой находились рядом с матерью и отцом.

Похоронив жену, Н. Л. Батюшков не уехал сразу же из Петербурга: он не вернулся к исполнению своей должности в Вятку, не отправился в отцовскую вотчину — село Даниловское, куда его настойчиво и даже грозно призывал родитель, но еще три года, до декабря 1798-го, провел в столице. Ожидал нового назначения, обращался с прошениями к царю, работал «сверх комплекта» (без жалованья) в Комиссии для составления законов Российской империи, пытался получить деньги под залог имения покойной жены, делал вынужденные долги, поскольку жизнь в столице была дорога, занимался устройством детей. После смерти императрицы Екатерины II, все еще находясь в Петербурге, он, наконец, получил повышение в чине — стал коллежским советником и сразу попросил о временном увольнении от службы, что и позволило ему наконец покинуть столицу. Перед этим (в 1796 или 1797 году) он определил своего сына в частный пансион О. П. Жакин***о***. Самое тяжелое время после смерти матери и до этой даты Константин жил вместе с отцом и был под его опекой.

Отец поэта, Николай Львович Батюшков (1752/53? — 1817), принадлежал к старинному дворянскому роду. В «Общем гербовнике Всероссийской империи» его фамилия значится под

1544 годом[24]. Как и его супруга Александра Григорьевна, он происходил из семьи военного — капитан Л. А. Батюшков был участником самых крупных и кровопролитных походов русской армии XVIII века: турецкого, очаковского, хотинского, днестровского. Выйдя в отставку, дед поэта занялся своим имением. Судя по всему, это был человек суровый и деспотичный, но обладавший практическим умом и сумевший за годы своего хозяйствования умножить состояние рода. Остаток жизни он провел в селе Даниловском, которое со временем должно было отойти его старшему сыну Николаю. Это единственная на сегодняшний день родовая усадьба Батюшковых, которая чудом сохранилась в хаосе войн и революций[25]. Как и отец, Николай Львович избрал карьеру военного — обычный выбор для дворянина екатерининской эпохи. Однако довольно скоро он вышел в отставку поручиком и стал искать место по гражданской части. Возможно, причиной ранней отставки было слабое здоровье, родовой бич Батюшковых, возможно, — женитьба (предположительно, 1778/79 год). Помыкавшись по окраинам, послужив в Великом Устюге, потом в Ярославле, Николай Львович все время стремился в Вологду, вокруг которой располагались его фамильные владения, и наконец, в 1786 году, получил туда назначение. Через год в семье Батюшковых родился сын Константин.

Мы не знаем, где точно находился дом, в котором он появился на свет и провел первые годы своей жизни. Крестили мальчика в церкви Святой великомученицы Екатерины во Флоровке[26], а значит, и дом Батюшковых располагался где-то неподалеку. Позднее мы застаем Николая Львовича в период драматических семейных обстоятельств сначала в Вятке, потом в Петербурге, где он не добился никакого нового выгодного назначения и поворота своей карьеры. Петербург был закрыт для него по многим причинам, главной из которой была опала, связанная с участием его дяди Ильи Андреевича в заговоре против Екатерины II. Фактически заговора никакого не существовало, но было общее недовольство определенного слоя дворян началом нового царствования. Некоторые из них, в том числе и И. А. Батюшков, неосмотрительно высказывали свое мнение вслух. Пятнадцатилетний Николай Львович тоже был привлечен к следствию. Это и объясняет тот факт, что долгожданное повышение в чине он получил только после смерти Екатерины во время коронационных торжеств Павла I. Но особенного расположения к нему, очевидно, не испытывал и новый император. В любом случае, Николая Львовича ждала не успешная карьера, а его родовая вотчина — село Даниловское.

В 1806 году Николай Львович, которому в это время было уже за пятьдесят, вступил во второй брак. Он женился на девице А. Н. Теглевой, дочери устюженского дворянина, и это решение имело ряд очень существенных последствий. Прежде всего второй брак отца поссорил его со старшими детьми. Начался мучительный и долгий процесс раздела имущества: дети недолюбливали молодую мачеху и не верили в ее бескорыстность; перспектива остаться ни с чем пугала их, отдавать новой жене отца материнские имения они не собирались. Эта ссора была неприятна для всех ее участников, но надо представить себе, как больно ударила она по Николаю Львовичу, человеку, судя по всему, мягкому и сентиментальному, в общем-то совсем недавно пережившему страшную трагедию и многие годы беззаветно преданному своим детям. «Я ничего теперь более не желаю и ничего более у тебя не прошу, — писал Николай Львович сыну, — как только того, чтоб мир, дружба, любовь и согласие восстановлено было в нашем семействе… <… > где завистливые люди, не находя иногда других слов, с злобною улыбкою и с искошенными глазами говаривали: — Этот отец хуже старой бабы, что ему дети ни скажут, что ни пожелают, все для них готово. — Слыша таковые упреки, смеялся я их железному сердцу и каменной душе»[27]. Его новый брак начался несчастливо. В 1807 году они с женой похоронили своего первенца — младенца Елену. Правда, после этого в семье родились еще двое детей — дочь Юлия (1808) и сын Помпей (1812), но в 1814 году молодая супруга Николая Львовича преждевременно скончалась. К тому времени отцу было уже за шестьдесят и он был обременен не только годами и двумя малолетними детьми, но и бесчисленными долгами и болезнями. Через год по иску кредиторов за долги было описано и подлежало продаже его имение, спасти которое у Николая Львовича не нашлось средств. Есть от чего впасть в отчаяние! Старый, больной, одинокий, он до последнего старался исполнять свой отцовский долг, к чему у Николая Львовича было, видимо, особое призвание. Юлию он успел определить в ярославский пансион для благородных девиц и пристально следил за ее успехами, регулярно обмениваясь письмами, посылал ей подарки, ездил навещать. Его крайне беспокоили отношения между детьми, он задавал Юлии тревожные вопросы, пишет ли она «брату Константину в Москву»[28]. Семейные распри были давно уже позади, и «брат Константин», находящийся за тридевять земель от своих родных, признавался сестре Александре: «…Сердце мое имеет нужду отдохнуть при тебе и увидеть батюшку. Напоминай ему обо мне, милый друг, и проси его родительского

благословения. Поцелуй за меня милых братца и сестрицу»[29]. Последний раз К. Н. Батюшков видел отца в Даниловском в августе 1817 года, за три месяца до его смерти. Получив печальные известия, он послал сестре Александре трогательные распоряжения: «Детей мы не оставим, не правда ли? Поможет сам Бог, и что-нибудь для них сделаем. Я возьму маленького, а ты — сестрицу. <…> Маленького берегите. Прошу об этом Вареньку очень усердно. Пусть с нею спит в одной комнате»[30]. «Маленький», то есть Помпей Николаевич Батюшков, был в буквальном смысле облагодетельствован братом. Много лет спустя он вспоминал о их первой встрече: «Впервые я отчетливо запомнил брата Константина, когда он приехал в Даниловское вскоре после похорон отца. Помню, как сестра Александра повела меня и Юленьку в кабинет отца. Там я увидел молодого еще человека среднего роста, с белокурыми вьющимися волосами, в сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Он стоял, опершись о край стола, и лицом, так же как и всем обликом, был похож на отца. „Поздоровайтесь с братцем“, — тихо проговорила Александра, подталкивая нас с сестрой вперед. Я нерешительно подошел к брату, который нагнулся и поцеловал Юленьку и меня. „Братик, дорогой мой братик“, — прошептал он, нежно погладив меня по голове. Как я узнал впоследствии, наши денежные дела были в ужасном состоянии, и Константин взял на себя устройство их, оплатив из своих весьма скудных средств самые неотложные долги…»[31] Плодом благодарности младшего брата стало роскошное трехтомное собрание сочинений К. Н. Батюшкова, выпущенное Помпеем Николаевичем к столетнему юбилею брата, в 1887 году. Это собрание открывала обстоятельная биография Батюшкова, написанная академиком Л. Н. Майковым, — самая авторитетная и по сей день.

Николая Львовича и его сына Константина связывало не только кровное родство. До определенного времени отец был для Батюшкова и близким другом. Письма отца к сыну так насыщены сентименталистскими штампами и формулами, что ухо современного человека с трудом улавливает ту интимную интонацию, которая неизменно присутствует в них: «Люби меня, мой чувствительный сын, и Бог тебя наградит всем тем, что есть драгоценно»[32]; «Каждая почта приходит с пустыми руками, что меня убивает. Как можно, любезный сын, не уделить тебе в неделю ¼ часа, чтоб уведомить меня, все ли ты здоров и благополучен»[33]. Переведя на французский язык знаменитую речь митрополита Платона, четырнадцатилетний Константин отослал ее отцу вместе с оригиналом — для критического прочтения. Невзирая на то, что Николай Львович был самоучкой

и французский выучил самостоятельно, его авторитет в семье был высок. В переписке между отцом и сыном, помимо бытовых вопросов, постоянно обсуждалась литературная тема. Вполне возможно, что общее восхищение античностью, в том числе Гомером, Батюшков первоначально заимствовал от отца. «Желание их (врагов. — *А. С.-К.),* а паче мольба к Зевесу не воскурится с Горняя, — заклинает Николай Львович в письме к сыну и добавляет: — Прекрасно о этом говорит Гомер в следующих стихах: Муж прахом осквернен, дымящись кровью битвы, / Преступник, коль творит всевышнему молитвы»[34]. Даже когда речь заходит о бытовых предметах, Николай Львович ухитряется вставлять античные аллюзии; жалуясь на свою бедность, он восклицает: «…у меня истинно нет ни одного обола»[35] [36]. А чего стоят имена, которые Николай Львович давал своим детям — чем дальше, тем более насыщенные античным подтекстом: Александра, Константин, Юлия, Помпей.

Николай Львович ревниво следил за успехами сына и поддерживал его: «Читал, мой друг, твои „Воспоминания“, читал и плакал от радости и восхищения, что имею такого сына…»; «… твой жребий, который хочешь вынуть из урны, есть совершенно согласен с твоими талантами, и с твоим характером»[37]. Николай Львович был знаком и поддерживал личные отношения с друзьями своего сына — В. Ф. и П. А. Вяземскими, состоял в переписке с А. И. Тургеневым. Значит — был интересен и для них. По отношению к сыну он старался быть не наставником, а гуманным и просвещенным другом, примером для подражания — вполне в духе гуманистической эпохи. Конечно, разность жизненных обстоятельств, тяжелые переживания, да просто — неостановимый поток событий разделили сына и отца, развели их по разным сферам, но чужими людьми не сделали. Забота и тревога друг о друге оставались в их переписке до самого конца. «Если я не могу быть полезен батюшке столько, сколько желаю, то по крайней мере долг велит мне делить его горести»[38], — пишет К. Н. Батюшков в 1808 году. «От батюшки писем не имею, и это меня крайне беспокоит. Я писал к нему неоднократно. Уведомь меня, Бога ради, здоров ли он и получил ли мои письма»[39], — тревожится он в 1816-м. На похороны отца Константин Николаевич приехать не смог — был в Петербурге, болел. Своему другу и зятю Павлу Шипилову он писал: «Поплачь за меня над гробом, милый друг. Мы ничего не успели сделать, но труды не потеряны»[40].

II
«Учение италиянского языка имеет особенную

прелесть»

Наши представления об образовании, которое получали сыновья родовитых дворян на рубеже XVIII–XIX веков, сильно искажены. Как правило, они не заканчивали университетов, не получали специального образования, порой не имели никаких дипломов. Однако чаще всего в их жизни, помимо домашних учителей, присутствовало некое учебное заведение, которое никаких аналогов в современности не имеет. Для одних это был Царскосельский лицей, для других — Благородный пансион при Московском университете или Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Что это? Продвинутые школы, профессиональные училища высокого уровня, университеты? Ни то, ни другое, ни третье.

Батюшков не был исключением. Намереваясь покинуть Петербург после нескольких лет бесплодных ожиданий нового назначения, Николай Львович, конечно, озаботился дальнейшей судьбой своего подрастающего сына — мальчику было в это время 9 или 10 лет — и определил его в один из столичных частных пансионов. Почему не в престижное военное учебное заведение, что было проще и естественнее для дворянина тех времен? Возможно, потому, что новые жесткие порядки, вводимые в армии императором Павлом I, только что взошедшим на престол, отпугивали Н. Л. Батюшкова, гвардейца екатерининских времен. Возможно, опять же слабое здоровье сына было тому причиной, хотя об этом мы можем только догадываться — никаких сведений о Батюшкове-ребенке у нас нет.

В любом случае отцом был избран частный пансион эльзасского француза Осипа Петровича Жакин***о***, который открылся в Петербурге в 1793 году и просуществовал до самой смерти его содержателя в 1816-м. Жакино некоторое время после своего приезда в Россию состоял в должности учителя французского языка в Шляхетском кадетском корпусе — одном из самых привилегированных учебных заведений Петербурга, а затем решил открыть собственное учебное заведение. Пансион располагался в прекрасном месте — на набережной Невы, в пятой линии Васильевского острова, в трехэтажном здании. Все ученики делились на два класса — старший и младший. Старшие жили на третьем этаже вместе с двумя учителями, младшие — на втором с самим содержателем пансиона и его супругой; летом для воспитанников, не уезжавших к родителям, нанималась дача. Учебными предметами были Закон Божий, русский, французский, немецкий языки, география, история, арифметика, чистописание, рисование, танцы, а также химия, ботаника (только летом) и

статистика. Французский язык был основным, на нем преподавался ряд других предметов, обучал французскому сам хозяин пансиона. Телесные наказания в пансионе не практиковались, большинство учащихся были русскими. За содержание ребенка в пансионе в течение года полагалось платить 700 рублей — это была очень высокая плата, доступная только представителям состоятельных семейств. Очевидно, именно по этой причине в 1801 году Батюшков был переведен в другой пансион, который содержал Иван Антонович Триполи, учитель Морского кадетского корпуса. О своих успехах и жизни в пансионе Константин подробно писал отцу, вероятно, вскоре после перевода: «Я продолжаю французский и итальянский языки, прохожу италиянскую грамматику и учу в оной глаголы; уже я знаю наизусть довольно слов. В географии Иван Антонович, истолковав нужную материю, велит оную самим без его помощи описать; чрез то мы даже упражняемся в штиле. Я продолжаю, любезный папинька, учиться немецкому языку и перевожу с французского на оный. Прежний учитель, не имея времени ходить к нам, отказался; и его место заступил один ученый пастор, который немецкий язык в совершенстве знает. В математике прохожу я вторую часть арифметики, а на будущей неделе начну геометрию. Первые правила Российской риторики уже прошел и теперь занимаюсь переводами. Рисую я большую картину карандашом, Диану и Ендимиона, которую Анна Николаевна мне прислала, но еще и половины не кончил, потому что сия работа ужасно медленна, начатую же картину без Вас кончил и пришлю с Васильем. На гитаре играю сонаты»[41].

Как видим, к прежним предметам на новом месте добавился только один — итальянский язык. Эта перемена оказалась для Батюшкова знаковой. В итальянский язык он влюбился на всю жизнь, итальянская словесность покорила его. Имена Тассо, Ариосто, Данте, Петрарки навсегда стали для него первыми в истории мировой литературы. Возвращаясь снова и снова к размышлениям об итальянском языке и итальянской словесности, Батюшков в 1815 году писал: «Учение италиянского языка имеет особенную прелесть. Язык гибкий, звучный, сладостный, язык, воспитанный под счастливым небом Рима, Неаполя и Сицилии, среди бурь политических и потом при блестящем дворе Медицисов, язык, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными, — этот язык сделался способным принимать все виды и формы. Он имеет характер, отличный от других новейших наречий и коренных языков, в которых менее или более приметна суровость, глухие или дикие звуки, медленность в выговоре и нечто

принадлежащее Северу»[42]. Северным — грубым и диким — Батюшков считал русский язык. Такое противопоставление русского итальянскому — одна из его любимых тем. «Отгадайте, на что я начинаю сердиться? На что? — задает Батюшков загадку своему другу Н. И. Гнедичу. — На русский язык. <…> И язык-то сам по себе плоховат, грубенек, пахнет тарабарщиной. Что за Ы? Что за Щ? Что за Ш, ший, щий, при, тры? — О варвары! <…> Извини, что я сержусь на русский народ и его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка…»[43] По мнению Батюшкова, только прививка итальянского языка может облагородить русский, придать ему необходимую гибкость, живость и свободу, сделать его способным выразить тончайшие переживания человека, сильные и величественные мысли, глубину и значительность чувства, то есть сделать русский язык — языком просвещенного и культурного народа. Батюшков не только теоретизировал — он и был первым садовником, который практически произвел прививку этого дичка: игра на сонорных, столкновение гласных (зияние), короткая поэтическая строка, тщательный отбор словесного материала — вот средства, с помощью которых Батюшков чудодейственным образом превращал русскую стихотворную речь в итальянскую:

…Эвры волосы взвивали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом…

Это знаменитая «Вакханка» (1811) — пример кропотливой работы поэта над языковым материалом, работы, которая приводит к совершенному результату. Вдумчиво перечитывая в 1823 году[44] сборник батюшковских стихов, Пушкин сопровождал лучшие строки сравнениями с итальянским языком.

Батюшков вышел из пансиона, когда ему было 16 лет, — возраст, в котором юноши из дворянских родов обычно заканчивали обучение. На вопрос, получил ли он первоклассное образование для своего времени, можно ответить однозначно отрицательно. Но, без сомнения, в пансионах сформировалась база, на которую можно было наслаивать новые сведения и приобретаемые самостоятельно знания. Собственно, даже во

время обучения Батюшков не ограничивался только лишь предписанным ему кругом академических дисциплин. Среди книг, которые он просит отца переслать ему, — Геллерт, Вольтер, Мерсье, сочинения Ломоносова и Сумарокова. Во вкусе молодого поэта нет единства, он словно пробует почву под ногами в поисках твердой опоры для своего формирующегося мировоззрения. В пансионах не преподавались древние языки — однако нам достоверно известно, что Батюшков владел латынью и читал в оригинале своих любимых авторов Тибулла и Горация. Значит, выучил латынь самостоятельно. Этот процесс жадного поглощения материала, из которого впоследствии складывается человеческая личность, Батюшков описал в одной из своих статей: «Скоро и невозвратно исчезает юность, это время, в которое человек, по счастливому выражению Кантемира, *еще новый житель мира сего,* с любопытством обращает взоры на природу, на общество и требует одних сильных ощущений; он с жадностью пьет тогда в источнике жизни, и ничто не может утолить сей жажды: нет границы наслаждениям, нет меры требованиям души, новой, исполненной силы и не ослабленной ни опытностью, ни трудами жизни. Тогда все делается страстию, и самое чтение. Счастлив тот, кто найдет наставника опытного в это опасное время, наставника, коего попечительная рука отклонит от порочного и суетного…»[45] Батюшкову повезло — такой наставник у него был.

III
«Страсть его к учению равнялась в нем только со страстию к добродетели»

И во время учебы в пансионе, и сразу после его окончания рядом с молодым поэтом был его родственник, кузен отца, один из самых просвещенных людей своего века, поэт, педагог, философ — Михаил Никитич Муравьев (1757–1807). Собственно пять лет после выхода из пансиона Батюшков не просто имел счастье постоянного общения с этим человеком, а жил в его доме и был фактически членом его семьи. В 1807 году он писал отцу о Михайле Никитиче: «Я могу сказать без лжи, что он меня любит, как сына, и что я мало заслуживаю его милости»[46]. «Это был дом в полном смысле просвещенного дворянского семейства, где отношения старших к младшим определялись духом гуманности и взаимопонимания»[47]. С этим постулатом исследователя невозможно спорить: в доме М. Н. Муравьева росли два сына, Никита и Александр — впоследствии самоотверженные деятели декабристского движения. Ориентация на высокие образцы —

римские гражданские добродетели и греческую культуру — формировала внутреннюю атмосферу этого дома. Всеобщее увлечение современной словесностью и серьезное отношение к попыткам личного творчества делали пребывание в нем для Батюшкова особенно привлекательным. В письме своему другу Н. И. Гнедичу он описал характерный эпизод, который произошел во время его первой попытки служить. Службу поэт начал в канцелярии Министерства народного просвещения, подведомственного М. Н. Муравьеву, однако обязанности свои выполнял без всякого рвения. Непосредственный начальник Батюшкова решился пожаловаться на него Михайле Никитичу, «а чтоб подтвердить на деле слова свои и доказать, что я ленивец, принес ему мое послание к тебе, у которого были в заглавии стихи из Парни, всем известные:

Le del, qui voulait шоп bonheur,
Avait mis au fond de mon coeur
La paresse et l'insouctiance[48] — и прч.

Что сделал М. Н.? Засмеялся и оставил стихи у себя»[49].

М. Н. Муравьев, занимавший две высокие должности — товарища (заместителя) министра народного просвещения и попечителя Московского университета, по словам Л. Н. Майкова, «питал глубокое уважение к классическому образованию и притом уважение вполне сознательное, ибо сам обладал прекрасным знанием древних языков и литературы и в этом знании почерпнул благородное, гуманное направление своей мысли. Вместе с тем он был знаком с лучшими произведениями новых литератур, также в подлинниках. Мягкости и благовоспитанности его личного характера соответствовал светлый оптимизм его философских убеждений, и тою же мягкостью, в связи с обширным литературным образованием, объясняется замечательная по своему времени широта его литературного суждения: не будучи новатором в литературе, он, однако, с сочувствием встречал новые стремления в области словесности»[50].Л. Н. Майков не совсем прав, когда говорит, что в собственном творчестве Муравьев не был новатором. Но, учитывая сложную судьбу его произведений, которые вышли в свет гораздо позже, чем были написаны (автор сам отложил издание), а многие из них — даже после его смерти, нужно с сожалением признать, что его поэтический дар был для современников потерян. В истории литературы осталось несколько его стихотворений, одно из них, «Богине Невы» (1784), стилистически и интонационно легко соотнести с петербургскими

главами «Евгения Онегина»:

Я люблю твои купальни,
Где на Хлоиных красах
Одеянье скромной спальни
И амуры на часах.
Полон вечер твой прохлады —
Берег движется толпой,
Как волшебной серенады
Глас приносится волной.
Ты велишь сойти туманам —
Зыби кроет тонка тьма,
И любовничьим обманам
Благосклонствуешь сама.
В час, как смертных препроводишь,
Утомленных счастьем их,
Тонким паром ты восходишь
На поверхность вод своих.
Быстрой бегом колесницы
Ты не давишь гладких вод,
И сирены вкруг царицы
Поспешают в хоровод.
Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.

Неслучайно Пушкин процитировал финал муравьевского текста в первой главе «Онегина» и сам прокомментировал эту цитату, отослав читателя к стихотворению «Богине Невы»[51]:

С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит.

М. Н. Муравьев был единомышленником Н. М. Карамзина и И. И. Дмитриева и приложил немало усилий для утверждения в русской словесности нового слога, стихи его написаны в излюбленном Батюшковым ключе. Это — легкая поэзия *(poesie fugitive)*. Однако для Батюшкова М. Н. Муравьев парадоксальным образом значил как поэт меньше, чем как воспитатель и философ. В письме «О сочинениях г. Муравьева» (1814) Батюшков приводит

слова о нем Н. М. Карамзина, делая их своеобразным эпиграфом к своему тексту: «Страсть его к учению равнялась в нем только со страстию к добродетели»[52]. Оценивая сочинения своего наставника, в издании которых он принимал участие, Батюшков сообщил Н. И. Гнедичу: «Муравьева сочинения доказывают, что он был великого ума, редких познаний и самой лучшей души человек»[53]. Как видим, упоминание о поэтическом таланте отсутствует. Очевидно, блестящие идеи и нравственные убеждения Муравьева выражались в стихах, написанных устаревшим для Батюшкова языком, который уже не отвечал нормам вкуса нового поколения поэтов[54]. Однако нравственные уроки «любезного дядюшки» Батюшков усвоил на всю жизнь. «Пламенный идеалист Муравьев», как остроумно характеризовал его Л. Н. Майков, передал своему племяннику учение о врожденном нравственном чувстве, о суде совести, который для человека должен быть превыше всего, но главный урок был связан с эстетической концепцией Муравьева. В красоте, воплощенной в произведениях искусства, он видел нравственную силу, которая способна преобразить человечество, помочь личности преодолеть свой эгоизм и в служении добру найти гармоническое сочетание собственных интересов и общественного блага. Эта идея на время становится центральной в «маленькой философии» Батюшкова.

Сознательным стремлением Батюшкова было с помощью своей гармонической поэзии воздействовать на действительность, сделать ее подобной прекрасному, прежде всего античному образцу, а в конечном итоге — преобразовать до полного совпадения с ним. Это стремление эстетическими средствами изменить мир не позволяет говорить о Батюшкове как о приверженце «чистого искусства» — перед нами поэзия социальная, и отчасти даже гражданская, не тематически, но функционально. Свои личные успехи в сфере творчества, основываясь научении М. Н. Муравьева, Батюшков будет непосредственно связывать с пользой и славой Отечества. Выступая в Обществе любителей русской словесности в 1816 году с программной речью «О влиянии легкой поэзии на язык», Батюшков выскажет убеждение, чрезвычайно характерное для его эпохи. Искусство и поэзия играют в истории народа ничуть не меньшую роль, чем военные триумфы и политические победы. Больше того, слава государства напрямую зависит от степени просвещенности его граждан, от их умения чувствовать изящное. Обращаясь к своим слушателям, Батюшков призывает: «… Совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною,

успехи ума с успехами оружия»[55]. В своей речи Батюшков отмечает, что совершенная, гармоничная поэзия (а эти качества, по мнению Батюшкова, прежде всего присуши *poesie fugitive)* способствует нравственному и духовному развитию народа, обеспечивает ему славное будущее. Творческая установка поэтов круга Карамзина «пиши, как говоришь, и говори, как пишешь» в трактовке Батюшкова преобразилась в этическую норму: «живи, как пишешь, и пиши, как живешь» (статья «Нечто о поэте и поэзии», 1815) и осознавалась в контексте значимого для него прикладного значения поэзии. Батюшков предписывал стихотворцу особую «пиитическую диэтику», в соответствии с которой должна выстраиваться его жизнь. «Поэзия, осмелюсь сказать, требует *всего человека,* — писал Батюшков. — Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы»[56]. Поэт, ведущий правильное — гармоническое — существование, способен создать столь же гармонические произведения. А они, в свою очередь, призваны смягчить и усовершенствовать язык народа, благотворно повлиять на его нравственность и в конце концов совершенно искоренить зло и привести к гармонии тот хаос, который поэт вынужден пока наблюдать вокруг себя.

Для Батюшкова со временем эта мысль стала стержнем личности, единственной опорой болезненного сознания, движущегося к распаду. Предчувствующий неизбежность безумия, переживающий мучительное безденежье, неудачи по службе, трагедию неразделенной любви, пугающую неуверенность в своих силах, Батюшков упорно пытался преодолеть угрожающий ему хаос. Сделать это он мог исключительно средствами поэзии. Именно поэтому Батюшков ставил перед собой вполне осознанную цель — максимально гармонизировать собственные творения как в плане содержания, так и в плане поэтики. Именно поэтому он постоянно переделывал и переписывал многие из своих стихотворений, нащупывая «образ совершенства русской поэзии». Путь к совершенству лежал через работу над языком. Об этой особенности поэтической манеры Батюшкова пишет исследовательница И. М. Семенко: «Стихи Батюшкова уникальны в русской поэзии по богатству чисто языковой — фонетической и синтаксической — выразительности. Уже современники отмечали „сладкогласие“, „благозвучие“, „гармонию“ батюшковских стихов. <…> Красота языка в понимании Батюшкова — не просто „форма“, а неотъемлемая часть содержания. Поэт умело создавал языковой „образ“ красоты»[57].

ГЛАВА ВТОРАЯ

I
«…Я вам отвечу тем же, братья мои!»

В декабре 1802 года юный Батюшков, только что покинувший студенческую скамью, был определен М. Н. Муравьевым на службу. Шел второй год царствования императора Александра I, все еще жаждавшего коренных преобразований в стране. Работал демократически настроенный Негласный комитет, готовились и выходили один за другим изменявшие жизнь новые законы. Оптимистическое настроение охватило российское общество — разные его части пришли в движение. Люди, которые при Павле I были не удел, неожиданно получили новые назначения, молодой монарх нуждался в свежих силах, в просвещенных и разумных соратниках. 8 сентября 1802 года Негласный комитет решил заменить устаревшие петровские коллегии министерствами по европейскому образцу. Император особенно внимательно следил за их деятельностью, лично назначал министров. Среди прочих было организовано и Министерство народного просвещения, пост товарища министра по приглашению императора занял М. Н. Муравьев.

Батюшков начал свою службу в министерстве без жалованья. Перейдя в канцелярию Муравьева письмоводителем по Московскому университету, через год он получил самый низкий чин по Табели о рангах — коллежского регистратора. Его обязанности в основном ограничивались расстановкой знаков препинания в документах, проходивших через канцелярию. Никакой духовной пищи работа не давала, равно как не могла она удовлетворить честолюбивых устремлений молодого человека, если они у него были. Неудивительно поэтому, что Батюшков прослыл в своем департаменте лентяем. Однако именно здесь, на государственной службе он познакомился и близко сошелся с людьми, которые на долгие годы определили круг его общения, а возможно, и область приложения таланта. Среди них были И. И. Мартынов, филолог и ботаник, известный переводчик, знаток древних языков, издатель литературных журналов, И. П. Пнин, поэт, известный в большей степени как автор философских од, чем как лирик, Н. А. Радищев, сын знаменитого писателя, поэт и переводчик, Д. И. Языков, переводчик французских и немецких просветителей, пытавшийся реформировать русскую орфографию и уже тогда (в начале XIX

века!) не писавший «еров» на конце слов. В том же министерстве с 1803 года в должности писца служил Н. И. Гнедич, речь о котором еще пойдет ниже.

Совершенно естественно, что Батюшков, уже испытавший на себе магическое воздействие поэзии, делает первые самостоятельные шаги на этом поприще. Конечно, шаги эти были только условно самостоятельными — Батюшков никакого собственного пути еще не нащупал. Он использует традиционные размеры, бедные и тривиальные рифмы, темы его ранних произведений прочно связаны с русскими и французскими образцами «легкой поэзии», в стихах его встречаются неловкие сочетания, неточное словоупотребление, в звуковом отношении тексты тяжеловесны и несовершенны. Но стремление молодого поэта войти в круг настоящих литераторов несомненно. Этим объясняется и содержание первого опубликованного Батюшковым сатирического стихотворения с характерным названием «Послание к стихам моим» (1804), в котором речь идет о судьбе стихотворцев — к этому избранному кругу с первых строк причисляет себя автор сатиры:

> Стихи мои! опять за вас я принимаюсь!
> С тех пор как с Музами, к несчастью, обращаюсь,
> Покою ни на час… О, мой враждебный рок!
> Во сне и наяву Кастальский льется ток!
> Но с страстию писать не я один родился:
> Чуть стопы размерять кто только научился,
> За славою бежит — и бедный рифмотвор
> В награду обретет не славу, но позор.

Чего стоит один эпиграф к «Посланию» из Вольтера: «Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes fréres» («Освистывайте меня без стеснения, я вам отвечу тем же, *братья мои»)*\ Обращение «братья мои», относящееся к литераторам, и есть самое главное место в «Послании». Ощущение собственной принадлежности к цеху — доминанта ранних батюшковских текстов. Теперь дело оставалось за цехом, он должен был принять нового собрата по перу.

Разнообразные свободы, предоставленные обществу в начале александровского царствования, касались и литературных объединений, которые с 1801 года возникали повсеместно как грибы после дождя. Одним из них стало широко известное Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Благодаря, с одной стороны, членству в нем Н. А. Радищева, сына великого отца, а с другой — мифологизирующему мышлению историков литературы сталинского времени[58], масштаб и

значение Общества были сильно преувеличены, поэты, входившие в его состав, получили наименование «радищевцев», а их взгляды и творчество — эпитеты «прогрессивных» и «передовых». На самом деле общество было небольшим, состояло оно почти исключительно из молодых начинающих поэтов, среди которых выгодно выделялись такие «мэтры», как сотрудники Батюшкова по Министерству просвещения Н. И. Пнин и Д. И. Языков (им в то время было около тридцати). Кроме них, в общество входили А. Х. Востоков, в будущем знаменитый филолог и лингвист, а пока поэт, экспериментирующий с народными тоническими размерами и занимающийся имитацией античной метрики; поэты средней руки И. М. Борн (впоследствии личный секретарь и наставник детей великой княгини Екатерины Павловны) и В. В. Попугаев (чрезвычайно эксцентричный человек, часто производивший на современников впечатление вдохновенного безумца); одаренный баснописец и сатирик А. Е. Измайлов. В то время все они находились в начале своего поприща.

Благодаря близкому знакомству с первыми лицами Вольного общества, Батюшков мог рассчитывать на благосклонный прием. В апреле 1805 года он сделал попытку войти в его состав, предложив в качестве «вступительного взноса» свой стихотворный перевод из Вольтера — сатиру «Послание к Хлое»[59]. Стихи были переданы на рассмотрение внутреннему «цензору» А. Х. Востокову, который отозвался о них неоднозначно. Он и притормозил процесс принятия Батюшкова, предложив ему представить Обществу не перевод, а собственные оригинальные стихи, которых на тот момент в арсенале начинающего поэта, судя по всему, просто не было. А необходимым мастерством для сочинения текста «по заказу» он еще не обладал. Да и впоследствии таким качеством, как легкость пера, Батюшков не отличался: стихи писал подолгу, тщательно их правил, прежде чем отдать на суд читателя. Свою сатиру после почти трехмесячных тщетных надежд на положительное решение вопроса о его принятии в Общество Батюшков забрал и переделал, но новых попыток вступления не предпринимал. Очевидно, самолюбие его было жестоко задето. «Своим» молодые столичные поэты его пока не считали.

Конечно, представленная на суд Вольного общества сатира — текст еще совсем ученический, несовершенный, изобилующий формальными погрешностями, однако несомненно оказавший влияние и на зрелые произведения Батюшкова, который не забывал своих ранних опытов и тогда, когда достиг высокой степени мастерства. Среди элегий 1815 года, традиционно считающихся вершиной батюшковского творчества, одна —

«Таврида» — написана с явной оглядкой на главную тему «Послания к Хлое». Это тема бегства от суеты света в скромную деревенскую хижину, куда герой призывает свою возлюбленную. Тема вполне традиционная для той эпохи, однако при создании «Тавриды» Батюшков охотнее цитирует себя, чем другие образцы.

Решилась, Хлоя, ты со мною удалиться
И в мирну хижину навек переселиться.
Веселий шумных мы забудем дым пустой:
Он скуку завсегда ведет лишь за собой, —

так начинается ранняя батюшковская сатира. Той же темой она заканчивается:

Сокроемся, мой друг, и навсегда простимся
С людьми и с городом: в деревне поселимся,
Под мирной кровлею дни будем провождать:
Как сладко тишину по буре нам вкушать!

В безупречной по всем формальным признакам «Тавриде» мы найдем буквальные совпадения с этим несовершенным текстом. Та же традиционная тема представлена здесь гораздо более развернуто, деревенская хижина приобретает античные черты, подробно и красочно описываются картины природы, но некоторые формулы остаются вполне узнаваемыми:

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают
И Глебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастьем, любовью равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком;
Забудем имена Фортуны и честей.
В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под землей.
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод;
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород,
Последние дары Фортуны благосклонной.

Вас пламенны сердца приветствуют стократ!
Вы краше для любви и мраморных палат
Пальмиры Севера огромной!

К чести Батюшкова надо прибавить, что полученный им удар по самолюбию не заставил его бросить занятия словесностью, хотя раздражение по отношению к А. Х. Востокову он сохранил надолго[60].

II
«Певец их, Тасс, тебе любезный…»

В 1803 году в департамент народного просвещения на должность писца определился Николай Иванович Гнедич. П. А. Вяземский красноречиво описал его в своих воспоминаниях: «Гнедич, испаханный, изрытый оспою, не слепой, как поэт, которого избрал он подлинником себе, а кривой, был усердным данником моды: он всегда одевался по последней картинке. Волоса были завиты, шея подвязана платком…»[61] Гнедич к этому времени уже всерьез считал себя поэтом и гордился этим статусом. По словам Вяземского, «Гнедич в общежитии был честный человек; в литературе он был честный литератор. Да, и в литературе есть своя честность, свое праводушие. Гнедич в ней держался всегда без страха и без укоризны. Он высоко дорожил своим званием литератора и носил его с благородной независимостью. Он был чужд всех проделок, всех мелких страстей и промышленностей, которые иногда понижают уровень, с которого писатель никогда не должен бы сходить»[62].

Гнедич был выходцем из Малороссии, происходил из казацкого рода, с девяти лет был отдан в духовную семинарию, где впервые проявил способности к сложению стихов (виршей) и изучению древних языков. После окончания с отличием Харьковского коллегиума (высшего учебного заведения) в 1800 году Гнедич сумел определиться в Московский университет, но закончить его не смог по причинам материального характера — чтобы продолжать жить в столицах, необходимо было служить. Перебравшись в Петербург, Гнедич тем не менее избрал для себя самое неприбыльное поприще — он сделался «профессиональным» литератором, то есть вел полунищенское существование, перебиваясь случайными заработками. Должность писца, которую он занял в департаменте, такой заработок предоставляла. Гнедич и Батюшков быстро сблизились и подружились. Отправляясь в свой первый военный поход в 1807

году, Батюшков написал Гнедичу слова, которые не утратили своего значения почти до самого конца его сознательной жизни: «Ты знаешь, что я чудак и не люблю в глаза льстить, но теперь разлука дает мне право сказать тебе, что один у меня друг, и истина сия запечатлена в моем сердце навеки»[63]. Биографы Батюшкова, рассуждая об этой многолетней дружбе, любят повторять вслед за Л. Н. Майковым, что противоположности сходятся: «Сын небогатого малороссийского помещика, Гнедич вырос в бедности и привык твердо переносить ее, любил замыкаться в себя, с наслаждением предавался труду, был в нем упорен и вообще отличался стойкостью в характере, убеждениях и привязанностях; жизненный опыт рано наложил на него свою тяжелую руку. Мало походил на своего друга Батюшков. Простодушие и беспечность лежали в основе его природы; ни домашнее воспитание, ни даже школа не приучили его к последовательному, усидчивому труду. Он был жив, общителен, скоро и горячо увлекался теми, с кем сближался, легко поддавался чужому влиянию, как бы искал в других той устойчивости, которой не было в нем самом. <…> Такие нежные, хрупкие натуры особенно нуждаются в дружеском попечении, — и Батюшков в лице Гнедича нашел себе первого друга, который умел оценить его тонкий ум и чуткое сердце, умел щадить его легко раздражающееся самолюбие и быть снисходительным к его прихотям и слабостям»[64]. Л. Н. Майков был во многом прав. Наверняка ошибался он лишь в одном пункте, касавшемся неспособности Батюшкова к «последовательному, усидчивому труду». Любому исследователю, который видел когда-нибудь черновые рукописи Батюшкова, известно, с каким тщанием работал он над каждым своим текстом и как неохотно выпускал его из рук, никогда не считая доделанным полностью. Однако повод для такой ошибки у дотошного биографа, несомненно, был. В то время, когда произошло первое сближение двух поэтов, Н. И. Гнедич уже начал свой многолетний труд по переводу с древнегреческого на русский «Илиады» Гомера. Это занятие представлялось ему исключительно важным не только с точки зрения ученого эллиниста, но и с позиции поэтической. Идея передачи средствами русского языка великой эпической поэмы древности во многом смыкалась с устремлениями М. Н. Муравьева, говорившего о благотворном влиянии великих произведений искусства на нравственное воспитание народа. Идея эта не оставила равнодушным и молодого Батюшкова, который с радостью откликнулся на призыв своего друга присоединиться к нему в переводческом труде. Вслед за Гнедичем Батюшков избрал

для перевода эпическую поэму эпохи позднего Ренессанса — «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Торквато Тассо.

Радуясь единомыслию с другом, Гнедич адресовал ему стихотворное послание, начинавшееся с вопроса-приглашения: «Когда придешь в мою ты хату, / Где бедность в простоте живет?» В традиционных для сентиментализма формулах он приглашал Батюшкова разделить творческий досуг, в качестве главного стимула для вдохновения предлагалось улететь вслед за мечтой в те края, которые соответствовали переводческим интересам обоих поэтов:

Туда, туда, в тот край счастливый,
В те земли солнца полетим.
Где Рима прах красноречивый
Иль град святой, Ерусалим.

Узрим средь дикой Палестины
За божий гроб святую рать,
Где цвет Европы паладины
Летели в битвах умирать.

Певец их, Тасс, тебе любезный,
С кем твой давно сроднился дух,
Сладкоречивый, гордый, нежный,
Наш очарует взор и слух.

Иль мой певец — царь песнопений,
Неумирающий Омир,
Среди бесчисленных видений
Откроет нам весь древний мир.

Батюшков некоторое время добросовестно исполнял программу Гнедича. Следование ей было почти полное: для своего перевода Батюшков использовал даже тот же стихотворный размер, что и его друг — для своего. Оба работали с александрийским стихом (шестистопный ямб с парной рифмовкой). Вот небольшой фрагмент перевода Батюшкова из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима», показательный обилием архаических форм, инверсированных конструкций и тяжеловесной лексики (все же это перевод эпической поэмы!). С другой стороны, уже здесь отчетливо слышно стремление Батюшкова к благозвучию — фонетические сочетания искусно подобраны, слова выстроены прежде всего в соответствии с их звуковым обликом:

Се час божественный Авроры золотой:
Со светом утренним слиялся мрак ночной.
Восток румяными огнями весь пылает,
И утреня звезда во блесках потухает.
Оставя на траве, росой обмытой, след,
К горе Оливовой Ринальд уже течет.

Как отмечает один из тонких исследователей Батюшкова И. З. Серман, «главная привлекательность поэмы Тассо для Батюшкова состояла не в эпическом сюжете, не в воинском и религиозном героизме, но в самой поэтической манере Тассо: в разнообразии и нежности его языка и в абсолютном отсутствии стилистических границ между жанрами. Регулирующим принципом стиля Тассо была лишь его воля, его личное отношение к предмету изображения»[65].

Период полного совпадения творческих установок Батюшкова и Гнедича был недолгим. Целеустремленный Гнедич, переведя три песни «Илиады», понял, что александрийский стих не подходит для адекватной передачи текста на родном языке, и стал переводить заново — русским гекзаметром. Батюшков, переведя несколько фрагментов, работу свою продолжать органически не смог, хотя попытки предпринимал неоднократно и осознанно отказался от идеи Гнедича только после 1809 года. Это не было связано с природной неспособностью к последовательному труду, как считал Л. Н. Майков. Искания и находки Батюшкова в этот период оказались принципиально иными, чем предлагал ему Гнедич. Они окрашивались и своеобразием его личного, не похожего на Гнедичево, дарования, и определяющим для эпохи противостоянием двух литературных систем — борьбой между старым и новым слогом.

III
«Распря нового слога со старым»

Противостояние литературных систем было не столько идеологическое, сколько эстетическое, хотя идеологическую карту, во всяком случае, одна из спорящих сторон разыгрывала тоже с большой охотой. Противники, с легкой руки Ю. Н. Тынянова, вошли в историю литературы под именами «архаистов» и «новаторов»[66].

Во главе архаистов стоял признанный лидер, человек, профессионально весьма далекий от литературы, но внезапно ощутивший ее как свою вторую натуру — вице-адмирал русской

армии А. С. Шишков. Собственных литературных произведений он почти не писал, зато был автором теоретических трактатов, в которых отстаивал два важнейших принципа. Один из них — языковой: древний славянский язык Шишков считал «корнем и началом российского языка»[67]. Он призывал литераторов не заимствовать слова в языках европейских, чем они стали грешить со времен петровских преобразований, а обратить свои взоры назад, в глубь веков, и из древней письменности черпать формы, слова и сочетания слов для современных произведений словесности. Только такой путь, по мнению Шишкова, мог вернуть русской литературе ее национальные черты и одновременно уберечь нравы от западноевропейской скверны: «… когда чудовищная Французская революция, поправ все, что основано было на правилах веры, чести и разума, произвела у них новый язык, далеко отличный от языка Фенелонов и Расинов, тогда и наша словесность по образу их новой и немецкой, искаженной французскими названиями, словесности стала делаться непохожею на русский язык»[68]. Чтобы немного разбавить шишковский пафос, следует заметить, что адмирал ошибался: старославянский язык никогда не был прямым предком русского, и основывать на нем современное словотворчество в XIX столетии было затруднительно.

Вторая идея Шишкова была связана непосредственно с литературным стилем, который преимущественно должен базироваться на высокой лексике и соответственно обслуживать высокие жанры, возрождая уже ушедшие в небытие оду и эпопею. Парадоксально, но подспорьем для высокого стиля, в представлении Шишкова, служила стихия фольклора, народная лексика, гораздо больше отвечающая национальным особенностям, чем новомодные французские заимствования.

Шишков в своих убеждениях был не одинок. В 1807 году в Петербурге в доме престарелого Г. Р. Державина на Фонтанке по субботам начал собираться кружок единомышленников, которые на практике претворяли шишковскую теорию. Через несколько лет эти же люди официально войдут в знаменитое литературное сообщество, которое получит громкое название «Беседа любителей русского слова». Состав его был разнообразен. Помимо откровенных графоманов, как, например, одиозно известный граф Д. И. Хвостов, в «Беседу» входил одаренный поэт-эпик С. А. Ширинский-Шихматов, рано покинувший литературное поприще, талантливый драматург А. А. Шаховской, легендарный баснописец И. А. Крылов, да и сам Г. Р. Державин до самой своей смерти возглавлял это литературное сообщество.

Поскольку в нем существовала установка на декламацию,

связанная с преобладанием высоких жанров, то совершенно понятно участие в некоторых его заседаниях Н. И. Гнедича, страстного любителя звучащего слова. Страсть эту Гнедич вынес еще из Харьковского коллегиума, и сам слыл умелым чтецом. Кроме того, Гнедич переводил «Илиаду» и вполне вписывался в означенный круг сферой своих интересов. Официально членом «Беседы» Гнедич не состоял никогда, но по своим эстетическим вкусам был ей близок. Сказать то же самое о Батюшкове нельзя.

Вкусовые приоритеты Батюшкова лежали совсем в иной плоскости. И хотя сам он в то время еще не мог бы определить точно позицию, которую вскоре твердо займет, но путь его был отчасти прочерчен М. Н. Муравьевым. Путь этот назывался «легкая поэзия». «Легкая поэзия» — это жанровое и, следовательно, стилистическое явление. Очень серьезно, как Шишков к одам и эпопеям, к легкой поэзии относились литераторы противоположной ориентации — «новаторы». В отличие от архаистов у них не было формального лидера, но был образцовый пример для подражания и восхищения — Н. М. Карамзин. Именно в адрес тонкого европейца Карамзина были обращены гневные филиппики Шишкова, ненавидевшего западную заразу. Именно его «средний стиль», наполненный перифразами, заимствованиями из французского языка, ориентированный на эстетизм и приятность, казался Шишкову фатально удалившимся от национальных корней. А главный карамзинский принцип, направленный на сближение разговорного и письменного языка («пиши, как говоришь, и говори, как пишешь»), заранее понуждал относиться к литературному творчеству не как к сакральному акту, а скорее как к задушевному разговору с близким и приятным собеседником. Жанры, за которые ратовали последователи и единомышленники Карамзина, были того же свойства. Это были малые формы, изящно написанные, мастерски выстроенные, отличающиеся особой гармонией языка: элегии, послания, антологические стихи, эпиграммы, эпитафии — литературные мелочи, безделки.

Впоследствии именно легкая, а не эпическая поэзия станет тем литературным полем, на котором развернется оригинальное дарование Батюшкова. Избранный им путь задаст и очевидные стилистические параметры его стихотворениям, которые неизменно будут стремиться к недостижимой гармонии. Собственную поэтическую индивидуальность Батюшков довольно скоро осознал и определил избранный им жанр как один из самых трудоемких: «В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, гибкости,

плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях; он тотчас делается строгим судьею, ибо внимание его ничем сильно не развлекается. Красивость в слоге здесь нужна необходимо и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному напряжению внимания к одному предмету: ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное, требующее всей жизни и всех усилий душевных…»[69] Подспудно эта позиция развивалась и поддерживалась в сознании Батюшкова благодаря общению с одним из знаковых людей начала XIX столетия, с которым он познакомился и сошелся через М. Н. Муравьева. Это был Алексей Николаевич Оленин.

Он находился с семьей Муравьевых в свойстве, значит, был не чужим и для Батюшкова, который к середине 1800-х годов стал постоянным посетителем гостеприимного салона Олениных в доме на Фонтанке. О салоне сохранилось множество мемуарных свидетельств. Приведем воспоминание Ф. Ф. Вигеля, одного из самых пристрастных критиков эпохи и самых горячих ее поклонников: «Нигде нельзя было встретить столько свободы, удовольствия и пристойности вместе, ни в одном семействе — такого доброго согласия, такой взаимной нежности, ни в каких хозяевах — столь образованной приветливости. Всего примечательнее было искусное сочетание всех приятностей европейской жизни с простотой, с обычаями русской старины»[70]. Салон, который на протяжении многих лет был открыт для самых выдающихся деятелей культуры (в разное время завсегдатаями его были И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, В. А. Жуковский, В. А. Озеров, А. А. Шаховской, А. С. Пушкин, О. А. Кипренский и многие другие), фактически разорял своего хозяина, но Оленин не закрывал его. Для всех своих именитых и даровитых гостей он умудрялся быть единомышленником, благодарным слушателем, помощником — духовным меценатом. Всесторонне и глубоко образованный, искусный рисовальщик и гравер, собиратель и знаток древностей, ученый археолог, тонкий ценитель поэзии, Оленин был человеком эпохи, которую условно можно обозначить термином ампир.

По мысли Б. В. Томашевского, идеология ампира подразумевала прежде всего использование античных аксессуаров в современных целях. Попробуем посмотреть чуть шире — в своем русском изводе культура ампира стремилась к органичному включению элементов прекрасного (будь то античная древность, европейское или русское средневековье) в контекст современности. Смыслом и целью такого «стиля *mixte*» было, конечно, облагораживание быта, попытка наполнить

высоким содержанием повседневность, увидеть за временным — вечное. Неотъемлемой чертой культуры ампира, сближающей новый стиль с родственным ему классицизмом, было стремление к гармонии, а также органически связанное с ним строжайшее требование меры и вкуса в сочетании элементов разных стилей, поэтизация действительности, внимание к мелким деталям быта, попытка преобразовать его в бытие. А. Н. Оленин был не только приверженцем этого эстетического идеала — он сам формировал его и внедрял в практическую жизнь, исходя из полученного им опыта и усвоенных представлений. Ему удавалось это тем эффективнее, чем удачнее складывалась его личная карьера крупного государственного сановника, чем разнообразнее были должности, которые он занимал: член Государственного совета, директор Императорской Публичной библиотеки, президент Императорской Академии художеств…

Как видно по составу приходивших в дом Оленина посетителей, хозяин его не примыкал ни к каким литературным группировкам, он одинаково радушно принимал у себя как архаистов, так и новаторов. В 1851 году о доме Оленина оставил зарисовку один из его посетителей С. С. Уваров: «Возвратимся в гостиную Олениных — в эту гостиную, где почти ежедневно встречалось несколько литераторов и художников русских. Предметы литературы и искусств занимали и оживляли разговор; совершенная свобода в обхождении, непринужденная откровенность, добродушный прием хозяев давали этому кругу что-то патриархальное, семейное, что не может быть понято новым поколением. Сюда обыкновенно привозились все литературные новости: вновь появлявшиеся стихотворения, известия о театрах, о книгах, о картинах, — словом все, что могло питать любопытство людей, более или менее движимых любовью к просвещению. Невзирая на грозные события, совершавшиеся в Европе, политика не составляла главного предмета разговора, — она всегда уступала место литературе»[71]. Дочь знаменитого художника-медальера Ф. П. Толстого вспоминала: «В домашнем быту как хозяин Алексей Николаевич был прост и радушен с своими гостями, и всем была дана полная свобода: всякий мог заниматься, чем ему угодно. <…> Во всем была видна мера и уважение к хозяевам. Да и состав их общества был не такой, как у других: у них бывала и знать, и артисты, художники, литераторы, и ни одно сословие не выставлялось перед другим; всех соединял ум, уважение и любовь к изящному»[72]. Влияние этого кружка на молодого Батюшкова состояло именно в усвоении ампирной системы представлений, в которой малое и большое часто менялись местами, уравновешивались в ценности, подсвечивали

друг друга и образовывали то гармоническое единство, к созданию которого так стремился начинающий поэт. К 1807 году некоторые успехи на этом поприще у него уже имелись.

IV
«Ах, ужели наградит слава счастия утрату?»

Стихотворение Батюшкова «К Гнедичу» было впервые опубликовано в альманахе «Талия» в 1807 году. Это было одно из тех посланий, которыми друзья обменивались, закрепляя в поэтическом слове уже высказанные вслух мысли.

Только дружба обещает
Мне бессмертия венок;
Он приметно увядает.
Как от зноя василек.
Мне оставить ли для славы
Скромную стезю забавы? —
Путь к забавам проложен,
К славе тесен и мудрен!
Мне ль за призраком гоняться,
Лавры с скукой собирать?
Я умею наслаждаться,
Как ребенок всем играть,
И счастлив!.. Досель цветами
Путь ко счастью устилал,
Пел, мечтал, подчас стихами
Горесть сердца услаждал.
Пел от лени и досуга;
Муза мне была — подруга;
Не был ей порабощен.
А теперь — весна, как сон
Легкокрылый, исчезает
И с собою увлекает
Прелесть песней и мечты!
Нежны мирты и цветы,
Чем прелестницы венчали
Юного певца, — завяли!
Ах! ужели наградит
Слава счастия утрату
И ко дней моих закату
Как нарочно прилетит?

В этом на редкость гармоничном и музыкальном тексте Батюшков разрабатывал антиномию «счастья» и «славы» и соответственно — наслаждения и труда, молодости и бессмертия. Адресат послания выступал в роли неудачливого советчика — за поэтический труд он обещал автору «бессмертия венок», который сам поэт охотно променял бы на «тленный», то есть настоящий, — сплетенный руками прелестниц. Отношение к поэзии как к забаве («Пел от лени и досуга; / Муза мне была — подруга; / Не был ей порабощен»), отказ от славы ради наслаждений бытия («Мне оставить ли для славы /Скромную стезю забавы?») — вполне традиционные эпикурейские мотивы, характерные и для юного Батюшкова. Однако среди них звучит новая нота: юность неминуемо уходит, поэт вынужден теперь посвятить себя творчеству, которое воспринимается им как паллиатив счастья. В финале стихотворения противопоставление счастья и славы вроде бы преодолевается. Слава предстает инвариантом счастья, приходит «как нарочно», не только без усилий со стороны автора, но как будто вопреки им. Именно в этом и состоит основной аргумент поэта в споре с адресатом послания — дружба права, предрекая поэту обладание лавровым венком бессмертия, разница состоит только в средствах, которыми его можно получить. Тут, конечно, вспоминается биографический мотив — Гнедич, развивающий перед Батюшковым тезис о важности постоянного труда над большой эпической поэмой. «Играя, бессмертие задел» — вот формула, которая гораздо ближе Батюшкову и лучше всего выражает смысл его стихотворения.

Поэт, выбравший наслаждение жизнью вместо творческого подвижничества, сравнивается с ребенком: «Я умею наслаждаться, / Как ребенок всем играть…» Это сравнение отсылает к евангельскому призыву: «Будьте как дети». У Батюшкова сопоставление с ребенком тоже имеет оттенок праведничества, впрочем, как и беспечность — счастливое свойство добродетельного человека[73]. В построенном почти по житийному канону «Воспоминании о Петине» (1815) Батюшков скажет о погибшем товарище: «Счастливое лицо, зеркало доброты и откровенности, улыбка беспечности, которая исчезает с летами и с печальным познанием людей, все пленительные качества наружности и внутреннего человека достались в удел моему другу. Ум его был украшен познаниями и способен к науке и рассуждению, ум зрелого человека и сердце счастливого ребенка: вот в двух словах его изображение»[74]. В коротком очерке о Петине его герой предстает идеальным человеком, наделенным всякого рода добродетелями, так что счастье, беспечность и непосредственное (детское) восприятие мира оказываются в их

числе.

Интересно, что в ранней редакции послания «К Гнедичу» финал не был таким жизнеутверждающим:

> Нет, болтаючи с друзьями,
> Славы я не соберу;
> Чуть не весь ли и с стихами
> Вопреки себе умру.

В этом четверостишии содержится легко читаемая цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Памятник» (1795):

> Так! — *весь я не умру,* но часть меня большая,
> От тлена убежав, по смерти станет жить,
> *И слава возрастет моя, не увядая…*

Послание Батюшкова, ориентированное на эти строки (кроме прямой цитаты «вопреки себе умру», особенное значение здесь имеет образ *неувядающей славы* — ср. с *увядающим лавровым венком* у Батюшкова), приобретало еще один значимый подтекст. Оно замысливалось поэтом как своего рода «анти-памятник». Батюшков отказывается от обязательного для этой традиции перечисления своих поэтических заслуг. Выбирая жизнь и ее наслаждения и отвергая творческий подвиг, поэт автоматически отказывается от «памятника», бессмертия и славы — отсюда мотив неминуемой смерти (физической и творческой — «со стихами») даже «вопреки себе». Впоследствии Батюшков убрал последние четыре строки — уж слишком реальный страх смерти зазвучал в этом финале.

Батюшков строит свое стихотворение на растительных образах. Венок бессмертия сплетается, конечно, из лавра. Однако вечнозеленый лавр на голове легкомысленного поэта неожиданно обретает способность увядать — «как от зноя василек». Это происходит потому, что поэт не желает «с скукой лавры собирать», отказывается от напряженного труда и предпочитает ему наслаждения: «Досель цветами / Путь ко счастью устилал». Понятно: недолговечное наслаждение молодостью связано с цветами, долговременная, вечная скука — с лавром. Не только счастье и молодость (здесь это почти синонимы), но и их необходимая составляющая — любовь — традиционно сочетаются с образом прекрасных и быстро увядающих цветов: «Нежны мирты и цветы, / Чем прелестницы венчали / Юного певца, — завяли!» Симпатии поэта на стороне хрупких, но благоуханных живых

цветов в противовес вечному, но лишенному сладостного аромата лавру — исполненная наслаждения жизнь лучше пресного бессмертия.

Слава в финале стихотворения появляется в качестве самостоятельно действующего персонажа: «Слава… ко дней моих закату / Как нарочно прилетит». Образ летящей славы заимствован Батюшковым из многочисленных скульптурных, живописных и гравированных изображений эпохи классицизма. Динамика лирического сюжета в этом тексте очень велика. Смена декораций происходит почти мгновенно.

Стоит сказать еще о финальном фонетическом аккорде послания. «Итальянское» сочетание звуков *т, к (д, г)* и *л* сопровождает концовку, в которой все сомнения автора счастливо разрешаются сами собой: «Ах! уже*л*и наградит / С*л*ава счас*т*ия у*т*ра*т*у / И *к*о дней моих за*к*а*т*у / *К*ак нарочно приле*т*ит?» Итальянское звучание финал стихотворения приобрел не случайно. Связанная для Батюшкова с ощущением гармонии, такая фонетическая окраска усиливала бесконфликтность финала: противоречие между счастьем и славой снималось, таким образом, и на фонетическом уровне.

Послание «К Гнедичу» — «безделка», но она легла одним из первых камней в то здание «совершенства русской поэзии», которое тщательно выстраивал Батюшков всю свою жизнь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I
«…Имя мое конфирмовано Государем»

Русская армия вступила в войну с наполеоновской в 1805 году. Это была война в составе Третьей коалиции, военного союза европейских государств, враждебных Наполеону, против такого же союза государств, Наполеону дружественных. Великобритания, Австрия, Швеция, Португалия и Российская империя сошлись на полях сражений с Францией, Италией, Испанией, Баварией и герцогством Вюртемберг. Не вдаваясь в подробности военных действий, которые каждый хорошо представляет себе благодаря гению Л. Н. Толстого и его роману «Война и мир», скажем только, что война эта была неудачной для России с самого начала. А в сражении при Аустерлице 2 декабря 1805 года русская армия потерпела сокрушительное поражение и, бесславно покинув границы Европы, вернулась на родину.

Установившийся мир был непрочным. Не прошло и года, как мозаика разложилась по-новому, создалась новая коалиция против Наполеона. Для России теперь главным союзником стала Пруссия. С императором Фридрихом Вильгельмом III русского царя связывали личные дружеские отношения, выступить на стороне Пруссии против Наполеона в случае войны Александр I считал долгом чести. У Наполеона же была своя логика, куда более эффективная: получив ультиматум прусского императора, Наполеон молниеносно прибыл в Бамберг, штаб-квартиру французских войск в Германии, взяв в свои руки руководство кампанией. Пока Пруссия приходила в себя, Наполеон с обычным для него быстрым натиском выдвинулся вперед, отрезал пруссаков от Эльбы и Берлина, разбил у Зальцбурга и Зальцфельда и погнал к Йене. Под Йеной (Наполеоном) и Ауэрштедтом (Даву) в один и тот же день были разгромлены две прусские армии, и французы двинулись дальше. Прусские крепости сдавались без боя — без боя же в октябре 1806 года был отдан и Берлин. Уничтожив с такой легкостью Пруссию, Наполеон отправился в Польшу и объявил приказом по армии о начале войны с Россией. Таким образом, во второй раз стать лицом к лицу с французами и их гениальным вождем России пришлось не при наступательном, а при оборонительном положении, помышляя о защите собственных границ.

16 ноября 1806 года Александр I объявил войну Франции. 30

ноября царь выпустил манифест о народном ополчении (милиции). Крупные губернии должны были поставить 612 тысяч ополченцев: рядовых из состава крестьян и мещан, начальников небольших подразделений — из числа дворян. Командующие ополченцами областей, включающих до семи губерний, назначались правительством. Видимо, мысль об участии в ополчении сразу пришла в голову К. Н. Батюшкову, которому тогда шел двадцатый год, однако он, без сомнения, догадывался, а возможно, и доподлинно знал о причинах, по которым отец некоторое время назад избрал для него учебное заведение отнюдь не военного образца. Чтобы быть ближе к событиям и влекомый патриотическим порывом, Батюшков через посредство А. Н. Оленина устроился на должность письмоводителя в канцелярию генерала А. Н. Татищева, начальника милиционного войска Петербургской области. Усидеть на месте он не смог — и 17 февраля 1807 года уже испрашивал в письме отцу благословение на участие в военном походе: «Но что томить вас! Лучше объявить все, и Всевышний длань свою прострет на вас. Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтоб их проводить до армии»[75]. Это, конечно, была ложь во спасение. Батюшков к тому времени был уже назначен сотенным начальником милицейского батальона и речь шла вовсе не о том, чтобы проводить стрелков до армии, как он деликатно выражался в своем письме, а о непосредственном участии в военных действиях. В конце письма почтительный сын вставляет характерную приписку, исключавшую возможное сопротивление родителя: «…поездку мою кратковременную отменить уже не можно: имя мое конфирмовано Государем»[76]. Да, собственно, ответа от отца дождаться Батюшков уже никак не мог — вероятно, затянул с отправкой письма намеренно — потому что к концу февраля покинул Петербург во главе своего подразделения, которое на современном военном языке называлось бы не иначе как рота.

Помимо родительского благословения, Батюшкова беспокоило состояние оставшегося в Петербурге дяди и благодетеля — М. Н. Муравьева, которого он покидал и о котором с тревогой сообщал отцу: «…Он и сам чрезвычайно болен к моему большому огорчению»[77]. Однако и то и другое отступало на второй план перед открывающейся перспективой: «Мы идем, так говорят, прямо в лоб на французов. Дай Бог поскорее»[78].

II
«Ранен тяжело в ногу навылет пулею…»

Поход занял всего два с половиной месяца. Впечатления у Батюшкова были разные. В первых же письмах Гнедичу он сообщает: «устал как собака»; «я чай, твой Ахиллес пьяный столько вина и водки не пивал, как я походом»; «я как каторжный: люди спят, а я из одного места в другое. Покоя ни на час»[79], и далее: «мне очень нравится военное ремесло», «хоть поход и весел, но тяжел, особливо в моей должности. Как собака на все стороны рвусь»[80]. Вскоре скажется слабое здоровье: во время похода Батюшков заболел и принужден был остаться в Риге на некоторое время, отстав от войска. Вынужденное бездействие позволяло думать о литературе: война и поэзия сливаются в воображении Батюшкова воедино, имя Торквато Тассо оказывается здесь совсем не лишним, героическая поэзия дает образец для подражания. С другой стороны, он словно боится думать о себе самом в высоком — эпическом — ключе, поэтому героический образ все время снижается, «…вообрази себе, — пишет он Гнедичу, — меня едущего на рыжаке по чистым полям, и я счастливее всех королей, ибо дорогой читаю Тасса или что подобное. Случалось, что раскричишься и с словом:

О доблесть дивная, о подвиги геройски!

прямо набок и с лошади долой»[81].

Первые письма, написанные Батюшковым из похода, содержат два ряда тесно переплетенных друг с другом образов: сначала упоминается высокий героический образец, но потом Батюшков как будто спохватывается, и высокий образец неизменно травестируется, осмеивается и снижается: трагедии Шиллера упоминаются на фоне «уродов» немцев, у которых нет «ни души, ни ума», Гомер вдруг становится частью утвари, вроде «урыльника» (ночной вазы), томная подруга Гнедича с условно-литературным именем Мальвина оказывается сукой, которая исправно «кропит помост храма твоею чистейшею росою (т. е. сцыт)». Всё это очень напоминает поэтику будущего «Арзамаса», членом которого в свое время станет и К. Н. Батюшков. Видимо, она была родственна его мировосприятию по своей сути.

Однако поэтическая рефлексия вскоре была прервана вовсе не литературным событием. Поход закончился. Девяностотысячная русская армия отступила к укрепленной позиции недалеко от восточнопрусского города Гейльсберг. Командующий русской армией генерал Л. Л. Беннигсен разделил ее на две части: три дивизии и гвардия на правом берегу реки Алле, основные силы на левом, прямо перед городом. Этот-то авангард, в составе которого был батальон Батюшкова, и принял

на себя удар главных сил французов 29 мая 1807 года. Для Батюшкова это кровопролитное сражение оказалось вторым; в первом, при Лаунау, его сотня участвовала сразу по прибытии из похода. Сражение при Гейльсберге длилось с раннего утра практически весь день, только к ночи французы закончили атаковать. В тактическом плане русские одержали победу, Л. Л. Беннигсен отразил все попытки Наполеона захватить позиции. Однако потери были очень велики: около двух тысяч убитых и шесть тысяч раненых. «Наш баталион сильно потерпел, — признавался Батюшков Гнедичу. — Все офицеры ранены, один убит. Стрелки были удивительно храбры, даже до остервенения. Кто бы мог это думать?»[82]

Ранен был и сам Батюшков. «Ранен тяжело в ногу навылет пулею в верхнюю часть ляжки и в зад, — отчитывался он Гнедичу. — Рана глубиною в 2 четверти, но не опасна, ибо кость, как говорят, не тронута, а как? — опять не знаю. Я в Риге. Что мог вытерпеть дорогою, лежа на телеге, того и понять не могу»[83]. На самом деле рана оказалась не такой безобидной: боль в ноге давала знать о себе на протяжении всей жизни Батюшкова. «Впоследствии, — пишет первый биограф Батюшкова П. И. Бартенев, — медики уверяли, что эта рана, хотя и скоро залеченная, произвела существенное расстройство во всем сложении и была одною из первоначальных причин умопомешательства…»[84]

Сначала раненого Батюшкова отправили поближе к русской границе в Юрбург, там в госпитале он неожиданно свиделся со своим новым другом, которого приобрел во время похода. Этим другом стал Иван Александрович Петин, ровесник Батюшкова, воспитанник Благородного пансиона при Московском университете, учившийся там вместе с В. А. Жуковским и с юности знакомый с семьей Тургеневых. Начинающий поэт, избравший в отличие от Батюшкова военную карьеру, он закончил Пажеский корпус и в 1806 году стал поручиком лейб-гвардии Егерского полка. Полк его был прикомандирован к ополчению и вместе с ним совершал переход в Пруссию. Батюшков вспоминал о начале их дружбы: «В 1807 году мы оставили оба столицу и пошли в поход. Я верю симпатии, ибо опыт научил верить неизъяснимым таинствам сердца. Души наши были сродны. Одни пристрастия, одни наклонности, та же пылкость и та же беспечность, которые составляли мой характер в первом периоде молодости, пленяли меня в моем товарище. Привычка быть вместе, переносить труды и беспокойства воинские, разделять опасности и удовольствия теснили наш союз. Часто и кошелек, и шалаш, и мысли, и надежды у нас были

общие»[85]. Петин, обладавший необычайным личным обаянием, буквально пленил Батюшкова, видимо, склонного очаровываться людьми. У Гнедича появился «соперник», бок о бок с которым Батюшков будет проходить свою военную одиссею и в первый, и во второй, и в третий раз. Восхищение, которое поэт испытывал по отношению к своему другу, и тоска преждевременной утраты в полной мере выразятся в посвященных ему литературных произведениях Батюшкова: прозаическом очерке «Воспоминание о Петине» (1815) и стихотворении «Тень друга» (1814?).

Вторым после «дружества» приобретением этой войны стала любовь. В Риге, куда раненого Батюшкова доставили из Юрбурга, он попал в семью немецкого негоцианта или попросту купца Мюгеля. Судя по всему, Мюгель принял русского офицера с распростертыми объятиями и приложил все усилия для того, чтобы Батюшков быстрее поправился. Во всяком случае, из писем поэта известно, что доктор, пользовавший его в Риге, был «превосходен»[86]. Но в доме Мюгеля оказался и «металл попритягательней» доктора — купеческая дочка, ставшая предметом краткой и сильной влюбленности молодого офицера. Любовь, видимо, была взаимной, о ней Батюшков скупо рассказывает в письмах — скупо настолько, что до сих пор все усилия исследователей, пытавшихся отыскать в Риге следы Мюгеля и его семейства, остались тщетными. Гнедичу поэт сообщает: «После трудов, голоду, ужасной боли (и притом ни гроша денег) приезжаю в Ригу, и что ж? Меня принимают в прекрасных покоях, кормят, поят из прекрасных рук: я на розах! Благодарность не велит писать»[87]. Батюшков не в силах скрыть свое счастье и от сестер. В сумбурном письме, в котором смешаны впечатления от недавно пережитого ужаса, планы скорого возвращения в Россию, излияния родственных чувств, он несколько раз не может удержаться от намеков на свою влюбленность: «Меня окружают цветами, меня балуют, как ребенка»; «Не беспокойтесь о моем нынешнем положении. Хозяин дома, господин Мюгель, самый богатый купец в Риге. Его дочка прелестна, мать добра, как ангел, они развлекают меня и музицируют для меня»[88]. Об этом романе Батюшкова нам известно не только по его переписке с близкими, но и по отголоскам в поэзии. Самый ранний текст, написанный по впечатлениям о гейльсбергском сражении и последующем пребывании в семействе Мюгель, — элегия «Воспоминание» (опубликовано в 1809 году). Стихотворение не самое удачное с точки зрения поэтической техники — в это время Батюшков создавал уже значительно более совершенные тексты, поэтому скорее всего написанное раньше, почти документальное.

Подобные рассуждения позволили некоторым исследователям даже предположить, что имя героини «Воспоминания» и есть реальное имя девицы Мюгель, с которой у Батюшкова был роман:

Ужели я тебя, красавица, забыл,
Тебя, которую я зрел перед собою.
Как утешителя, как ангела добра!
Ты, Геба юная, лилейною рукою
Сосуд мне подала: «Пей здравье и любовь!»
Тогда, казалося, сама природа вновь
Со мною воскресала
И новой зеленью венчала
Долины, холмы и леса.
Я помню утро то, как слабою рукою,
Склонясь на костыли, поддержанный тобою,
Я в первый раз узрел цветы и древеса…
Какое счастие с весной воскреснуть ясной!
(В глазах любви еще прелестнее весна.)
Я, восхищен природой красной,
Сказал Эмилии: «Ты видишь, как она,
Расторгнув зимний мрак, с весною оживает,
С ручьем шумит в лугах и с розой расцветает;
Что б было без весны?.. Подобно так и я
На утре дней моих увял бы без тебя!»
Тут, грудь кропя горючими слезами,
Соединив уста с устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна.

Как легко установить по интонации «Воспоминания», роман Батюшкова и девицы Мюгель не имел счастливого продолжения. Во второй половине июля 1807 года поэт покинул Ригу и отправился, не заезжая в Петербург, в вологодское имение отца Даниловское решать семейные распри. Современный исследователь В. А. Кошелев оценивает ситуацию следующим образом: «Кажется, что эта любовь поэта была встречена взаимностью. Между тем она не могла окончиться счастливой развязкой: слишком большие социальные различия были между русским дворянином-военным и дочерью немецкого купца. Можно было лишь грустить о неизбежной разлуке»[89]. Иного мнения придерживался первый биограф Батюшкова — Л. Н. Майков: «…с сердцем, полным любовию, он отправился в Даниловское, вероятно имея намерение возбудить вопрос о женитьбе»[90]. Правда, Майков оговаривается: «Самые условия, в которых возникла эта любовь, делали почти неосуществимым

брак его с девицею Мюгель: будущность юноши ничем не была обеспечена, средства ограничены; притом же он мог сомневаться в согласии своих родных на брак, который вполне оторвал бы его от семейной среды»[91]. На самом деле остается неизвестным, насколько далеко простирались намерения Батюшкова относительно девицы Мюгель и что из описанного в стихотворении «Воспоминание» можно с чистой совестью отнести к действительным событиям. Социальные различия между Батюшковым и семейством Мюгель, конечно, имелись, но пропастью их назвать можно едва ли, и, конечно, они могли быть преодолены при определенном упорстве. Предположение Майкова о том, что Батюшков так торопился в Даниловское, чтобы заявить о своем желании жениться родным, тоже вызывает сомнение — поэт спешил домой совсем по иным, гораздо более прозаическим причинам. Жениться собрался его отец, и вопрос о собственности самого Батюшкова и его сестер повис в воздухе, его нужно было срочно решать. С отъездом Батюшкова его отношения с семейством Мюгель пресеклись, но грусть по утраченной любви, конечно, осталась, преобразившись в поэтическую грусть:

Теперь я, с нею разлученный,
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу,
Воспоминания, лишь вами окриленный,
К ней мыслию лечу.
И в час полуночи туманной,
Мечтой очарованный
Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
Цветов благоуханье,
Эмилии дыханье;
Я вижу в облаках
Ее, текущую воздушною стезею…
Раскинуты власы красавицы волною
В небесной синеве,
Венок из белых роз блистает на главе,
И перси дышат под покровом…
«Души моей супруг! —
Мне шепчет горний дух. —
Там в тереме готовом,
За светлою Двиной,
Увижуся с тобой!..
Теперь прости»… И я, обманутый мечтой,
В восторге сладостном к ней руки простираю,
Касаюсь риз ее… и тень лишь обнимаю!

III
«Я от любви теперь увяну»

По прошествии времени сюжет рижского романа не утратил для Батюшкова своей привлекательности. С самого начала сделавшись частью литературной биографии, он был фактически устранен из биографии реальной, но от этого не поблек, а наоборот, оброс дополнительными смыслами и ассоциациями, которых, как правило, лишены события действительной жизни. Этим романом была вдохновлена одна из самых совершенных батюшковских элегий — «Выздоровление». Традиционно, благодаря сюжетной привязке этого текста к рижским обстоятельствам, стихотворение датировалось тем же периодом времени, что и цитированное выше «Воспоминание»[92]. Однако прочитав подряд оба текста, нетрудно убедиться, что между ними лежит значительный временной промежуток, отмеченный усиленной работой Батюшкова над совершенствованием собственного мастерства. Кроме того, текст «Выздоровления» впервые появился среди рукописей Батюшкова только в 1817 году, что дает очевидные преимущества версии о его более поздней датировке[93]. Центральный образ «Выздоровления» — на этот раз не названная по имени, но легко узнаваемая возлюбленная. Легко узнаваемая потому, что Батюшков опять использует некоторые мотивы своего раннего текста для нового произведения, и главный из них — эротический — создается с помощью сходных средств («Соединив уста с устами, / Всю чашу радости мы выпили до дна»; «Цветов благоуханье, / Эмилии дыханье» и др.):

Как ландыш под серпом убийственным жнеца
Склоняет голову и вянет,
Так я в болезни ждал безвременно конца
И думал: Парки час настанет.
Уж очи покрывал Эреба мрак густой,
Уж сердце медленнее билось:
Я вянул, исчезал, и жизни молодой,
Казалось, солнце закатилось.
Но ты приближилась, о жизнь души моей,
И алых уст твоих дыханье,
И слезы, пламенем сверкающих очей,
И поцалуев сочетанье,
И вздохи страстные, и сила милых слов
Меня из области печали,
От Орковых полей, от Леты берегов,

Для сладострастия призвали.
Ты снова жизнь даешь; она твой дар благой,
Тобой дышать до гроба стану.
Мне сладок будет час и муки роковой:
Я от любви теперь увяну.

Однако «Выздоровление», при всей его фонетической и сюжетной гармоничности, гораздо сложнее и глубже «Воспоминания». В рамках «легкого» жанра обсуждается далеко не шуточная тема, а для Батюшкова так и вовсе самая значимая — тема смерти и бессмертия. С ключевым образом этого стихотворения — увядающим цветком — мы встречались при разговоре о батюшковском послании «К Гнедичу». С ним в поэзии Батюшкова метафорически связывается мотив предощущения смерти. Сравнение с увядающим цветком находим уже в первых строках: «Как *ландыш* под серпом убийственным жнеца / *Склоняет голову и вянет*, / Так я в болезни ждал безвременно конца». Этот же образ сопровождает описание болезни: *«Я вянул, исчезал,* и жизни молодой, / Казалось, солнце закатилось». В финале стихотворения мотив увядания переосмысливается — герой снова возвращается к теме смерти, но иначе расставляет акценты: «Мне сладок будет час и муки роковой; / Я от любви теперь *увяну».* Мы видим, что «Выздоровление» призвано выразить гедонистическую мысль: любовь — единственное, что сильнее смерти[94]. Здесь оговоримся: может быть, важнее для Батюшкова то, что любовь сильнее *страха смерти.*

Первая часть стихотворения посвящена описанию приближающейся смерти. Образ ландыша, срезаемого «рукой убийственной жнеца», должен напомнить читателю о беззащитности человека перед вполне античным роком: *«Парки* час настанет», *«Эреба* мрак густой», *«Орковы* поля», *«Леты* берега». С античной темой связан и главный мотив второй части — спасение, генетически связанное с родственными мифологическими сюжетами, в которых, правда, активную роль выполнял обычно герой: возлюбленная «призывает» героя к жизни из царства мертвых, подобно Орфею, вызволяющему Эвридику, и Гераклу, возвращающему царю Адмету его жену. Вместе с тем *жнец,* властвующий жизнью цветущего растения, имеет не только античные, но и христианские корни.

Жнец, выходящий на жатву, — символический образ ветхозаветных и евангелических текстов: «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (От Луки 3, 17); «Дни

человека как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его» (Пс. 102, 15–16)[95]. Да и сам сюжет стихотворения, связанный с темой воскрешения, воспроизводит известные ситуации из Священного Писания. Акцентирует христианскую маркированность текста одна из его ключевых строк: «Ты снова *жизнь даешь,* она *твой дар благой».* Обращение героя к возлюбленной почти кощунственно совпадает здесь с обращением к Богу, к которому только и может относиться эпитет «благой»[96]. Подобно самому Создателю, возлюбленная у Батюшкова наделяется способностью даровать жизнь[97].

Кажется, что первая часть стихотворения с высокой темой смерти и воскрешения не очень органично контаминируется со второй, в которой идет речь о… чувственной любви. Ведь герой возвращается к жизни «из области печали» не просто так, а — «для сладострастия». Самыми действенными способами его спасения названы «поцалуев сочетанье» и «вздохи страстные». Образ возлюбленной поэта тоже снабжен отчетливо эротическими характеристиками: «Но ты приближалась, о жизнь души моей, / И алых уст твоих дыханье, / И слезы, пламенем сверкающих очей». Противоречие между внутренней структурой текста и его главной мыслью казалось бы налицо: сладострастие трудно соотнести с «любовью высокой», христианской.

Однако в батюшковской системе противоречие это мнимое: в пределах небольшого текста поэт пытается выстроить гармоничную модель мира. Формула, выражающая главную мысль стихотворения, «любовь побеждает смерть», — составляется из разных культурных пластов. Античный и христианский образные ряды взаимопроницаемы: евангельские рассказы о чудесном воскресении из мертвых намеренно подсвечиваются греческими и римскими мифами на ту же тему, чтобы реабилитировать силу и власть земной, плотской любви. Метафора оказывается красноречивой: возлюбленная поэта не только дарит умирающему герою жизнь, воскрешая его из мертвых, она сама — воплощенная жизнь: «Жизнь души моей», — называет ее герой.

Эротическая привлекательность героини нисколько не отрицает ее высокого дара воскрешать из мертвых и возрождать к жизни, а скорее наоборот, объясняет его. Метафора «возлюбленная — Бог» доведена в «Выздоровлении» до своего логического предела: чувственная любовь настолько прекрасна, что уравнивается с божественной. Такие несовместимые понятия, как смерть, воскрешение, любовь, сладострастие, оказываются в одном ряду отнюдь не по недосмотру автора. Их объединяет

стремление воспринимать жизнь в гармонии, центром и смыслом которой объявляется любовь во всех ее формах и проявлениях.

В финале стихотворения снова появляется образ смерти, наступающей теперь уже не от болезни, но «от любви». Батюшков словно «проговаривается», он не может сдержать своего ужаса перед неизбежностью смерти. Упоминание о второй смерти героя, обрывающей его вторую, чудом дарованную жизнь, — противоречит мажорной концепции стихотворения. Мотив поджидающей героя «муки роковой» (смерть еще и мучительна) и неизбежного, теперь уже безвозвратного, увядания, которым завершается «Выздоровление», вносит трагическую ноту. В первом варианте она звучала еще более ощутимо: «Мне сладок будет *нас разлуки роковой*», — вечная разлука с возлюбленной неизбежна. Эту же тему затрагивает предыдущий стих: «Тобой дышать *до гроба* стану». Любовь ограничена рамками земной жизни. Это, казалось бы, мимолетное дуновение хаоса подтачивает то гармоничное здание, которое с такой заботливостью выстраивает Батюшков. От чего же любовь спасает, если смерть все-таки неизбежна? Она дает возможность забыть об этой неизбежности, наслаждаться жизнью, не думая о предстоящем; повторимся: она освобождает от страха смерти. «Час муки роковой» будет сладок для поэта, благодаря присутствию возлюбленной — так же, как была прекрасна вся жизнь. Любовь, таким образом, становится для героя своеобразной *анестезией*, помогающей перенести и самое страшное испытание — смерть[98].

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I
«Право, нужно поберегать сего молодого человека…»

Что нам известно о событиях жизни Батюшкова, следующих непосредственно за рижским эпизодом? Во-первых, известно, что в конце июля — начале августа 1807 года он уже был на своих вологодских землях и включился в процесс раздела имущества с отцом, в который к этому времени вовсю были погружены сестры. Дело это было чрезвычайно сложное не только с этической, но и с юридической точки зрения, потому что самому Константину Николаевичу к тому времени еще не исполнилось 21 года для официального вступления во владение имениями, и приходилось всё делать через третьих лиц. Тогда же Батюшков перевез сестер из отцовского имения Даниловского в материнское — Хантоново, которое с этого момента надолго станет и его домом.

Во-вторых, 29 июля 1807 года в Петербурге скончался любимый дядюшка и наставник Батюшкова — М. Н. Муравьев. Когда Батюшков в начале года уходил из столицы с ополчением, Муравьев был уже болен — с одра болезни он так и не поднялся. Незадолго до своего отъезда из Риги Батюшков получил от Екатерины Федоровны Муравьевой письмо, в котором она настоятельно звала племянника в Петербург, намекая на критическое состояние своего супруга. Батюшков делился с Гнедичем: «Я получил от Катерины Федоровны письмо. Дядюшка очень, видно, был болен, желает меня видеть. Дай Бог, чтоб был жив»[99]. Однако степени опасности племянник все же не сумел оценить, или, возможно, призывы из Даниловского были более настойчивыми, во всяком случае он не прислушался к желанию дядюшки и отложил поездку в Петербург. Вероятно, сообщение о смерти Муравьева, полученное от Гнедича уже в начале августа, заставило его раскаяться в принятом решении. В конце августа — самом начале сентября Батюшков прибыл в Петербург.

Через месяц вышел манифест императора о роспуске ополчения. Однако часть ополчения его все же пополнила ряды регулярной армии, в том числе был укомплектован понесший большие потери лейб-гвардии Егерский полк, в котором служил Петин. Перед Батюшковым открывалась возможность стать штатным военным, и он этой возможностью воспользовался. Из Формулярного списка Батюшкова известно, что он перевелся в этот полк в чине прапорщика. Той же осенью он тяжело заболел и

оправился нескоро, только к весне 1808 года. Деятельное участие в болезни брата приняла сестра Анна, которая в это время снова жила в Петербурге. Почти все время рядом с больным находился А. Н. Оленин; очевидно, смерть Муравьева сблизила их. Теплые и как будто родственные отношения с этого момента установились между Батюшковым и семьей Олениных; это было уже не только сходство эстетических установок, но глубокая личная симпатия. Ей еще предстоит сыграть в биографии Батюшкова свою плодотворную и трагическую роль.

Весной, окончательно встав на ноги после болезни, Батюшков сразу же покинул Петербург и отправился в вологодские имения. 18 мая ему исполнился 21 год — возраст, когда, наконец, он юридически мог стать помещиком. А 20 мая был датирован императорский рескрипт о награждении Батюшкова орденом Святой Анны третьего класса «в воздаяние отличной храбрости», проявленной им в сражениях при Гейльсберге и Лаунау. Батюшков получил медаль из рук Оленина, который послал ее в Вологду с соответствующей припиской: «…я… обрадовался, что при верном случае могу к тебе выслать медаль, к которой я большую цену приписываю, особливо когда она висит на георгиевской ленте, как у тебя, с настоящим свидетельством Старика нашего. — Вот она, прошу любить да жаловать. Теперь дело-то раскусили; сперва рожу от нее отворачивали, а теперь всякой ее хочет иметь — не можем от просьб избавиться»[100].

В конце весны, как раз во время пребывания Батюшкова в Вологде, в Петербурге умерла его старшая сестра Анна Николаевна в возрасте 28 лет. Ее овдовевший супруг, лютеранин по вероисповеданию, Абрам Ильич Гревенс, бывший намного старше Анны Николаевны, ее кончину перенес тяжело. На руках у него остались сын Григорий и, вероятно, другие дети, рано умершие. О них мы, правда, имеем только «грамматические» свидетельства — в письмах Батюшкова о детях сестры Анны до поры до времени говорится во множественном числе. «Тот, кто кормит слабых птиц, оставит ли он без защиты детей нашей сестры, которая была образцом домашних добродетелей, редким образцом! — наставляет Батюшков сестру Александру. — Постараемся, дорогие друзья, сделать для них то, что она сделала для нас. Она проявила свой характер во время моей болезни. Я был бы неблагодарным, если бы забыл ее нежную и мужественную дружбу»[101]. Однако отношения между Абрамом Ильичом Гревенсом и семейством Батюшковых оставались натянутыми. Причиной этому была, по-видимому, необъяснимая скаредность Гревенса, который занял у сестер Батюшковых довольно крупную денежную сумму, но отдавать ее упорно не

желал. «Я ему говорил, — сетовал в письме сестре Константин Николаевич, — о твоих деньгах более одного разу и ничего удовлетворительного не получил. А видя тебя и Вариньку без дому, без денег и с долгами, видя вас одиноких без защиты и в совершенном отдалении, именно потому, что А. И. не хочет заплатить денег, я теряю вовсе к нему и к себе самому уважение. Он мне часто говорит о своих издержках, какое мне дело до них! У нас, право, не менее. Притом же воспитание Гриши не может его разорить. А главное возражение: какое право имеет он на деньги, которые ему не принадлежат?»[102] Волею судеб сыну Анны Николаевны и Абрама Ильича, Грише Гревенсу, впоследствии было суждено сыграть в жизни своего дяди самую существенную роль — в 1833 году Г. А. Гревенс стал опекуном больного Батюшкова, под его присмотром и в его доме поэт прожил в общей сложности более 20 лет, до своей смерти.

Даже и при менее печальных и тягостных обстоятельствах, чем весной и летом 1808 года, Батюшков в деревне всегда тосковал, остро переживая свою вынужденную оторванность от привычного круга, от столичной жизни, от литературной среды. В письмах из Хантонова на оставшегося в Петербурге Гнедича сыпятся вопросы и просьбы — все так или иначе касающиеся литературы. «Поговорим немного о Тассе, — внезапно предлагает Батюшков среди жалоб на судьбу, слабое здоровье и короткую память друзей. — Мне о нем и болтать приятно. Я потерял 1-й том и для того прошу тебя сделать дружбу, купить мне простую эдицию Иерусалима с италианским текстом и прислать не замедля. Я хочу в нем только упражняться»[103]. Как видим, мысль о продолжении перевода все еще владеет Батюшковым. В том же 1808 году под криптонимом NNN он напечатал в «Драматическом вестнике», журнале А. А. Шаховского, отрывок своего перевода I песни «Освобожденного Иерусалима» — «чтобы доказать, что я жив и волею Божиею еще не помре с печали»[104]. По некоторым свидетельствам в письмах Батюшкова можно заключить, что как раз в 1808–1809 годах он закончил перевод I песни полностью.

Вообще в этот период Батюшков писал очень мало, но в печати появилось несколько его произведений. Например, в том же «Драматическом вестнике» он опубликовал свою басню «Пастух и соловей», примечательную во многих отношениях. Басня была написана раньше, видимо, еще до похода в Пруссию, посвящалась драматургу В. А. Озерову, с которым Батюшков был знаком по салону Оленина, и была направлена в защиту его таланта от литературных противников. Получив от Оленина журнал с басней, Озеров написал в ответ: «…От моих стихов, которыми вам долго докучаю, обращусь к прекрасным стихам

Константина Николаевича, за доставление которых вас искренно благодарю. Прелестную его басню почитаю истинно драгоценным венком моих трудов. Его самого природа одарила всеми способностями быть великим стихотворцем, и он уже смолода поет соловьем, которого старые певчие птицы в дубраве под Ипокреном заслушиваются и которым могут восхищаться»[105]. Трудно сказать, читал ли Батюшков этот отзыв, но тонкость слуха Озерова впечатляет, учитывая, что сама басня едва ли может считаться в числе лучших произведений Батюшкова. Хотя в ней есть строки, которые, не кривя душой, можно было бы назвать «итальянскими»:

> Пастух, задумавшись в ночи безмолвной мая,
> С высокого холма вокруг себя смотрел,
> Как месяц в тишине великолепно шел,
> Лучом серебряным долины освещая,
> Как в рощах липовых чуть легким ветерком
> Листы колеблемы шептали
> И светлые ручьи, почив с природой сном,
> Едва меж берегов струей своей мелькали.

Конечно, в этой длинной и многословной басне еще нет поэтической смелости и новизны. Строки, посвященные соловью, главному герою басни, поражают своей невыразительностью: «Из рощи соловей / Долины оглашал гармонией своей…» Целая бездна отделяет этого робкого батюшковского соловья от победительной Филомелы, которая появится как деталь ландшафта в стихотворении «Последняя весна» (1815): «И яркий голос Филомелы / Угрюмый бор очаровал». Однако ночной пейзаж в басне все же заслуживает внимания хотя бы с точки зрения звукописи: на особенную мелодичность приведенного фрагмента с выразительной игрой на сонорных невозможно не обратить внимания.

Утонченный Озеров, похваливший Батюшкова за эту поэтическую победу, дальше справедливо заметил: «Страшно слышать, что он с шведами перестреливается. Право, нужно поберегать сего молодого человека и обратить пылкость и воображение его на славу другого рода, к которой произвела его природа. Почти весь русский народ способен стреляться. La valeur, говорит Гиббон, est la qualité de l'homme la plus commune[106]; но редки, редки превосходные дарования…»[107]

Однако «поберегать» Батюшкова было особенно некому, и осенью 1808 года, разобравшись по мере сил со своими имущественными делами, он скрепя сердце отправился в новый

поход.

II
«Под Индесальми шведы напали в полночь на наши биваки…»

После заключения Тильзитского мира (25 июня 1807 года), положившего конец войне, — мира, чрезвычайно выгодного для Наполеона и во многом позорного для России, наступило кратковременное затишье. Александр I и Наполеон стали друзьями, русский император после ратификации мирного договора даже вручил Бонапарту и членам его семьи высшие награды Российской империи — ордена Святого Андрея Первозванного. Главный и тайный пункт Тильзитского договора состоял в том, что Россия и Франция обязались помогать друг другу во всякой наступательной и оборонительной войне, где только это потребуется обстоятельствами. Конечно, Александр преследовал собственные выгоды, в частности, надеялся получить территориальное прибавление в виде Финляндии, словно угроза наполеоновского нападения на Россию была совершенно эфемерной. Ситуация эта очень похожа на ту, что повторится в 1939 году, когда будет подписан печально знаменитый пакт о ненападении Молотова — Риббентропа — иллюзорная гарантия мира с гитлеровской Германией, и в сфере интересов Советского Союза вновь окажется Финляндия.

Наполеон был куда более прозорлив, чем Александр, и весьма последовательно стремился к достижению своих целей. В Европе в это время оставалось две бреши в выстроенной им континентальной блокаде Великобритании; Испания и Португалия на юге и Швеция на севере. Шведский король Густав IV питал личную неприязнь к Наполеону и наполеоновской Франции. Чтобы склонить его на свою сторону или начать против него боевые действия, Наполеону требовалась поддержка России: он пообещал Александру, что в случае удачи военной операции Российская империя получит возможность присоединить к своей территории Финляндию и тем самым устранить многовековую угрозу своим северным рубежам. Поводом к началу военных действий против шведов стал отказ короля Густава вступить в союз с Россией против Англии. Шведский король вел себя вызывающе: он демонстративно вернул российскому императору орден Андрея Первозванного, поскольку не желал носить награду, которая имеется и у Бонапарта. Между тем Швеция к войне готова не была. Ее силы, разбросанные по просторам Финляндии, насчитывали всего 19 тысяч человек. Этим и воспользовался

российский император. 9 февраля 1808 года русские войска под командованием генерала Ф. Ф. Буксгевдена (24 тысячи человек) пересекли шведскую границу в Финляндии и начали военные действия. Если в начале кампании Батюшков имел веские основания для того, чтобы отсрочить свое участие в ней, то осенью его попытка избежать похода с неизбежностью провалилась. В сентябре 1808 года он покинул Россию и вслед за своим батальоном отправился в Финляндию.

Первое время боевые действия не велись — со шведами было заключено временное перемирие. Гвардейские егеря добрались до северных границ Финляндии и стояли лагерем в местечке Иденсальми. По прибытии Батюшков сразу свалился в лихорадке, в которой находился целую неделю и, как писал Гнедичу, «чудом вылечен». Впрочем, вылечен не окончательно — в письмах то и дело встречаются жалобы на боли в груди и просьбы прислать леденцов с имбирем. 15 октября произошла крупная схватка между русскими и шведскими войсками у кирки Иденсальми. Еще не совсем оправившийся от болезни Батюшков принял в ней участие. «Приезжаю в баталион, лихорадка мучит 7 дней, — отчитывался он сестре. — Прикладываю мушку к затылку; кричат: „тревога!“ Срываю, бегу в дело…»[108] А в ночь с 29 на 30 октября шведы напали на русский лагерь снова и застали русских врасплох. «Нападение было так быстро, — пишет Л. Н. Майков, — что с первого раза шведы проникли в несколько бараков, прежде чем наши солдаты могли выбежать из них. Однако при первых же выстрелах начальник авангарда генерал Тучков послал за подкреплениями, и в числе последних был вытребован гвардейский егерский батальон. Главная часть его лицом к лицу встретилась с нападающими, между тем как остальные егеря оставались в резерве. Наши стремглав бросились на шведов, засевших в лесу, и отрезали им отступление. Тогда, в темноте осенней ночи, в лесной чаще, все смешалось, и произошла ожесточенная схватка, окончившаяся полным поражением шведов и взятием в плен части шведского отряда»[109]. В «главной части» батальона сражался друг Батюшкова И. А. Петин, сам поэт оказался среди «остальных егерей». Иронизируя над собой и своей судьбой, Батюшков в послании «К Петину» через два года опишет эту ситуацию следующим образом:

Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? страшну ночь?
«Не люблю такой забавы», —
Молвил я, — и с музой прочь!
Между тем как ты штыками

Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками…
Ужин вам приготовлял.
Счастлив ты, шалун любезный,
И в Цитерской стороне;
Я же всюду бесполезный,
И в любви, и на войне…

В более позднем прозаическом «Воспоминании о Петине» (1815) Батюшков не упомянет о себе ни словом — героем той ночи в его глазах был, без сомнения, Петин: «Под Индесальми шведы напали в полночь на наши биваки, и Петин с ротой егерей очистил лес, прогнал неприятеля и покрыл себя славою. Его вынесли на плаще, жестоко раненного в ногу. Генерал Тучков осыпал его похвалами, и молодой человек забыл и болезнь и опасность»[110].

Мысль о необходимости отставки преследовала Батюшкова с самого начала Финляндского похода, и даже еще до него. «Я болен и не служивый. Оставить имею службу»[111], — признается он Гнедичу. Но подать в отставку до того, как побывал в настоящем деле, для Батюшкова невозможно. Он ждет подходящего случая. А тем временем поход затягивается, в Финляндии настают страшные холода: «Здесь ртуть термометра замерзает — я насилу дышу»[112], Батюшков тоскует и мучается вынужденным бездействием: «Мне так грустно, так я собой недоволен и окружающими меня. <…> Дни так единообразны, так длинны, что сама вечность едва ли скучнее»[113], тревога за оставленных на родине и не устроенных сестер мучает его: «…у меня сердце кровью обливается, как подумаю о вашей участи. Здесь пули, да и только, а у вас хуже пуль»[114]. Он пытается заполнить образовавшуюся пустоту чтением — усиленно просит своих адресатов о присылке книг, новых стихов, литературных новостей, но и это не помогает. В конце концов Батюшков приходит в то состояние, которое было принято называть ипохондрией, хандрой или черной меланхолией — одним словом, впадает в самое устрашающее уныние. Гнедичу он исповедуется: «В каком ужасном положении пишу к тебе письмо сие! Скучен, печален, уединен. И кому поверю горести раздранного сердца? Тебе, мой друг, ибо все, что меня окружает, столь же холодно, как и самая финская зима, столь же глухо, как камни. Ты спросишь меня, откуда взялась желчь твоя? — Право, не знаю; не знаю даже, зачем я пишу, но по сему можешь ты судить о беспорядке мыслей моих. Но писать тебе есть нужда сердца, которому скучно

быть одному, оно хочет излиться… Зачем нет тебя, друг мой! — Ах! — если б в жизни я не жил бы других минут, как те, в которые пишу к тебе, то, право, давно перестал бы веществовать»[115].

Состояние, в котором поэт обращался с этими грустными откровениями к своему другу, не было минутной слабостью. Оно продолжалось месяцами. Ощущение одиночества, безнадежности жизни, бесприютности мира владеет поэтом. И можно было бы пройти мимо его окрашенных традицией, но все равно поражающих воображение зарисовок собственных терзаний; объяснить их затянувшимся походом, лишенным ярких военных событий, холодной финской зимой и поздно наступающей весной, отсутствием новых живых впечатлений — можно было бы, если бы не достоверное знание о психической болезни, которая поразит Батюшкова всего через десятилетие.

III
«От Тассо к Петрарке»

В начале лета 1809 года наконец произошли перемены. Благодаря хлопотам батальонного полковника Батюшкова А. П. Турчанинова, с которым Константин Николаевич был знаком задолго до войны, долгожданная отставка была получена. 1 июля Батюшков писал сестрам уже из Петербурга. С одной стороны, им, конечно, владела радость освобождения от тягостной службы, с другой — петербургские впечатления тоже были невеселы: «Все, кто был мне дорог, перешли Коцит»[116]. Умер М. Н. Муравьев, умерла сестра Анна, Оленины жили на даче — Петербург опустел. Домашние дела не терпели отлагательств, и Батюшков пробыл в столице совсем недолго. Отъезд в деревню был вынужденным — надо было помочь сестрам налаживать быт в неустроенном материнском имении, но вместе с тем и желанным — длительная разлука с сестрами, да еще в тот самый момент, когда ломалась и перестраивалась вся их жизнь в связи с новым браком отца и разделом имущества, была одной из причин финской тоски Батюшкова. В самом начале июля поэт отправился в Хантоново. Несмотря на то, что Гнедич еще в Петербурге отклонил его приглашение, Батюшков все же надеялся, что друг скрасит его деревенское одиночество, и настойчиво звал его к себе. Гнедич не приехал, и следующие шесть месяцев, вплоть до начала января 1810 года, Батюшков провел в Хантонове. Об этом времени следует сказать несколько слов.

Во время финского похода мысли о литературе так или иначе скрашивали Батюшкову безотрадную действительность. В письмах он то и дело упоминал тех поэтов прошлого, которые и

прежде вдохновляли его на творческие свершения. Чаще других, по понятным причинам, вспоминались Гомер и Тассо. Взятый из Петербурга том «Gerusalemme libertata» Батюшков в походе потерял и настойчиво просил Оленина и Гнедича купить и выслать новый. Непонятно, получил ли он вожделенный том до конца войны, во всяком случае, больше о Тассо не упоминал. Все это заставило исследователей думать, что как раз тогда Батюшков окончательно потерял интерес к задуманному переводу[117]. Однако это не совсем так. Тассо, без сомнения, был для Батюшкова наследником золотого века, напрямую связывавший римскую Античность с Италией Позднего Возрождения. Так, любимый Батюшковым итальянский язык включался в сферу прекрасного. С другой стороны, Тассо был поэтом-эпиком, создателем большой поэмы и воспринимался современниками Батюшкова наравне с Гомером и Вергилием. Рядом с Тассо на незыблемой шкале ценностей стоял разве только Ариосто со своим «Неистовым Роландом». Так, казалось бы, Батюшковым осуществлялся выбор жанра и, соответственно, выбор своего места на поэтическом Олимпе.

Потеряв том «Освобожденного Иерусалима», а потом снова обретя его по возвращении в Петербург, Батюшков в деревне продолжает восторженно читать, перечитывать и переводить Тассо: «Я весь италиянец, т. е. перевожу Тасса в прозу. Хочу учиться и делаю исполинские успехи. <…> (скажу мимоходом, что „Иерусалим“ — сокровище: чем более читаешь, тем более новых красот, которые исчезают во всех переводах)»[118]. Но проходит всего два месяца и вдруг — разительная перемена. «Ты мне твердишь о Тассе или Тазе, — резко отвечает Батюшков на наставления Гнедича, — как будто я сотворен по образу и подобию Божьему затем, чтобы переводить Тасса. Какая слава, какая польза от этого? Никакой»[119]. Не стоит осмысливать это противоречие как проявление непостоянного характера поэта, чрезвычайно склонного к быстрой смене настроений. За внезапной вспышкой раздражения стоит продуманное решение. Окончательное разочарование Батюшкова в начатом им большом деле наступает не во время финского похода, а во время его хантоновского заточения. Инерция юности сменяется осмыслением своего собственного, индивидуального пути; не случайно в письме Гнедичу звучит этот бесспорный аргумент: создан по образу и подобию Божию, значит, существую отдельно от Тассо и его «Иерусалима», предназначен к чему-то более значительному, чем перевод. К чему?

Была ли к ноябрю 1809 года четко определена Батюшковым та поэтическая сфера, в которую он хотел себя вписать?

Вероятнее всего, нет. Но некоторые, вполне очевидные подходы к самоопределению он уже сделал, и имя другого стихотворца, оказавшегося теперь более значимым для становления Батюшкова-поэта, уже было произнесено. Имя это — Петрарка.

«От Тассо к Петрарке — это биографически первый шаг, сделанный Батюшковым на пути к постижению итальянской культуры…»[120] — пишет один из исследователей. Однако правильно было бы сказать более широко. Словами «от Тассо к Петрарке» можно обозначить общее направление, в котором развивается Батюшков как поэт. Интерес к большой эпической форме в нем угас, сменился увлечением тонким лиризмом и малыми жанрами. Образцы того и другого Батюшков ищет на хорошо изученном им поле, которое, по понятным причинам, представляется ему достаточно плодородным — на поле итальянской словесности. Творчество Петрарки предлагает ему все необходимое. Жанр петраркистской «канцоны» оказывается вполне пригодной базой для обновления русской элегии. Первые подступы к поэзии Петрарки Батюшков делает еще во время финского похода. Возможно, именно тогда он выполнил свой первый вольный перевод из Петрарки — стихотворение «Вечер» мотивами и главным замыслом связано с 50-й канцоной. Тень Лауры, пролетающая над задумавшимся поэтом, которая появляется в финале «Вечера», у Петрарки, однако, отсутствует:

О лира, возбуди бряцаньем струн златых
И холмы спящие, и кипарисны рощи,
Где я, печали сын, среди глубокой ноши,
Объятый трепетом, склонился на гранит…
И надо мною тень Лауры пролетит!

Стоит внимательно вчитаться в эти строки, чтобы разглядеть в них знакомые образы: стихотворение «Воспоминание», посвященное рижскому роману Батюшкова и таинственной девице Эмилии, заканчивалось сходно. Очарованный мечтой поэт «слышит в ветерке» дыхание своей возлюбленной, а, подняв голову, в облаках над собою видит во всей обворожительной красоте ее тень. Без сомнения, «поэт еще тесно связан с чужим оригиналом, но… чужой текст уже служит материалом для выражения собственного чувства»[121]. Пока поэт склонен придавать героине своих стихов божественные черты «вечной возлюбленной» Петрарки, пока в каждом женском образе ему видится Лаура, но пройдет совсем немного времени, и прием будет отделен Батюшковым от поэтического источника, а образ — от прототипа. В одной из своих лучших элегий «Тень друга»

(1814?) он с помощью сходных средств воссоздаст совсем иную ситуацию, по смыслу и описанию отстоящую далеко от петраркистского канона.

Помимо размышлений над жанром и содержанием своих стихов, Батюшков, по-видимому, приходит к некоторым выводам относительно языка поэзии вообще. И выводы эти выдают в нем уже сформировавшегося карамзиниста — по терминологии Тынянова, «новатора»[122]. Читая присланный ему Гнедичем фрагмент перевода «Илиады», Батюшков делает характерное замечание: «Перечитывая твой перевод, я более и более убеждаюсь в том, что излишний славянизм не нужен, а тебе будет и пагубен. Стихи твои, и это забывать тебе никогда не должно, будут читать женщины, а с ними худо говорить непонятным языком»[123]. Как известно, литераторы карамзинского толка сознательно ориентировали свои произведения не столько на читателей, сколько на читательниц — критерием вкуса служила высокая оценка образованной светской женщины, например, хозяйки аристократического салона. Стремление писать понятным, простым, разговорным языком, но и понятным, и простым, и разговорным в определенных, четко очерченных границах, открывало обширную перспективу для оттачивания стиля, для строгого отбора языковых средств. Именно по этому пути с осени 1809 года пойдет Батюшков.

Полугодие, проведенное в Хантонове, при всей его повседневной однообразности, жалобы на которую рассыпаны во всех письмах Батюшкова этого времени, оказалось чрезвычайно плодотворным. Изменения, подспудно подготовленные развитием поэтической биографии Батюшкова, произошли и были осознаны поэтом как новый этап.

Любые научные периодизации творчества всегда страдают излишней точностью — на самом деле практически никогда невозможно назвать дату, начинающую следующий виток. Но тот факт, что коренные перемены в творческом методе Батюшкова, а вернее, обретение этого метода произошли осенью 1809 года, не вызывает сомнений. И самым ярким свидетельством перемен стала сатира Батюшкова «Видение на берегах Леты», написанная в этот период. Поэт сразу послал ее на суд Гнедича и 1 ноября 1809 года осторожно осведомлялся: «Как тебе понравилось „Видение“? Можешь сжечь, если не годится. Этакие стихи слишком легко писать, да и чести большой не приносят»[124]. Однако настоящая известность Батюшкова началась именно с этих стихов.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I
«Видение»

Сатира, рожденная Батюшковым в его хантоновском затворе, действительно заслуживает пристального внимания. Она написана в традиции лукиановских «Разговоров в царстве мертвых» и посвящена весьма специальной, насквозь литературной ситуации, которая в целом укладывается в уже обозначенную схему противостояния архаистов и новаторов. Батюшков, к этому времени осознавший себя карамзинистом, высмеивает в «Видении» преимущественно своих литературных противников. Почему преимущественно, мы скоро увидим.

Сюжет сатиры прост: по причуде Аполлона все русские поэты были застигнуты внезапной смертью и отправились в загробный мир, чтобы там предстать перед судом Миноса[125]. Чтобы переплыть Лету и присоединиться к трапезе, за которой уже сидят увенчанные вечным блаженством русские поэты (Ломоносов, Сумароков, Княжнин, Богданович, Тредиаковский, Барков, Хемницер), только что умершим стихотворцам нужно искупаться в реке забвения и погрузить в нее свои творения.

Сюда, на берег тихой Леты,
Бредут покойные поэты;
Они в реке сей погрузят
Себя и вместе юных чад.
Здесь опыт будет правосудный:
Стихи и проза безрассудны
Потонут вмиг: так Феб судил!

Первым на суд попадает А. Ф. Мерзляков, знаменитый уже в то время поэт и переводчик античных авторов, к которому Батюшков относился особенно ревниво из-за начатого Мерзляковым почти одновременно с ним перевода «Освобожденного Иерусалима» Тассо[126]. Возможно, это и была главная причина, по которой Мерзляков открывает галерею сатирических образов, поскольку по своим убеждениям и творческим установкам он был в это время очень далек от архаистов. И наоборот, тесно связан с московским кругом карамзинистов, с которым Батюшков себя пока не идентифицировал.

Но тут Минос, певцам на страх,
Старик угрюмый и курносый,
Чинит жестокие вопросы:
«Кто ты, вещай?» — «Я тот поэт,
По счастью, очень плодовитый
(Был тени маленькой ответ),
Я тот, венками роз увитый
Поэт-философ-педагог,
Который задушил Вергилья,
Алкею укоротил крылья.
Я здесь, *сего бо хощет бог*
И долг священный природы…»

К выделенным курсивом строкам Батюшков сделал язвительное примечание: «Полустишие, взятое из прекрасного сочинения Мерзлякова „Тень Кукова“, которое никто не понимает»[127].

«Кто ж ты, болтун?» — «Я… Мер-зля-ков!»
«Ступай и окунися в воды!»
«Иду… во мне вся мерзнет кровь…
Душа всего… душа природы.
Спаси, спаси меня, любовь!
Авось…»

Естественно, никакого «авось» не случается и Мерзляков вместе со своими творениями мгновенно тонет в реке забвения. Стоит оценить бесподобную батюшковскую рифму «я мер-зля-ков» — «вся мерзнет кровь» особенно наряду с банальной «кровь — любовь», являющейся парафразой поэзии осмеиваемого Мерзлякова. Заметим, к слову, что Батюшков делает акцент именно на низком качестве мерзляковских переводов: «Задушил Вергилья, / Алкею укоротил крылья», — поскольку и себя по инерции воспринимает все еще переводчиком.

Следующим на суд отправляется Д. И. Языков, человек, о котором и в этой книге уже было сказано несколько слов, бывший сотрудник Батюшкова по Министерству народного просвещения, поражавший воображение современников категорическим отказом от употребления буквы «ер» на конце слов. Как теперь совершенно очевидно, Языков в своем намерении отменить «еры» намного обогнал эпоху. В батюшковской сатире его кардинальное стремление к реформе языка оказывается единственным достоинством его творений:

Увы, я целу ночь и день
Писал, пишу и вечно буду
Писать; все прозой, *без еров.*
Невинен я; на эту груду
Смотри, здесь тысячи листов,
Священной пылию покрытых,
Печатью мелкою убитых
И нет *ера* ни одного.

Следующим несчастным сочинителем оказывается князь П. И. Шаликов, известный издатель журнала «Аглая», а также сентиментальный поэт, главным жанром избравший для себя идиллию. Человек зрелого возраста, Шаликов как автор многочисленных любовных стихов выглядел в глазах молодого поколения смешным. Неслучайно в батюшковском описании упомянуты детали пастушеского облика стихотворца, в их числе «букет цветов тафтяных» — искусственность литературных восторгов Шаликова и вычурность его произведений бросаются в глаза, ясно поэтому, что стихотворец сразу же тонет в водах Леты.

Та же судьба постигла С. Н. Глинку, издателя журнала «Русский вестник», в котором главное внимание уделялось борьбе с галломанией, осмысленной как следствие «разврата умов» — понятно, почему Батюшков при характеристике своего героя семь раз употребляет эпитет русский, имеющий в этом контексте чрезмерный и потому иронический смысл. За Глинкой в реку забвения проследовали три поэтессы: Е. И. Титова, написавшая драму «Густав Ваза, или Торжествующая невинность», А. П. Бунина, членствовавшая в «Беседе любителей русского слова», и М. Е. Извекова. Все три «Сафы русские» подвергаются остракизму, поскольку взялись не за свое дело: «Сударыня! Мне очень больно, / Что вы, забыв последний стыд, / Убили драмою Густава», «Позор себе и для мужей, / У коих сочиняют жены», «Потом и две другие дамы, / На дам живые эпиграммы». Последним в Лету безвозвратно ныряет «барочный» поэт С. С. Бобров, также член «Беседы», создатель грандиозной символико-мифологической картины мира, стиль которого характеризовал подчеркнуто архаизированный язык и обилие мистических образов, последователь «ночной» поэзии Эдварда Юнга. Личность Боброва была овеяна мрачной славой заклятого врага Карамзина, погруженного в свои поэтические бредни пьяницы, стихи которого темны, невнятны и сложны для восприятия. За ним прочно закрепилось каламбурное прозвище Бибрис (от двух слов: немецкого «Biber» — бобр и латинского

«bibere» — пить). Перу Батюшкова принадлежит меткая эпиграмма на Боброва:

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб напиться!

(1809)

Эта эпиграмма «как бы толковала природу невразумительности Бибриса: темнота смысла его творений объяснялась тем, что они порождались сознанием, затемненным винными парами. Бобров действительно был запойным пьяницей, но этот бытовой факт в интерпретации карамзинистов выступал как факт литературный. Пьянство представало как мотивировка (и вместе с тем как своеобразная метафора) грандиозного метафизического и, как следствие, темного стиля», — пишет О. А. Проскурин[128]. В «Видении» Батюшков дает блестящую пародию на стиль Боброва:

«Кто ты?» — «Я — виноносный гений.
Поэмы три да сотню од,
Где всюду ночь, где всюду тени,
Где роща ржуща ружий ржот,
Писал с заказу Глазунова
Всегда на срок… Что вижу я?
Здесь реет между вод ладья,
А там, в разрывах черна крова,
Урания — душа сих сфер
И все титаны ледовиты,
Прозрачной мантией покрыты,
Слезят!»

Тут нужно оговориться, что позиция Батюшкова была если не партийной (за неимением партии), то во всяком случае к таковой приближающейся, и его оценками нельзя руководствоваться при попытке объективно взглянуть на место того или другого литератора в истории отечественной словесности. В частности, А. Ф. Мерзляков был одаренным стилизатором, написанные им песни в народном духе (к примеру, «Среди долины ровныя…») исполняются и по сей день. А. П. Бунина была поэтессой со сложной и трагической судьбой как личной, так и литературной; она была несомненно талантлива и заметна на поэтическом Олимпе начала XIX столетия. С. С. Бобров вошел в историю

литературы как один из самых ярких экспериментаторов в стане архаистов, совмещавший в своей поэзии «укорененную в многовековой традиции эмблематику и смелую метафорику»[129]. Взгляд на них Батюшкова важен именно как взгляд карамзиниста, вполне определенно отдающего себе отчет в том, что нужно отстаивать и что необходимо отвергать.

В конце сатиры к Лете приближается дедовский возок, на котором восседает «призрак чудесный и великий», возок тянут вместо лошадей люди в хомутах. Тень выходит из возка и отвечает на допрос судьи:

> «Кто ты? — спросил ее Минос, —
> И кто сии?» На сей вопрос:
> «Мы все с Невы поэты росски», —
> Сказала тень. «Но кто сии
> Несчастны, в клячей превращенны?»
> «Сочлены юные мои,
> Любовью к славе вдохновенны,
> Они Пожарского поют
> И *тянут* старца Гермогена;
> Их мысль на небеса вперенна,
> Слова ж из Библии берут;
> Стихи их хоть немного жестки,
> Но истинно варяго-росски».
> «Да кто ты сам?» — «Я также *член;*
> Кургановым писать учен[130];
> Известен стал не пустяками,
> Терпеньем, потом и трудами;
> Аз есмь зело *славенофил*»…

Очевидно, что под *славенофилом* подразумевается не кто иной, как сам А. С. Шишков. Не случайно стилистика этого фрагмента отличается обилием архаичных форм, а смысл речи Шишкова при внимательном чтении оказывается трудно уловимым: его сочлены берут слова для своих произведений из Библии, и при этом стихи их становятся «истинно варяго-росски». Батюшков имитирует ход рассуждений Шишкова относительно современного словоупотребления: как мы помним, он предлагал писателям черпать слова из церковнославянского наречия, ошибочно полагая, что таким способом они возвращаются к корням — к исконно русскому языку. Среди сочленов Шишкова в сатире выделяется один, который, собственно, и предстательствует за остальных — С. А. Ширинский-Шихматов, автор больших поэм, в том числе — «Пожарский, Минин,

Гермоген, или Спасенная Россия», тоже талантливый экспериментатор в области жанра и языка, тяготевший к крупным поэтическим формам и рано покинувший литературное поприще. Исходя из того, что русские глаголы слишком легко рифмуются, он совсем отказался от глагольных рифм и в среде карамзинистов быстро получил прозвище Безглагольник. Все юные сочлены Шишкова тонут вместе с их произведениями в реке забвения, и только сам «славенофил, / И то повыбившись из сил, / За всех трудов своих громаду, / За твердый ум и за дела / Вкусил бессмертия награду».

Последним в Лете купает свои творения «архаист» И. А. Крылов. Он один оказывается безоговорочно пропущенным в вечность — талант Крылова не подвергается ни малейшему сомнению. А сам он при этом ни минуты не озабочен вопросами славы и бессмертия. Он говорит очень простым русским языком, который на деле оказывается единственно пригодным для большой литературы:

> «Ну, вот, Минос, мои творенья,
> С собой я очень мало взял:
> Комедии, стихотворенья
> Да басни, — все купай, купай!»
> О, чудо! — всплыли все, и вскоре
> Крылов, забыв житейско горе,
> Пошел обедать прямо в рай.

«Каков был сюрприз Крылову, — отчитывается Гнедич, прочитавший сатиру Батюшкова в доме Оленина, — он на днях возвратился из карточного путешествия; в самый час приезда приходит к Оленину и слышит приговоры курносого судьи на все лица; он сидел истинно в образе мертвого; и вдруг потряслось все его здание; у него слезы были на глазах…»[131]

Собственно прославлением Крылова исчерпывается сюжет батюшковской сатиры, но история ее распространения и популярности стоит того, чтобы сказать о ней несколько слов. «Русская литературная сатира не знала такого разнообразия портретов до Батюшкова, — писал о „Видении“ И. З. Серман. — Еще никто до него не отваживался дать такую критическую оценку почти всем течениям современной литературы. Батюшков использовал технику сатиры, которую часто применяли французские поэты XVIII века»[132]. Итак, наследник французского классицизма, но первый на русской почве.

Отослав «Видение» Гнедичу, Батюшков не забывает о нем. Собственно, не дает ему забыть именно Гнедич, который вскоре

признается, что слух о сатире разошелся по Петербургу. Батюшков пугается: «Голова ты, голова! Сказать Оленину, что я сочинил „Видение“. Какие имел ты на это права? Ниже отцу родному не долженствовало об этом говорить»[133]. Однако страх не мешает поэту переписать сатиру, внести кое-какие добавления, исправить неточности — и самолично отправить Оленину улучшенный вариант. Чувствуется, что сам он в восторге от своего детища и не может сдержаться, чтобы не похвалить себя: «Каков Глинка? Каков Крылов? Это живые портреты, по крайней мере, мне так кажется…»[134] Батюшков, конечно, волнуется, что станет мишенью для литературных противников, но это не останавливает его, он сам участвует в размножении списков: «Скажи мне, не читал ли Шишков, сидящий в дедовском возке… Что бранят меня… Кто и как, отпиши чистосердечно. Заметь, кто всех глупее, тот более и прогневается. К Оленину я послал экземпляр»[135]. Примерно то же в письме Оленину: «Мне перед Вами оправдываться не нужно; Вы знаете совершенно, что позволено шутить не над честью, но над глупостью писателей. <…> Умный человек осмеянный прощает. Дурак сердится. <…> Но много ли умных? Поверьте, Ваше превосходительство, что все рассердятся. <…> Желаю знать, что более понравится Вашему превосходительству. Глинка, например, списан с натуры. Падение в реку сочинительницы „Густава“, и г-жи Буниной, и еще какой-то Извековой меня самого до слез насмешили. Желал бы очень напечатать (sic! — *А.С.-К.)* в лицах все это маранье… Будьте моим щитом, Ваше превосходительство, против северных Фиад и Фреронов»[136].

В таком смятенном расположении духа, не зная толком, на чем остановиться в размышлениях о своей дальнейшей литературной судьбе, то ли радоваться несомненному успеху, то ли опасаться гнева могущественных врагов, Батюшков покинул Хантоново и через Вологду в самом конце 1809 года отправился в Москву, куда прибыл на Рождество.

II
«И я зрел град»

В Москве Батюшков оказался впервые в жизни. Его туда уже давно звала тетушка — Екатерина Федоровна Муравьева, вдова покойного Михаила Никитича, после смерти мужа переселившаяся в старую столицу, чтобы ее сыновья могли учиться в Московском университете. Вполне естественно, что Батюшков остановился в ее доме, адрес которого указывал заранее в письме Гнедичу: «В Арбатской части, на Никитинской

улице, в приходе Георгия на Всполье, № 237»[137]. Хозяйку дома и ее молодого племянника связывали не только общие воспоминания, но и искренняя личная привязанность. Как замечает Л. Н. Майков, «с этих пор между ними установились такие отношения, в которых на долю Екатерины Федоровны выпало заменить Константину Николаевичу родную мать»[138]. Надо сказать, что и самому Батюшкову по отношению к своей тетушке довелось сыграть роль старшего сына и быть ей опорой в сложнейших жизненных обстоятельствах. И то и другое — дело не столь отдаленного будущего.

По приезде в Москву Батюшков переживает две коллизии: во-первых, он довольно быстро входит в круг московских литераторов и ощущает в нем свою чужеродность. «Я познакомился здесь со всем Парнасом, кроме Карамзина, который болен отчаянно. Этаких рож и не видывал», — признается Батюшков сестре[139]. Во-вторых, поэт с тревогой и надеждой продолжает наблюдать за судьбой своей сатиры «Видение на берегах Леты», которая в это время совершает свой триумфальный путь. Почувствовав, что сатира его снискала в Петербурге известность, Батюшков инструктирует Гнедича относительно «Видения»: «…Читай и распусти, если оно и впрямь хорошо. Я не боюсь тебя об этом просить, ибо оно тебе нравится»[140]. Впрочем, первая и вторая коллизии были тесно между собой связаны. Прежде всего тем, что батюшковская сатира в Москве опередила своего автора и свое представление о нем как о поэте московский парнас формировал не без ее участия. Кроме того, в сатире были затронуты некоторые московские литераторы. И конечно же с ними Батюшкова сразу столкнула судьба: «…Мне стыдно перед Глинкой, который обласкал меня, как брата, как родного, а я…» («Я Русский и поэт. / Бегом бегу, лечу за славой, / Мне враг чужой рассудок здравый. / Для Русских прав мой толк кривой, / И в том клянусь моей сумой».) «Мерзляков — и это тебя приведет в удивление — обошелся как человек истинно с дарованием. <…> Он меня видит — и ни слова, видит — и приглашает к себе на обед. Тон его нимало не переменился (заметь это), я молчал… молчал и молчу до сих пор…» («Я тот, венками роз увитый / Поэт-философ-педагог, / Который задушил Вергилья, / Алкею укоротил крылья…») Собратья по перу, карамзинисты, восприняли Батюшкова как своего единомышленника, как борца на литературном поле вкуса. Неслучайно менее чем через месяц после личного знакомства Жуковский предложил ему писать поэму «Распря нового языка со старым».

Однако несмотря на теплый и дружественный прием, Москва

поначалу не обрадовала Батюшкова ни укладом повседневной жизни, ни праздниками, ни литературными новостями. «Ты спросишь меня: весело ли мне? — Нет, уверяю тебя»[141]; «…Если б не дружба истинно снисходительная Катерины Федоровны, которой я день ото дня более обязан всем, всем на свете, то я давно бы уехал… в леса Пошехонские опять жить с волками и с китайскими тенями воображения довольно мрачного, — китайскими тенями, которые, верно, забавнее, и самых лучших московских маскерадов»[142]; «Сегодня ужасный маскерад у г. Грибоедова, вся Москва будет, а у меня билет покойно пролежит на столике, ибо я не поеду… <…> Москва есть море для меня; ни одного дома, кроме своего, ни одного угла, где бы я мог отвести душу душой»[143]; «Впрочем, скажу тебе, что Москва жалка: ни вкуса, ни ума, ниже совести! Пишут да печатают»[144]. Бесприютность московской жизни скрашивало в первое время разве что общение с Петиным, с которым Батюшков не виделся со времен последней войны. Так что жалобы на отсутствие в огромной Москве места, где можно «отвести душу», были все-таки чрезмерными.

Возможно, Батюшкову было трудно освоиться в старой столице, потому что он с юности был вписан в петербургский контекст, и московская свобода, которая для жителя Северной столицы часто представлялась безалаберностью, была ему чужда. А может быть, давали себя знать только что пережитый творческий кризис и болезненное состояние нерешительности и страха перед будущим, которые охватывали Батюшкова всякий раз перед новыми поворотами судьбы. Апогей этого ощущения пришелся на Великий пост.

Уже в середине января Батюшков в письме Гнедичу выстроил простой и ясный план ближайших действий, направленных на получение места в иностранной коллегии. Недалеко от Москвы, в Твери, располагался двор великой княгини Екатерины Павловны, покровительствовавшей многим литераторам, в частности Карамзину. Управляющим великокняжеским двором был князь И. А. Гагарин, тоже меценат, личный знакомый Гнедича (Гнедич был многим обязан ему). План Батюшкова выглядел очень просто: поэт решил лично посетить Тверь и преподнести великой княгине свой перевод I песни «Освобожденного Иерусалима». Гнедич тем временем должен был уведомить князя Гагарина о желании его друга устроиться на службу в иностранную коллегию: «…Если он это возьмет на сердце, то я думаю, что тут ничего мудреного нет, тем более что он Радищеву предлагал в Твери прекрасное место, от которого наш приятель имел глупость отказаться»[145]. В дальнейшем этот план многократно варьируется, обрастает

деталями, усложняется, постепенно главная фигура, то есть сам Батюшков, исключается из него, а к середине марта оказывается, что строить планы — все равно что пытаться обыграть судьбу: «Я не шутя был очень болен нервическим припадком в голове. Странная болезнь! Лекаря называют ее: le tic douloureux[146] или болезненное биение в висках, упаси Бог от этого мученья! Упаси Бог! Вот почему я не был в Твери, даже и вовсе отдумал. Что-то все не клеится»[147]. Обратим внимание на совершенно алогичный характер данного Батюшковым объяснения: он «вовсе отдумал» ехать в Тверь из-за приступа головной боли. Понятно, что такое объяснение — это скорее оправдание перед Гнедичем, который уже предпринял некоторые шаги для воплощения плана Батюшкова в жизнь. Дальше — больше: «Итак, я в Тверь не поехал! Что делать! Знать, таковы судьбы! Однако же Тасса моего хочу послать туда прямо к Гагарину. Что будет, того не миновать. Знаю, что самому бы лучше, да нельзя. Впрочем, я такой веры, что счастие впору и невзначай приходит и что все расчеты бывают иногда ничтожны»[148]. Намерение послать перевод Гагарину — это слабая попытка искупить вину собственного бездействия, а отсылка к судьбе, — конечно, действенное самооправдание. Не надо думать, однако, что Батюшкову удалось себя самого успокоить или обмануть. Он пребывает в крайне тревожном расположении духа, недоволен собой, и «Видение на берегах Леты» в этом комплексе ощущений играет не последнюю роль. «Ты знаешь, — пишет он Гнедичу, вновь испытав ужас от содеянного, — хотел ли я разглашать шутку, написанную истинно для круга друзей. Впрочем, чем более будут бранить, тем более она их будет колоть, и это верный знак, вопреки судьям, что она даже хорошо написана. Для меня слабое утешение. Представь себе, мой друг, что это даже останавливает отчасти мою поездку в Тверь (sic! — *А. С.-К.),* что это меня надолго, очень надолго сгонит с Парнаса…»[149] Сознание Батюшкова работает крайне парадоксально, подменяя истинное мнимым: поэт предполагает, что его «сгонит с Парнаса» самая блестящая вещь из написанных им за всю жизнь. Какой же выход видит для себя теперь Батюшков? Настолько фантастичный, что поездка в Тверь меркнет перед этим новым планом: «Я, любезный Николай, решился оставить все: дотяну век в безвестности и, убитый духом и обстоятельствами, со слезами на глазах, которые никто, кроме тебя, чувствовать не может, — скроюсь, если можно, навеки от этих всех вздоров. Заложу часть имения и поеду в чужие край. Не думай, чтоб это были пустые слова»[150]. Однако вскоре после того, как писались эти строки, Батюшков стал понемногу выходить из своего отчаянного состояния. И произошло это благодаря двум

московским поэтам, дружба с которыми добавила ему уверенности в силах, дала новый импульс поэтическому творчеству, помогла яснее определить свою литературную позицию и, что не менее важно, заставила отказаться от убеждения, что в мире нет, кроме Гнедича, ни одной родственной души. Эти два поэта — Василий Андреевич Жуковский и Петр Андреевич Вяземский.

Батюшков пробыл в Москве меньше полугола, но за это время успел так близко сойтись с ними, что перешел на «ты». Разумеется, первый человек, с которым он поделился радостью обретения, был Н. И. Гнедич, воспринявший это известие без особого энтузиазма. Когда среди жалоб на московское житье в письмах Батюшкова начали проскальзывать сообщения вроде: «С Жуковским я на хорошей ноге, он меня любит и стоит того, чтобы я его любил…»[151] — Гнедич естественно попытался отстоять свое право лучшего и единственного друга. Батюшкову пришлось обороняться: «Поверь мне, мой друг, что Жуковский истинно с дарованием, мил, и любезен, и добр. У него сердце на ладони. Ты говоришь об уме? И это есть, поверь мне»[152]. Чуть позже Батюшкову пришлось защищать от нападок Гнедича и Вяземского: «…Напрасно сердишься на князя Вяземского, который меня истинно любит, а много ли таких людей! Кроме его ума (а он очень умен), он весьма добрый малый. Не знаю, как узнал, что я не еду, потому что ожидаю оброку с деревень, и что же? Предложил свой кошелек, но с таким добродушием, что письмо его меня тронуло. Деньги его мне не надобны: я отказал их, но я ему не менее за то обязан. Это не безделка, такой поступок! Согласись сам! Ибо ты довольно знаешь свет и жителей земноводного шара!»[153] Собственно, с весны 1810 года московские друзья стали занимать в сознании и сердце Батюшкова едва ли не более значительное место, чем старый товарищ Гнедич. Осенью того же года Гнедич вынужден был прочитать в шуточном отчете о деревенском распорядке дня Батюшкова следующий пункт: «1 час употребляю на воспоминание друзей, из которого 1/2 помышляю о тебе»[154]. Этой половины часа для Гнедича было мало.

Среди знаковых фигур московской жизни Батюшкова 1810 года следует отметить еще одну, пожалуй, самую главную, — Николая Михайловича Карамзина, которого новые друзья Батюшкова не только признавали первым писателем современности, но почитали как носителя высокого нравственного начала. Так, Жуковский писал о нем: «<…> Можно сказать, что у меня в душе есть особенное хорошее свойство, которое называется Карамзиным: тут соединено все, что

есть во мне доброго и лучшего»[155]. Когда Батюшков появился в Москве, он не воображал себя учеником и последователем Карамзина, однако относился к нему с почтением, язык Карамзина считал образцовым и всегда принимал его сторону в заочном противостоянии Шишкову. Кроме того, Карамзина связывала близкая дружба с М. Н. Муравьевым, и хотя бы поэтому Батюшков не мог быть равнодушен к перспективе возможной встречи с Карамзиным. Приехав в Москву, Батюшков сразу навел справки: Карамзин был болен, и знакомство с ним откладывалось на неопределенный срок. В письмах Батюшков среди разнообразия московских впечатлений не забывает упомянуть: Карамзина пока не видел… И вот в середине февраля происходит, пожалуй, главное событие московской жизни поэта. «Я гулял по бульвару и вижу карету, — отчитывался Батюшков Гнедичу. — В карете барыня и барин; на барыне салоп, на барине шуба и на место галстуха желтая шаль. „Стой!“ И карета стой. Лезет из колымаги барин. <…> Кто же лезет? Карамзин! Тут я был ясно убежден, что он не пастушок, а взрослый малый, худой, бледный, как тень. Он меня очень зовет к себе…»[156] Надо заметить, что Карамзин в эту пору жил довольно уединенно, был весьма разборчив в знакомствах и занимался написанием своего исторического труда. От прежней литературной деятельности он давно отошел и прямого участия в полемике, вызванной его же собственными открытиями, не принимал. Однако Батюшкова приметил на улице и специально остановился, чтобы познакомиться и пригласить к себе. Л. Н. Майков приводит любопытные воспоминания П. А. Вяземского, в компании которого Батюшков впервые пришел в дом Карамзина: «…он явился туда в военной форме и со смущением вертел своею огромною треугольною шляпой, составлявшею странную противоположность с его маленькою, „субтильною фигуркой“; Карамзин же принял его с некоторою важностью, его отличавшей»[157]. Первоначальная неловкость вскоре была совершенно сглажена, и Батюшков стал часто бывать в его доме. В письмах Гнедичу хвастался, что у Карамзина он «на хорошей ноге» и проводит «наиприятнейшие вечера». В июне, приняв приглашение супруги Карамзина Екатерины Андреевны (единокровной сестры П. А. Вяземского) погостить у них «на даче», Батюшков вместе с Жуковским отправился в подмосковное имение Вяземских Остафьево, где провел три счастливые недели. Карамзин в это время подолгу жил в Остафьеве, работая над своей Историей. Личное знакомство с Карамзиным было, без сомнения, важной вехой биографии Батюшкова, но еще важнее было другое, что безошибочно уловил Л. Н. Майков: «Таким

образом, вошел Батюшков в кружок Карамзина и его ближайших последователей и, сочувственно встреченный ими как новое, свежее дарование, как человек с чистыми, благородными стремлениями, легко освоился в этой среде»[158].

III
«…Я враль, ибо перевожу Парни»

Батюшков покинул Остафьево внезапно. В общем-то он давно собирался в Хантоново, но никак не мог принудить себя расстаться с москвичами. И вот, наконец, решился: «Я вас оставил, *en impromptu*, уехал, как Эней, как Тезей, как Улисс от блядок…»[159] Отчасти, конечно, звали неотложные хозяйственные дела, которые требовали личного присутствия на месте. Но важнее была, по-видимому, потребность в уединении: нужно было время, чтобы пережить, осмыслить, освоить полученный в Москве новый опыт. Приехав в Хантоново, Батюшков опять свалился с тяжелейшим приступом *tic douloureux,* но это не помешало ему сразу же взяться за перо. Первый проект, над которым он стал с энтузиазмом работать уже в июле и который завершил в рекордные сроки (к сентябрю), было стихотворное переложение библейской книги «Песнь песней». Это переложение стало своего рода заменой большой переводческой работы, от продолжения которой Батюшков упорно отказывался, несмотря на нажим со стороны Гнедича. В шуточном расписании своего деревенского безделья Батюшков замечает: «½ часа читаю Тасса. 1/2 — раскаиваюсь, что его переводил»[160]. К сожалению, никаких следов батюшковского переложения «Песни песней» до нас не дошло. По письмам известно только, что он из нее «сделал эклогу» и избрал «драматическую форму»; известно также, что результат не пришелся по вкусу ни Гнедичу, ни московским друзьям. «Ты совсем с ума сходишь, — наставлял его Вяземский. — „Песнь песней“ сделает из тебя, как я вижу, Шишкова. Сделай милость, не связывайся с Библией. Она портит людей…»[161] Возможно, Батюшков получил еще одно доказательство своей правоты: его призвание лежало совсем в иной области, большая форма ему не давалась.

Что же касается малой, то в течение 1810 года им было написано несколько блистательных текстов. В памяти поколений Батюшков чаще всего воскресает как поэт-эпикуреец, певец наслаждений и жизненных радостей, умеющий с легкостью подниматься над прозой бытия. Это суждение вполне справедливо для творчества Батюшкова до 1812 года, которое уже никак нельзя назвать «ранним», потому что в 1809–1811 годах

поэт создает настоящие шедевры русской анакреонтики. Как истинный карамзинист, Батюшков нуждался в образце для подражания, и такой образец быстро нашелся — современный французский «эротический» поэт Эварист Парни. Многие из самых блестящих примеров батюшковской поэзии этого времени имеют более или менее косвенное отношение к Парни. Сам Батюшков называл переводами свои стихотворения «Привидение», «Источник», «Вакханка», которые, конечно, были не переводами в строгом смысле этого слова, а вольными переложениями. Темы и некоторые образы действительно почерпнуты из поэзии Парни, но дотошный сравнительный анализ «перевода» и «оригинала», к которому прибегали исследователи, всякий раз убедительно показывал: чем дальше Батюшков отходил от первоисточника, тем живее выстраивался образный ряд, тем органичнее складывалась композиция, тем, в конце концов, ярче звучала удивительная мелодика его поэтической речи[162]. Под стихотворением «Вакханка» в батюшковском сборнике Пушкин приписал: «Подражание Парни, но лучше подлинника, живее»[163]. Заметим попутно, что избрание легкого рода поэзии как главного и увлечение Парни поощрялись московским кружком карамзинистов и встречали яростное сопротивление петербуржца Гнедича, близкого по своим убеждения к архаистам. Идея большой поэтической работы над эпическим произведением в сочетании с идеей государственного служения не давали Гнедичу покоя, заставляли его изводить друга советами и наставлениями. Батюшков безошибочно констатировал: «Одиножды положив на суде, что я родился для отличных дел, для стихотворений эпических, важных, для исправления государственных должностей, для бессмертия, наконец, ты, любезный друг, решил, что я враль, ибо перевожу Парни»[164]. Разногласия с Гнедичем, к счастью, ничего не меняли в батюшковском выборе.

Батюшков нащупывает новый жанр, которому дает импровизированное название «пиеса»: небольшая зарисовка с коротким и динамичным сюжетом, чаще всего любовного содержания. На этом материале поэту замечательно удается показать и свой природный дар, и выработанное мастерство. Стихотворение, которое невозможно обойти вниманием, говоря о поэзии Батюшкова этого времени, — «Вакханка». Сам Батюшков считал «Вакханку» переводом 9-й картины из цикла стихотворений Парни «Переодевания Венеры». Справедливости ради, об этом необходимо упомянуть, хотя батюшковский текст имеет к указанному источнику весьма косвенное отношение. Сюжет стихотворения — преследование героем, от лица которого

и ведется рассказ, соблазнительной девушки-вакханки. Действие пьесы помещено в условный мир Древней Греции, однако герой чувствует и говорит точно так, как современный Батюшкову человек, поэтому откровенный эротизм стихотворения, имеющий сюжетное оправдание, бросается в глаза благодаря интонации рассказчика. Главным открытием Батюшкова в «Вакханке» становятся необыкновенное изящество стиля, легкость и плавность языка, мелодика стиха, звуковая гармония, композиционная соразмерность, одним словом, то совершенство формы, когда она перестает быть просто носителем смысла, но сама становится содержанием.

Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала:
Я за ней — она бежала
Легче серны молодой. —
Эвры волосы взвивали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград, —
Все в неистовой прельщает!
В сердце льет огонь и яд!
Я за ней… она бежала
Легче серны молодой; —
Я настиг; она упала!
И тимпан под головой!
Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! и неги глас!

Слава сладострастного поэта, «русского Парни» прочно закрепилась за Батюшковым. От подобных оценок его творчества предостерегал близко знавший автора этих соблазнительных

строк Вяземский: «О характере певца судить не можно по словам, которые он поет, но можно, по крайней мере, догадываться о нем по выражению голоса и изменениям напева. <…> Неужели Батюшков на деле то, что в стихах? Сладострастие совсем не в нем»[165]. Однако утонченный эротизм батюшковской поэзии порой заставляет забывать о реальности.

Помнишь ли, о друг мой нежной!
Как дрожащая рука
От победы неизбежной
Защищалась — но слегка?
Слышен шум! — ты испугалась!
Свет блеснул и вмиг погас;
Ты к груди моей прижалась,
Чуть дыша… блаженный час!

(«Ложный страх»)

Голос твой, Зафна, в душе отозвался;
Вижу улыбку и радость в очах!..
Дева любви! — я к тебе прикасался,
С медом пил розы на влажных устах!
<…>
Чувствую персей твоих волнованье,
Сердца биенье и слезы в очах;
Сладостно девы стыдливой роптанье!

(«Источник»)

Сон твой, Хлоя, будет долог…
Но когда блеснет сквозь полог
Луч денницы золотой,
Ты проснешься… о блаженство!
Я увижу совершенство…
Тайны прелести красот,
Где сам пламенный Эрот
Оттенил рукой своею
Розой девственну лилею.
Всё опять в моих глазах!
Все покровы исчезают;
Час блаженнейший!.. Но ах!
Мертвые не воскресают.

(«Привидение»)

За 1809–1811 годы Батюшков трижды обращается к творчеству римского поэта Альбия Тибулла и переводит три его элегии[166]. Эти переводные элегии, как это и раньше случалось, стали своеобразной творческой мастерской поэта, в которой кристаллизовались его собственные находки. Тибулл привлекал внимание русских поэтов с конца XVIII века, этот интерес был основан на лиризме личных переживаний, который отличал его произведения от несомненно более популярных Горация и Овидия. Кроме того, Тибулл предлагал большое разнообразие тем: война, слава, любовь, идиллические мотивы… «Переводы из Тибулла давали возможность преодолеть разделение жанров одним махом: путем включения темы любви в сферу высокой тематики, которая до того времени принадлежала исключительно оде или трагедии»[167]. В стихах Батюшкова, благодаря Тибуллу, появляется образ домашних богов — античные Лары и Пенаты, хранители домашнего очага, становятся частью его поэтического обихода. А вместе с ними в его творчество входит или обретает законченные очертания ряд важнейших ценностных мотивов.

Сознательный отказ от богатства и славы ради счастливой бедности с возлюбленной:

Мудрец от Лар своих за златом не бежит;
Колен пред случаем вовек не преклоняет
И в хижине своей с фортуной обитает!
И бедность, Делия, мне радостна с тобой!
Тот кров соломенный, Тибуллу золотой,
По коим сопряжен любовию с тобою.
Стократ благословен!..

(«Тибуллова элегия III»)

Признание простой, исполненной обыденных забот жизни как самой большой ценности:

Спасите ж вы меня, отеческие боги,
От копий, от мечей! Вам дар несу убогий:
Кошницу полную Цереринх даров,
А в жертву — сей овен, краса моих лугов.

(«Тибуллова элегия XI»)

Осмысление войны как бедствия, нарушающего естественное течение жизни, и связанный с этим отказ от погони за военной славой:

А мне — пусть благости сей буду я достоин —
О подвигах своих расскажет древний воин,
Товарищ юности; и, сидя за столом,
Мне лагерь начертит веселых чаш вином. <…>
А меч, кровавый меч, и шлемы оперены
Снедает ржавчина безмолвно на стенах.

(«Тибуллова элегия XI»)

Понимание любви как смысла и цели человеческого существования:

При шуме зимних вьюг, под сенью безопасной,
Подруга в темну ночь зажжет светильник ясной
И, тихо вретено кружа в руке своей.
Расскажет повести и были старых дней.
А ты, склоняя слух на сладки небылицы,
Забудешься, мой друг, и томные зеницы
Закроет тихий сон, и пряслица из рук
Падет… и у дверей предстанет твой супруг,
Как небом посланный внезапно добрый гений.
Беги навстречу мне, беги из мирной сени,
В прелестной наготе явись моим очам:
Власы развеяны небрежно по плечам,
Вся грудь лилейная и ноги обнажены…
Когда ж Аврора нам, когда сей день блаженный
На розовых конях, в блистаньи принесет
И Делию Тибулл в восторге обоймет?

(«Элегия из Тибулла»)

«Прелесть. Прекрасный перевод», — констатировал Пушкин на полях батюшковского сборника стихов[168]. О значительности переводов из Тибулла не только для собственного творчества Батюшкова (что будет понятно чуть ниже), но и для всей истории русской поэзии говорит тот факт, что поэт XX века Осип Мандельштам в своем «римском» стихотворении *Tristia* (1918) воссоздает образ Тибулловых элегий Батюшкова, опираясь в своем восприятии Античности именно на него:

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри, навстречу, словно пух лебяжий.
Уже босая Делия летит![169]

В своем хантоновском уединении Батюшков размышляет примерно на те же темы, которые затрагивает в лирике. Счастье и слава — вот два предмета, неизменно его волнующих. В личной биографии Батюшкова и его собственном восприятии личной биографии эти два понятия тесно сплелись. В Хантонове его преследуют материальные проблемы, которые волнуют его тем больше, что затрагивают не только и не столько его самого, сколько касаются благополучия сестер. Жить фактически не на что. Оброк — единственный реальный способ существования, но много оброку с его деревень не собрать, да и страх совсем разорить крестьян заставляет еще туже затягивать ремень. Чтобы поправить дела, нужно ехать в Петербург и искать прибыльное место с постоянным жалованьем, но поездка в Питер требует таких вложений, которые пока позволить себе невозможно. Да и поиски места — дело сложное, по крайней мере для самолюбивого Батюшкова, который никого и ни о чем не хочет просить. Единственный человек, кроме Гнедича, к кому он решается обратиться за помощью — и, несомненно, гораздо более влиятельный, — А. Н. Оленин, но веры в успех нет: «Я писал к Оленину, но что писал, и сам не понимаю. Я просил его сказать мне, можно ли надеяться быть помещену при миссии. Без всяких дальних предлогов, ты чувствуешь, мой друг, что тут нет нимало здравого рассудка. Что будет он отвечать? Приезжай в Петербург! или: Ты бредишь!.. и то и другое справедливо, но я ничего не сделаю: в Петербург на ветер или на обещания не поеду. Итак, опять останусь сиднем»[170]. Оленин чрезвычайно долго не отвечал на посланное ему письмо, благоприятный ответ Батюшков получил только в феврале 1811 года. Молчание Оленина словно подтверждает опасения Батюшкова: «Я писал к Алексею Николаевичу об иностранной коллегии, но не получил ответа; само собой разумеется, что просить с этих пор никого и ни о чем не буду»[171]. Решение ехать в Петербург, к которому Батюшкова упорно склоняет Гнедич, ввиду бесперспективности он совсем откладывает в сторону. Кроме безденежья и продолжительного отсутствия какого-либо исполнимого плана на жизнь, Батюшкова постоянно мучает нездоровье. В конце года он заболел сильной лихорадкой, надолго свалившей его и привязавшей к постели. Ощущений счастья и жизненного благополучия поэт не

испытывает совершенно: «Я насилу пишу тебе: лихорадка меня замучила. Кстати, я советовался здесь с искусным лекарем, который недавно приехал из Германии, с человеком весьма неглупым. Он пощупал пульс, расспросил о болезни и посмотрел мне в глаза: „Вы, конечно, огорчаетесь много; я вам советую жить весело — это лучшее лекарство“. Я ему засмеялся в глаза»[172]. Такова печальная реальность. Но желание быть счастливым, но вера в личное счастье все еще перевешивают прочие устремления, главным образом — стремление к славе: «Я гривны не дам за то, чтоб быть славным писателем, ниже Расином, я хочу быть счастлив. Это желание внушила мне природа в пеленах»[173]. Действительно, стоит вспомнить ранний батюшковский текст — фрагмент стихотворного диалога с Гнедичем, — который заканчивался словами:

Ах! ужели наградит
Слава счастия утрату
И ко дней моих закату
Как нарочно прилетит!

Славное поприще великого поэта и перспектива удачной карьеры соединяются в сознании Батюшкова в один негативный комплекс. Вероятно, когда он раздумывал об этом, перед ним неизменно вставал образ петербургского друга — Гнедича. Батюшков не поехал в Петербург, который представал в его восприятии враждебным ему сообществом архаистов, больно задетых им в «Видении…». Вместо исполнения долга, службы, погони за славой он избрал счастье — безалаберную, домашнюю, фривольную Москву, в которой лень считалась достоинством, где его с нетерпением ждали друзья, где ему прощали сатирические выпады. Москвичи настойчиво звали его. «Приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, приезжай, — ей-Богу, не умею ничего сказать лучшего, и если мои слова подействуют на тебя, признаюсь, и не желаю ничего сказать лучшего»[174], — писал Вяземский.

Гнедич чувствовал, что друг его ускользает. «Неужели ты в Москве!!?»[175] — вопрошал он с негодованием. Батюшков еще был в Вологде, не совсем оправившись от лихорадки, но решение уже было им принято. «Твои восклицания и вопросительные знаки вовсе не у места, — парировал он. — По крайней мере в Москве я найду людей, меня любящих, — что найду в Петербурге, кроме тебя?»[176]

IV
«Что, взяли?»

Этими словами Батюшков начал свое первое письмо Гнедичу из старой столицы, где оказался в феврале 1811 года: «Что, взяли? Я пишу к вам из Москвы! — ??? < > — а + в — с = d + x = xxx»[177]. Набор бессмысленных символов, которыми Батюшков сопровождает это сообщение, — продолжение темы гнедичевых «восклицаний и вопросительных знаков». Гнедичу должно стать очевидным — друг окончательно вырвался из-под его опеки. В своем медвежьем углу Батюшков за прошедшие полгода написал довольно много прозаических сочинений и отрывков. В одном из них, который носил название «Опыты в прозе», он рассуждал о том, как должен проводить свою жизнь поэт — в уединении или в шуме света: «…писателю должно быть *иногда* в большом свете…», но лучше всего придерживаться среднего пути «и от Сциллы не попасть к Харибде»[178]. Поясняя ту пользу, которую писатель приобретает, *иногда* все же появляясь в обществе, Батюшков описывает собственную, московскую, ситуацию. Бескорыстное поэтическое содружество, круг единомышленников, поддерживающих друг друга на тернистом литературном пути, — вот то общество, без которого поэт не может полноценно существовать. «Поистине, когда авторы не воюют перьями, когда вражда не бросит в их общество золотого яблока, когда личные достоинства других не успели им показаться обидными: тогда они с радостию, с каким-то невинным чувством чистосердечия подают один другому руку. И можно ли им не иметь склонности друг ко другу, когда предметы их разговоров, предметы их трудов и тайных помышлений одни и те же: науки, искусства, поэзия. Беседы их поучительны и даже необходимы для молодого дарования…» Ровно в такое сообщество Батюшков стремился вырваться из своих вологодских лесов, и оно тоже с нетерпением ожидало его в Москве. В него входили Жуковский, Вяземский, В. Л. Пушкин, Воейков, Д. Давыдов — все они вместе составляли костяк будущего «Арзамаса». В то время как в Петербурге 21 февраля 1811 года официально открылась «Беседа любителей русского слова».

Это событие запечатлено многими мемуаристами той эпохи, но наиболее точно, выразительно и остроумно о нем написал Ф. Ф. Вигель, убежденный карамзинист: «Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний „Беседы“ отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме бога света, не помню сколько раз, зимой бывали вечерние торжественные

собрания „Беседы“. Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла для почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, но все вообще в мундирах. Часть театральная, декорационная, была совершенство; заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением. Горе было только тем, которые понимали и принуждены были беспрестанно удерживать зевоту»[179].

Несколько карамзинистов, оказавшихся к этому времени в Петербурге, посетили первые заседания вновь образовавшегося общества. Впечатления их были в целом однородными: косность мыслей идеолога «Беседы» Шишкова на фоне бездарных произведений его сотоварищей. «Я был слушателем первой Беседы, — сообщает Жуковскому А. И. Тургенев. — Шишков доказывал бедность и плохое состояние нашей словесности и доказал — своею речью…»[180]«…Шишков читал без остановки, — пишет Вяземскому Д. П. Северин, — в продолжение битых двух часов речь о достоинстве русского слова, где ритор сей, забывая правила логики и здравого рассудка, беспрестанно смешивает дар слова вообще с наречием русским: это ужасно!»[181] В другом письме Северин отчитывается о поэтических чтениях в «Беседе»: «Там слушал я: речь престарелого Пиндара нашего о *Лирической поэзии, Гимн кротости и оду к Истине,* его же; не хочу говорить о них. Потом Перевод в прозе 1-й Сатиры Горация Апостолом-Муравьевым, с жизнию Горация; обе пиесы понравились публике, особливо штатс- и простым дамам. Апостол хорошо проповедует, т. е. читает. Потом, чтобы такое: Эпистолу ф. Хвостова о пользе критик, в которой между многими достопримечательными стихами найдешь ты и этот: С богами говорить не должно бестолково. <…> В заключение пет Дифирамб: „Сретение Орфеева Солнца“, Державина, довольно, впрочем, дурное, кроме 2-й строфы, которая напоминает хорошее старика время»[182]. Насколько интересовали москвичей вести, доходящие из Петербурга весной 1811 года, можно судить по той скорости, которой они обмениваются информацией. 27 апреля Северин

посылает свой отчет о новом заседании «Беседы» Вяземскому, а уже 6 мая Батюшков пристрастно расспрашивает Гнедича: «У вас было еще заседание в Беседе? Бога ради, отпиши мне об этом. Правда ли, что Хвостов написал и проговорил: „С богами говорить не должно бестолково“. А с людьми как? — Муравьев-Апостол читал „Жизнь Горация“? — Я бьюсь об заклад, что это было хорошо. Державин… но об этом ни слова!»[183]

Сколько бы ни подвергали осмеянию активные и бойкие на перо карамзинисты членов «Беседы» с ее громоздкой и бессмысленной структурой, тяжелыми многочасовыми собраниями и отсутствием вкуса и дарования, образование этого литературного сообщества заставило их всерьез сплотить свои ряды. «Я читал объявление о Беседе в газетах, читал ее регламент и теперь еще болен от этого чтения. Боже, что за люди! Какое время! О Велхи! О варяги-Славяне! О скоты! — Ни писать, ни мыслить не умеют!!! — возмущается Батюшков и тут же добавляет: —…Я вот чего страшусь: женщины, у которых вкус нежнее и вернее, соскучатся прежде, а после них тотчас и мужчины. Тогда это ремесло будет смешно, предосудительно»[184]. Очевидно, опасение, что ремесло литератора станет предосудительным с точки зрения хорошего вкуса, тревожило не одного Батюшкова, потому что на новые выпады Шишкова карамзинисты стали отвечать, и очень колко.

В. Л. Пушкин вставил соответствующий — лингвистический — фрагмент в свою фривольную поэму «Опасный сосед». Персонажи поэмы отправлялись развлекаться в бордель на паре лошадей. Описание этой поездки вскоре стало повторять с восхищением все московское общество:

> Кузнецкий мост, и вал, Арбат и Поварская
> Дивились *двоице,* на бег ее взирая.
> Позволь, варягоросс, угрюмый наш певец,
> Славянофилов кум, взять слово в образец!!
> Досель, в невежестве коснея, утопая,
> Мы, парой двоицу по-русски называя,
> Писали для того, чтоб понимали нас.
> Ну, к черту вкус и ум! пишите в добрый час!

«Вот стихи! Какая быстрота! Какое движение! И это написала вялая муза Василия Львовича»[185], — восхищался Батюшков, отсылая «Опасного соседа» Гнедичу.

Насмешки над варягороссами чередовались с обстоятельными и насыщенными критическими разборами, в которых противников разбивали наголову. Один из таких

разборов принадлежал молодому автору, талантливому литератору, подающему надежды государственному деятелю, принадлежащему к кругу И. И. Дмитриева, — Д. В. Дашкову, одному из самых убежденных противников Шишкова. «… Посмотрим со вниманием, — писал он в своей статье „О легчайшем способе возражать на критики“, — отчего у нас многие пишут так дурно после образцовых сочинений Ломоносова, Хераскова, Богдановича, Державина, Дмитриева, Карамзина и других хороших авторов наших? Отчего многие молодые люди, впрочем, не без дарований, представляют нам в стихах своих живое подражание тяжелому и грубому слогу Тредиаковского? Оттого, что они с младенчества приучились полагать истинную поэзию, истинное достоинство слога в нескладном сборище славенских выражений, неупотребительных в русском языке и несвойственных оному; привыкли думать, что ничему не должны учиться, кроме славенороссийского языка, и потому гнушаются чтением хороших писателей, как своих, так и чужестранных»[186]. «Кто писал рецензию на Шишкова? — пристрастно выспрашивал у Гнедича Батюшков, еще не знакомый лично с Дашковым. — А она истинно хороша!»[187]

Даже Гнедич стал участником полемики, выступив с антишишковским текстом[188]. В своих обвинениях карамзинистов Шишков теперь апеллировал не только и не столько к их лингвистическим и литературным вкусам, сколько выступал против любой либеральной европеизации вообще. Он не гнушался не только обвинениями в развращенности нравов, посеянной французской словесностью, но обвинял своих противников в стремлении порвать с русским патриархальным прошлым, национальными основами нравственности и веры. На фоне ухудшающихся отношений и ожидания войны с Францией в 1811 году его обвинения носили характер политического и церковного доноса. На этом фоне сатира Гнедича, пародировавшая важнейший для христианской церкви религиозный текст — Символ Веры, была более чем смела и остроумна; «Верую во единого Шишкова, отца и вседержителя языка Славеноваряжского, творца своих видимых и невидимых сочинений. И во единого господина Шихматова, сына его единородного, иже от Шишкова рожденного прежде всех, от галиматьи галиматья, от чепухи чепуха, рожденная, несотворенная, единосущная, ею же вся пишется…»[189] Этот текст, конечно, не мог быть опубликован, но ходил из рук в руки и вызывал восторг: «Беседа» воспринималась в нем как мир извращенный, в котором система истинных ценностей перевернута с ног на голову.

Батюшкову было чем гордиться. Со своим «Видением на берегах Леты» он стоял у истоков разгоревшейся полемики, он первым написал стихотворную сатиру, в которой неприятель был назван по имени — с легкой руки Батюшкова Шишков получил свое прозвище Славенофил, которое теперь склонялось и высмеивалось на все лады.

Батюшков прожил в Москве до середины лета 1811 года. По-прежнему его терзали несколько фурий. С одной стороны. Гнедич, который к этому времени сделал уже некоторую карьеру, донимал его своими настойчивыми рекомендациями отправиться в Петербург. Было понятно, что все карьерные и денежные устремления ведут в Северную столицу. С другой стороны, Батюшков был лишен самых необходимых средств к существованию, что уж говорить о жизни в столице. Он понимал, что очередной поездки в деревню не миновать. На строгие вопрошания Гнедича он отвечает… риторическими вопросами: «Но что я могу сказать тебе о моем приезде в Питер? Когда увижусь с тобой? Когда возобновлю прежние споры?»[190] В письмах сестре он более откровенен и высказывает все противоречивые чувства: Гнедича пожаловали чином асессора «за стихи», кроме того, Оленин определил его в библиотеку и положил жалованье 1000 рублей «с квартирой и проч», «я же здесь ожидаю денег», чтобы ехать в деревню. «Пришли, если можно, поскорее, ибо я очень нуждаюсь и недавно опять был болен. О Петербурге и думать не можно»[191]. Вопрос о строительстве флигеля, который мог стать пристанищем Батюшкова в Хантонове, занимает его куда больше, чем поездка в Петербург. Он старается смотреть на вещи реально. Реальность же не радует ни по каким статьям. К личной неустроенности и необеспеченности материальной добавляется еще тревога за происходящее в семействе, а там все время случается что-то безрадостное. Отвечая сестре на ее жалобы, Батюшков снова прибегает к риторическим вопросительным конструкциям. Это знак его эпистолярного стиля — в безвыходных ситуациях, когда прямого ответа дать было невозможно, он выстраивал цепочки вопросительных предложений: «…Ты, мой друг, напрасно мучишь себя письмами батюшки. Что делать? — Его несчастия на деле и в воображении, которое его беспрестанно мучит. Скажи, чем ему помочь? — Есть ли средства? Что в наших руках? — Чем мы виноваты? Какая надежда? — Можно ли согласовать его благополучие с благополучием нашим и его жены?»[192] Батюшков пытается смотреть правде в глаза, но взгляд поминутно приходится отводить. Все это формирует его мироощущение, которое он теперь может четко сформулировать и в котором

звучат стоические нотки. Он произносит свое *credo* в форме совета сестре: «Принимать все, как есть. Этот совет был бы странен в других устах, но он исходит от меня, который разделяет все горести и боли, который страдает десять лет молча». Заметим, что Батюшкову еще не исполнилось 24 года, однако он воспринимает уже свою сознательную жизнь как непрерывное страдание и готовится мужественно переносить его и дальше. «Ты уверена в моем сердце, ты единственная, кто знает меня совершенно, скажи же: заслужил ли я свои мучения, свои несчастия? Конечно, нет. Вот тебе твоя история, ибо ты в том же положении. Что делать? Страдать и молчать! Но переносить мужественно подлинные несчастия, а не придумывать химерические, жить настоящим, насколько это возможно»[193]. Собственно, в Москве он и пытается «жить настоящим», получать удовольствие от общества близких по духу друзей, искренно любящих его.

К 1811 году относится знакомство Батюшкова с Е. Г. Пушкиной (женой московского острослова, литератора, переводчика А. М. Пушкина), которая на многие годы стала его близкой приятельницей и постоянной корреспонденткой. А в дальнейшем этой женщине еще предстояло сыграть в жизни Батюшкова важную роль, которую он уже не мог оценить. Е. Г. Пушкина оставила пространные воспоминания о своем знакомстве с поэтом: «Я познакомилась с Константином Батюшковым в 1811 году. Его ум и то блестящее воображение, которое дало ему место в ряду лучших поэтов, увлекли меня с первой же нашей встречи. Впоследствии он почтил меня названием своего друга. Не могу объяснить себе ту странность, которая господствует иногда над моими решениями; но несомненно, что в то время, о котором я говорю, я упорно не желала, чтобы Батюшков был введен в мой дом. Уступая наконец настояниям моего брата, которого он был товарищем по военной службе и который непременно желал представить его мне, я наконец назначила день его первого посещения. Он явился и — лишь заставил пожалеть, что я так долго медлила принять его к себе. Батюшков в течение многих лет служил в военной службе и совершил поход в Финляндию. Он был в нем ранен и обойден при производстве. Оскорбленный в душе и в своем честолюбии, он подал в отставку, получил ее и приехал в Москву, чтоб утешиться от испытанной несправедливости в обществе друзей и муз, которых был баловнем. Батюшков был небольшого роста; у него были высокие плечи, впалая грудь, русые волосы, вьющиеся от природы, голубые глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах его лица соответствовал его бледности и мягкости его

голоса, и это придавало всей его физиономии какое-то неуловимое выражение. Он обладал поэтическим воображением; еще более поэзии было в его душе. Он был энтузиаст всего прекрасного. Все добродетели казались ему достижимыми. Дружба была его кумиром, бескорыстие и честность — отличительными чертами его характера. Когда он говорил, черты лица его и движения оживлялись; вдохновение светилось в его глазах. Свободная, изящная и чистая речь придавала большую прелесть его беседе. Увлекаясь своим воображением, он часто развивал софизмы, и если не всегда успевал убедить, то все же не возбуждал раздражения в собеседнике, потому что глубоко прочувствованное увлечение всегда извинительно само по себе и располагает к снисхождению. Я любила его беседу и еще более любила его молчание. Сколько раз находила я удовольствие в том, чтоб угадывать и мимолетную мысль его, и чувство, наполнявшее его душу в то время, когда он казался погруженным в мечтания. Редко ошибалась я в этих случаях. Тайное сочувствие открывало моему сердцу все то, что происходило в его душе. Это сочувствие установило между нами короткость с первых дней нашего знакомства»[194].

Однако как ни хорошо было в Москве, к маю Батюшков отчетливо понял, что тратит слишком много для своего скромного дохода, и начал торопиться в деревню. В середине июля скрепя сердце он отправился в Хантоново собирать оброк с крестьян и разбирать семейные неурядицы.

V
«Маленький Овидий»

В Хантонове Батюшкова довольно быстро одолела тоска. Август был уже почти осенним месяцем. Полнейшее уединение в обществе двух мохнатых собак и невозможность располагать собой из-за отсутствия денег заставляют его смотреть на мир совсем уж безотрадным взглядом. Его стоицизм, высказанный пару месяцев назад в письме сестре, дал трещину. Трагическое мироощущение все чаще проскальзывает в его письмах: «Я ничего не пишу, все бросил. Стихи к черту! Это не беда; но вот что беда, мой друг: вместе с способностью писать я потерял способность наслаждаться, становлюсь скучен и ленив, даже немного мизантроп. <…> Все исчезло! И вот передо мной лежит на столе третий том „Esprit de l’histoire“ par Ferrand[195], который доказывает, что люди режут друг друга, чтобы основывать государства, а государства сами собой разрушаются от времени, и люди опять должны себя резать и будут резать, и из народного

правления всегда родится монархическое, и монархий нет вечных, и республики несчастнее монархий, и везде зло…»[196] Эта тяжелая истина впервые обнаруживает себя в батюшковских писаниях в 1809 году. «Зла более, нежели добра»[197], — констатировал он в одном из писем, размышляя об устройстве вселенной. С тех пор, как во всяком случае кажется самому Батюшкову, он получал всевозможные подтверждения своему убеждению, в том числе — историческими примерами. Интересно, что в то же самое время В. А. Жуковский провозглашал свою знаменитую максиму: «Добра несравненно более, нежели зла»[198], диаметральным образом расходясь со своим товарищем.

Но самое главное, что питало батюшковскую тоску, сосредоточивалось в ощущении сердечного одиночества. Понятно, что эта интимная и глубоко волнующая Батюшкова тема не могла быть предметом серьезных обсуждений в письмах друзьям, но временами она выплывала на поверхность. «Так, мой Николай, науки не могут питать сердце, — издалека заходит Батюшков, обращаясь к Гнедичу. — Они развлекают его на время, как игрушки голодных детей, а сердце все просит любви: она — его пища, его блаженство; и мое блаженство — ты знаешь это — улетело на крыльях мечты»[199]. Степень душевного одиночества Батюшкова и глубину его переживаний по этому поводу можно ощутить, если вчитаться в финальные строки стихотворения «Надежда», написанного несколькими годами позже. В этом батюшковском тексте полный горя и утрат земной мир противопоставлен чаемому — небесному. Ожидая окончания земных страданий, герой Батюшкова вопрошает:

Когда ж узрю спокойный брег,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?

При общей традиционности подобного лирического сюжета Батюшков здесь неожиданно обнажает душу, высказывает глубоко личное страдание, сразу же выскакивая из рамок поэтического штампа. «Желанье любви» он трагически нес через всю жизнь, так и не сумев его утолить.

Теперь, уединившись в Хантонове, Батюшков, наконец, принимает решение отправиться в Петербург («Зима нас соединит»[200], — обещает он Гнедичу) и искать места. Он по-

прежнему в раздумьях и сомнениях по поводу службы. С одной стороны, его манит дипломатическая карьера («Я готов ехать в Америку, в Стокгольм, в Испанию, куда хочешь, только туда, где могу быть полезен, а служить у министров или в канцеляриях, между челядью, ханжей и подьячих, не буду…»[201]). С другой, хочется спокойствия и досуга, и жаль расставаться с драгоценной свободой, которая дает столько возможностей для творчества («Еще раз повтори себе, что Батюшков приехал бы в Петербург, если б знал, что получит место и выгодное и спокойное — да, спокойное, где бы он мог ничего не делать…»[202]). В любом случае время пошло для Батюшкова иначе — он дожидался зимы, когда средства позволят отважиться на путешествие в столицу. Он строил далеко идущие планы: «Дай мне знать и еще раз уведомь меня, что буду я принужден делать для получения места, как и к кому адресоваться…»[203] Он прекрасно понимал, что служба изменит его жизнь, ждал этого и опасался одновременно. А между тем неотвратимо приближался новый, 1812 год.

VI
«Мои пенаты»

Время ожидания перемен нужно было как-то скоротать. Пользуясь своей, пока ничем еще не ограниченной свободой, Батюшков в деревне проводил время за чтением и сочинительством. Собственно, тому, что было написано им осенью 1811 года, нужно посвятить отдельную главу, потому что это будет также глава в истории русской литературы. Сам Батюшков обмолвился о новом произведении в письме Вяземскому, предлагая на суд взыскательного друга отрывок: «… Я и сам написал кое-что… что прошу прочитать и сказать ваше суждение без всякого пристрастия. (Это конец послания к Пенатам. Поэт, то есть я, адресуется к Вяз<емскому> и Жук<овскому>; но этого не показывай никому, потому что еще не переправлено; переписать всё лень и лень необоримая. Конец живее начала. А?)»[204]. Батюшковская неуверенность в себе потрясает — сколько оговорок, сколько оправданий и опасений! А ведь перед ним в этот момент лежало практически законченное послание «Мои пенаты», несомненный шедевр русской лирики начала XIX века. «Маленький Овидий, живущий в маленьких Томах»[205], поэтически осмыслил свое вынужденное пребывание в деревне, преобразив вполне прозаическую хантоновскую усадьбу в античную хижину, и вот что получилось:

Отечески Пенаты,

О пестуны мои!
Вы златом не богаты,
Но любите свои
Норы и темны кельи.
Где вас на новоселье
Смиренно здесь и там
Расставил по углам;
Где странник я бездомный,
Всегда в желаньях скромный,
Сыскал себе приют.
О боги! будьте тут
Доступны, благосклонны!
Не вина благовонны,
Не тучный фимиам
Поэт готовит вам,
Но слезы умиленья,
Но сердца тихий жар
И сладки песнопенья,
Богинь Пермесских дар!
О Лары! уживитесь
В обители моей,
Поэту улыбнитесь —
И будет счастлив в ней!..

Лары и Пенаты, любовно расставленные поэтом по углам, требуют от него не богатых подношений, а только искренности чувств и неподдельности вдохновения. Этот великолепный зачин-молитва сменяется описанием бедного жилища поэта, в котором нет никаких признаков роскоши: хижина его «убога», стол, являющийся единственным предметом интерьера, «ветхий и треногий», скатерть, покрывающая его, — «изорванное сукно». Над столом помещается воинский трофей, но это — «полузаржавый, меч прадедов тупой». Сквозь это описание явственно проступает другое — переводы из Тибулла, которыми Батюшков совсем недавно занимался, дают ему обширный материал для реконструкции. Чрезвычайно важным для Батюшкова был именно акцент на бедности, которая оказывается базовым принципом поэтического существования, обеспечивающим духовную независимость:

Фортуна, прочь с дарами
Блистательных сует!
Спокойными очами
Смотрю на твой полет:

Я в пристань от ненастья
Челнок свой проводил
И вас, любимцы счастья,
Навеки позабыл…

Поэт счастлив, благодаря сознательно избранной им бедности и удаленности от «сует света» и «забот славы». В своем уединении он тем не менее не один. Изгоняя за порог своего дома «развратных счастливцев, придворных друзей» и «бледных горделивцев, надутых князей», он находит усладу в обществе старика-воина:

Но ты, о мой убогой
Калека и слепой,
Идя путем-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня,
Войди и обсушися
У яркого огня.
О старец, убеленный
Годами и трудом,
Трикраты уязвленный
На приступе штыком!
Двуструнной балалайкой
Походы прозвени…

Опять же вспоминается аналогичный микросюжет из элегии Тибулла. И хотя «штык» и «балалайка» не очень монтируются с Ларами и Пенатами, смысл образа очевиден: простой и честный солдат, не лишенный поэтического взгляда на свое героическое прошлое, — желанный гость в хижине поэта. Но еще более желанна — возлюбленная. Ее появление сопровождается одним из самых эротических описаний в лирике Батюшкова, генетически связанном уже не с Тибуллом, а с Ариосто, которого как раз в этот период он с увлечением перечитывает:

И ты, моя Лилета,
В смиренный уголок
Приди под вечерок
Тайком переодета!
Под шляпою мужской
И кудри золотые,

И очи голубые,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащ широкой,
Мечом вооружись
И в полночи глубокой
Внезапно постучись…
Вошла — наряд военный
Упал к ее ногам,
И кудри распущенны
Взвевают по плечам,
И грудь ее открылась
С лилейной белизной:
Волшебница явилась
Пастушкой предо мной!

Эти строки могут поспорить в изяществе и гармоничности с элегией «Вакханка», но самое завораживающее здесь — метаморфоза, происходящая с Лилетой. Серьезная эпическая составляющая этого образа травестируется, грозная дева-воительница, облаченная в доспехи и опоясанная мечом, Брадаманта из «Неистового Роланда» Ариосто, внезапно оказывается нежной пастушкой Лилетой, а воинский наряд — бутафорией, надетой на ее обнаженное тело. Бедность и простота жизни поэта словно оттеняют театрализованно прекрасную любовь. «Это стихотворение, — констатировал Пушкин, — дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения — слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна»[206]. В «Моих пенатах», по мнению И. З. Сермана, проявилось самое главное качество поэзии Батюшкова, которое он сознательно воспитывал в себе, — движение. Этот эффект достигается «не только благодаря стремительной, острой и внезапной смене эпизодов, но также благодаря одинаковой синтаксической структуре отдельных строк. Этот эффект не менее значим для динамики стихотворения в целом, чем постоянное взаимоналожение и взаимопроникновение эпизодов»[207].

Упиваясь радостями любви, герой, однако, не забывает о том, ради чего он призван на свет, — о поэзии. Мир ее представлен тенями великих певцов (совсем необязательно усопших), слетающимися на «голос лирный», чтобы побеседовать в тишине со своим собратом. Батюшков собирает вокруг себя целый синклит гениев, которые строго рассортированы по тематическим и стилистическим ячейкам: «певец героев, славы» — Ломоносов, «наш Пиндар, наш Гораций» — Державин, «фантазии небесной

давно любимый сын» — Карамзин, поющие «гимн радости» — Богданович и Нелединский-Мелецкий, «философ и пиит» — Дмитриев, «два баловня природы» — Хемницер и Крылов. Отметим искусно выстроенный Батюшковым плавный переход от одического (эпического) творчества к лирике, от высокой поэзии — к легкой, от возвышенной стилистики — к разговорной. Герой стихотворения ощущает собственную причастность к перечисленным им творцам и с восторгом восклицает: «О Музы! я пиит!» Бедность, простота, любовь, творчество — вот необходимые составляющие его счастливой жизни. К ним необходимо добавить еще одну — дружество.

В свою скромную хижину поэт приглашает самых близких друзей — Жуковского и Вяземского. С их появлением связывается анакреонтический мотив стихотворения, переходящий в медитацию на тему скоротечности жизни и неизбежности смерти:

Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг! скорей за счастьем
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвием косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!
Когда же Парки тощи
Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут, —
Товарищи любезны!
Не сетуйте о нас,
К чему рыданья слезны,
Наемных ликов глас?
К чему сии куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над хладною доской?
К чему?.. Но вы толпами
При месячных лучах
Сверитесь и цветами
Усейте мирный прах;

Иль бросьте на гробницы
Богов домашних лик,
Две чаши, две цевницы
С листами повилик;
И путник угадает
Без надписей златых,
Что прах тут почивает
Счастливцев молодых!

Легкость жизни призвана преодолеть тяжесть вечной разлуки, сладость любви и дружбы — победить ее горечь, красота поэзии — опоэтизировать смерть. А всё вместе — побороть страх смерти, столь очевидно свойственный автору этих строк. Повторимся: в поэзии Батюшков видел мощный императив, долженствующий изменить мир вокруг и личное мироощущение. В этом состояла его «маленькая философия»[208]: гармоничные стихи, по своим стилистическим качествам приближающиеся к совершенству, были призваны благотворно воздействовать на мир. Но силой слова побеждался не только внешний хаос, который поэт нередко ощущал вокруг себя, но и внутренние демоны. И напрасно Пушкин упрекал Батюшкова в необдуманном эклектизме: «Главный порок в сем прелестном послании есть слишком явное смешение древних обычаев мифологических с обычаями жителя подмосковной деревни. Музы — существа идеальные. Христианское воображение наше к ним привыкло, но норы и келии, где лары расставлены, слишком переносят нас в греческую хижину, где с неудовольствием находим стол с изорванным сукном и перед камином суворовского солдата с двуструнной балалайкой. Это всё друг другу слишком уже противоречит»[209]. Замеченное Пушкиным смешение не противоречило главной установке Батюшкова: чем ближе к привычной реальности оказывался идеальный мир античности, чем плотнее смыкались «обычаи жителя подмосковной деревни» с «обычаями мифологическими», тем эффективнее происходила чудесная метаморфоза. Она позволяла провидеть за деревенским бытом обедневшего вологодского помещика, в одиночестве коротающего холодную осень, счастливое и исполненное глубокого смысла существование античного поэта-мудреца.

Через несколько лет в статье «Нечто о поэте и поэзии» Батюшков лапидарно сформулирует свое поэтическое *credo,* в целом совпадающее с выраженным в «Моих пенатах»: «Я желаю — пускай назовут странным мое желание! — желаю, чтобы поэту предписали особый образ жизни, пиитическую диэтику; одним

словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца. <…> Первое правило сей науки должно быть: живи как пишешь, и пиши как живешь. Talis hominibus fuit oratio, quails vita[210]. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы»[211]. Второй принцип этой странной науки — духовная свобода, которая дается только путем отказа от суеты мира: «Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы — есть требование истинно суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения»[212]. В качестве примера Батюшков приводит легенду о поэте И. Ф. Богдановиче, авторе блистательной поэмы в анакреонтическом стиле «Душенька», жизнь которого может служить образцом для подражания: «Богданович жил в совершенном уединении. У него были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он говорил, как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кончину»[213]. В реальности, однако, всё выглядело не столь поэтично. В одном из своих самых длинных и безотрадных писем Гнедичу из Хантонова измученный одиночеством и тягостным бездействием Батюшков, поздравляя с именинами своего друга, написал характерную фразу: «Я тебе позволяю в мои именины написать ко мне столько же стихов и выпить за мое здоровье бутылку… воды, так как я это торжественно сделаю завтра при двух благородных свидетелях, при двух друзьях моих, при двух… курчавых собаках»[214]. Насколько благотворно воздействовала на самого Батюшкова его «маленькая философия», насколько меняла мироощущение поэта его гармоничная поэзия, предоставляем судить нашему читателю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I
«Свои стихотворенья читает мне Хвостов…»

Батюшков приехал в Петербург во второй половине января 1812 года, остановился у Гнедича на Садовой улице и сразу стал действовать, несмотря на лихорадку, которая сразила его немедленно по прибытии. Вяземский, который на этот раз не дозвался Батюшкова в Москву, насмешливо благословлял и наставлял его в письме, адресованном «повесе Батюшкову, дурному баснописцу Батюшкову, раненому в жопу Герою Батюшкову, по некоторым обстоятельствам Тибуллу Батюшкову, не приехавшему в Москву, устрашенному угрозами Шаликова Батюшкову, написавшему какое-то славное послание к Жуковскому и Вяземскому, о котором все известны, кроме Жуковского и Вяземского…»[215]. Этот игровой тон, эта легкая ирония задушевных писем совсем скоро станут частью истории, уйдут в небытие — наступил 1812 год.

Намерение Батюшкова найти подходящее место, дававшее бы какой-то дополнительный заработок к тем четырем тысячам оброка, которые он с трудом собирал со своих крестьян, было на этот раз вполне серьезным. Надежды на службу в Императорской Публичной библиотеке, директором которой состоял А. Н. Оленин, оправдались не сразу. Вакансий там не было. Однако Оленин принял своего молодого друга очень тепло и обещал содействие. Нельзя сказать, что Батюшков чувствовал в этот раз себя совершенно свободным от домашних обязательств: если сестры давали ему передышку, то с самого начала года болезни детей и неприятности терзали Е. Ф. Муравьеву. В письме, посланном буквально вдогонку Батюшкову, она признавалась: «Ежели бы я не столько тебя любила, то пожелала бы тебя в Москву…»[216] Однако и она отступила и, искренне желая племяннику добра, поддержала его планы: «Узнав, что ты был болен, когда я поехала, я благодарила за тебя Александра Ивановича (Тургенева. — *А. С.-К.),* который мне сказал, что он уверен, что ты пойдешь в службу, и так я от всей души моей желаю и надеюсь, что оно будет к твоему благополучию. Ты так еще молод, что, конечно, очень много можешь найтить службою; и сверх того можешь быть полезен»[217].

Ждать обещанного места пришлось до апреля, когда в библиотеке, наконец, открылась вакансия и Батюшков был принят

на должность помощника хранителя манускриптов. Его непосредственным начальником стал увлеченный своим делом палеограф А. И. Ермолаев, знакомый по оленинскому кружку. Вместе с Батюшковым на службе в библиотеке состояли и прочие участники кружка: Н. И. Гнедич, С. С. Уваров, И. А. Крылов. Сестре Батюшков писал в это время: «На судьбу не имею больших причин жаловаться. Я определен в библиотеку по милости Алексея Николаевича, который ко мне расположен, как истинно добрый человек. Дай Бог ему счастия! Мне еще предлагали к этому другое место у к. Гагарина, место очень выгодное, но я отказался. <…> Должность моя очень незатруднительна»[218]. Тогда же, в апреле, Батюшков покинул квартиру Гнедича и снял собственное жилье — в доме Шведской церкви на Конюшенной улице. Постепенно жизнь наладилась, появились новые знакомства. Во многом это было связано с московскими друзьями: благодаря им Батюшков сошелся с Д. В. Дашковым, Д. Н. Блудовым, А. И. Тургеневым, Д. П. Севериным. Все они, в свою очередь, составляли домашний круг И. И. Дмитриева, в это время занимавшего пост министра юстиции, друга и единомышленника Карамзина, покровителя молодых и одаренных «петербургских карамзинистов». Свидетельством приятельских отношений и общего поэтического и одновременно игрового тона, принятого в этом кругу, может служить стихотворная записка Д. В. Дашкова с красноречивым адресом: «Дашков Батюшкову здравия желает», вероятнее всего относящаяся именно к 1812 году.

Я нынче целый день микстуру принимаю,
Которой принимать тебе я не желаю.
Приди, и посети меня, любезный друг!
Собой одушеви мой изнемогший дух.
Один я на софе — над мной призрак унылый:
И Жихарева бред Дашков внимает хилый.
Приди — и насладись; блистает в чашках ром.
Присутствием твоим украсится мой дом.

10 апреля, а не 1-го[219].

До отъезда из Петербурга еще не определившийся в своих литературных симпатиях и не примкнувший ни к одному из лагерей, Батюшков вернулся последовательным карамзинистом. Он ощущал себя человеком партийным и происходящее в стане противников воспринимал совершенно однозначно. «Ты себе вообразить не можешь, что делается в Беседе! — отчитывался он в

письме Вяземскому, посетив одно из заседаний. — Какое невежество! Какое бесстыдство! Всякое лицеприятие в сторону. — Как? Коверкать, пародировать стихи Карамзина, единственного писателя, которым может похвалиться и гордиться наше отечество. <…> Я же с моей стороны не прощу и при первом удобном случае выведу на живую воду Славян, которые бредят, Славян, которые из зависти к дарованию позволяют себе все, Славян, которые, оградясь щитом любви к отечеству — за которое я на деле всегда был готов пролить кровь свою, а они чернила, — оградясь невежеством, бесстыдством, упрямством, гонят Озерова, Карамзина, гонят здравый смысл…»[220]

Вместе со своими друзьями, сторонниками карамзинской школы, Батюшков снова сделал попытку вступить в обновленное Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, председателем которого теперь стал его давний знакомый — Измайлов. 8 февраля на заседании Общества было прочитано батюшковское стихотворение «Дружество», и его автор наконец удостоился чести быть принятым в действительные члены. В то же самое время в Вольном обществе оказались и его друзья, приверженцы карамзинской школы: первым туда вступил деятельный Дашков, подготовляя почву для будущей борьбы с шишковистами, вслед за ним потянулись и другие — В. Л. Пушкин, Д. Н. Блудов, Д. П. Северин, С. П. Жихарев. Все они воспринимали Общество как возможность объединить свои усилия против «Беседы». «За два месяца Батюшков посетил девять заседаний Вольного общества, лишь одно пропустив по болезни, — пишет О. А. Проскурин. — Но сколько-нибудь ощутимого участия в его работе поэт не принял. Он не мог не заметить, что далеко не все обстояло в обществе так благополучно, как хотелось бы. Часть членов, настроенная явно „прошишковски“ и питавшая несомненные симпатии к „Беседе“, была недовольна усилением карамзинистского крыла. Обстановка становилась взрывоопасной»[221]. Взрыв вскоре произошел. Причиной его стало решение, принятое большинством голосов и вопреки яростному сопротивлению Д. В. Дашкова: Общество постановило принять в свои ряды в качестве почетного члена одного из самых одиозных авторов шишковского круга, Д. И. Хвостова. Хвостов был крупным государственным сановником, но на досуге писал стихи и переводил классических авторов, как западноевропейских (Лафонтена, Расина, Мольера), так и античных (Пиндара, Горация). Он был чрезвычайно плодовит и столь же — чрезвычайно — бесталанен. К его писаниям карамзинисты не относились всерьез, их колким нападкам преимущественно подвергались другие члены «Беседы».

Имя Хвостова использовалось как нарицательное для обозначения литературной безвкусицы и графоманства. Принятие его в почетные члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств заставило горячего и задиристого Дашкова пойти на военную хитрость. Внезапно согласившись с мнением большинства, Дмитрий Васильевич добровольно взял на себя труд подготовить и произнести приветственную речь в честь вновь принимаемого почетного члена. 14 марта на заседании Общества Дашков произнес свою блестящую речь, выполненную в форме издевательского похвального слова, адресуясь прямо к сидящему на почетном месте Д. И. Хвостову. Это событие впервые обозначило непримиримую позицию карамзинистов, а само дашковское «славословие» стало образцом для арзамасских речей и текстов, которые до сих пор невозможно читать без смеха:

«Любезные Сочлены! Нынешний день пребудет всегда незабвенным в летописях нашего Общества: ныне в первый раз восседает с нами краса и честь Российского Парнаса, счастливый любимец Аонид и Феба, Гений единственный по быстрому своему парению и разнообразию тьмочисленных произведений. <…> Труды его необъятны: единый взор на них утомляет память и воображение, а знамения побед его изумляют нас, поражают. Он вознесся превыше Пиндара, унизил Горация, посрамил Лафонтена, победил Мольера, уничтожил Расина (вспомним, к слову, два батюшковских стиха из „Видения на берегах Леты“, адресованные Мерзлякову: „Задушил Вергилья, / Алкею укоротил крылья“. — *А. С.-К.)*. При чтении драматических его произведений смех и жалость попеременно наполняют душу читателя, а на сцене игра превосходной актрисы никогда не способствовала их успеху. Пусть весьма немногие из наших писателей, стремясь за бессмертием, получают его в награду за произведения, обработанные с величайшим тщанием и соделавшиеся образцами точности в мыслях, красоты слога, силы выражений — но почтеннейший сочлен наш и кроме того увенчан зарею бессмертия, единым блеском природных своих дарований». В конце речи, составленной из подобных весьма сомнительных похвал, Дашков предложил «любезным сочленам» посвятить всю дальнейшую деятельность Вольного общества любителей словесности, наук и художеств комментированию произведений графа Хвостова. «Труд сей неизмерим, — восклицал Дашков, намекая на плодовитость поэта-графомана, — но зато какую славу оный вам обещает!»[222]

Издевку Дашкова распознали не только те члены Общества, против которых был направлен этот памфлет, но и сам чествуемый поэт. На экстраординарном заседании Общества 18

марта Дашков был исключен из действительных членов. Его единомышленники один за другим последовали за ним. 16 мая Батюшков письменно известил, что «обязанности по службе» вынуждают его «сложить с себя звание действительного члена». В журнале заседаний Общества последовала запись: «Определено согласно желанию г. Батюшкова исключить его из списка Членов»[223]. Посещать заседания Батюшков перестал гораздо раньше, чем потребовал «отставки», — с 18 апреля.

Речь Дашкова наделала много шума. В Москву полетели письма с отчетами. «Когда увидишь Северина, — писал Батюшков Вяземскому, — скажи ему, что он… выключен из нашего общества: прибавь в утешение, что Блудов и аз грешный подали просьбы в отставку. Общество едва ли не разрушится. Так все преходит, все исчезает! На развалинах словесности остается один столп — Хвостов, а Измайлов из утробы своей родит новых словесников, которые будут писать и печатать»[224].

Литературная жизнь бурлила с небывалой активностью.

II
«Сделал глупую издержку…»

От московских друзей Батюшков с трепетом ждал оценки «Моих пенатов», которые были посланы еще из Хантонова. Наконец в начале мая Вяземский написал ему свои замечания и высказал в целом очень лестную оценку: «Заметив стихи, которые мне не понравились, с таким же чистосердечием скажу тебе о прочих, что они прекраснейшие! Много новых и прелестных выражений: птички, которые со крылышек отрясают негу, — божественно! Язык вообще отличный! Обнимаю тебя тысячу раз и тысячу раз за эту пиэсу. Браво! Браво! Батюшков!»[225] Жуковский пока молчал и заставлял Батюшкова нервничать. «…с нетерпением, смешанным со страхом, ожидаю его ответа»[226], — признавался он Вяземскому. А Жуковский, вдохновленный «Моими пенатами», к этому времени уже готовил стихотворное послание «К Батюшкову», написанное по той же поэтической схеме — короткая строка трехстопного ямба стала с легкой руки Батюшкова неотъемлемой принадлежностью дружеского послания:

Сын неги и веселья,
По музе мне родной,
Приятность новоселья
Лечу вкусить с тобой;
Отдам поклон Пенату,

А милому собрату
В подарок пук стихов.
Увей же скромну хату
Венками из цветов;
Узорным покрывалом
Свой шаткий стол одень,
Вооружись фиалом,
Шампанского напень,
И стукнем в чашу чашей
И выпьем все до дна:
Будь верной Музе нашей
Дань первого вина.

Пройдет еще немного времени, и каждый поэт из круга Батюшкова напишет свое послание к друзьям, используя «Мои пенаты» как образец.

Несмотря на лестные оценки, Батюшков, как обычно, сомневается в своем даровании и поэтических возможностях. Это состояние у него связывалось с физическим недомоганием. В начале лета Батюшков заболел и не мог оправиться в течение нескольких месяцев. В ответ на долгожданное письмо Жуковского он жалуется: «Я пишу мало, и пишу довольно медленно (это было абсолютной правдой. — *А. С.-К.);* но останавливаться на всяком слове, на всяком стихе, переписывать, марать и скоблить, — нет, мой милый друг, это не стоит того: стихи не стоят того времени, которое погубишь за ними. <…> Я весь переродился — болен, скучен и так хил, так хил, что не переживу и моих стихов»[227]. Однако, словно опровергая самого себя, в то же самое письмо он вкладывает новое послание Жуковскому, написанное в стиле «эпитафии себе заживо». Внимательный читатель, однако, без труда распознает в нем знакомую сатирическую ноту:

Все сердцу изменило:
Здоровье легкокрыло
И друг души моей.
Я стал подобен тени,
К смирению сердец,
Сух, бледен, как мертвец;
Дрожат мои колени,
И ноги ходуном;
Глаза потухли, впали,
Спина дугой к земле,
И скорби начертали
Морщины на челе. <…>

Ах, это ли одно
Мне роком суждено
За стары прегрешенья?
Нет, новые мученья,
Достойные бесов:
Свои стихотворенья
Читает мне Хвостов
И с ним певец досужий,
Его покорный бес,
Как он, на рифмы дюжий,
Как он, головорез:
Поют и напевают
С ночи до бела дня,
Читают мне, читают,
И до смерти меня
Убийцы зачитают!

Из прочих событий, к литературным будням и праздникам не относящихся, стоит упомянуть о портрете, который весной 1812 года заказал Батюшков, чтобы подарить сестре Александре: «Я на сих днях сделал глупую издержку — ты никогда не угадаешь, на что я бросил сто рублей? — на мой портрет, нарисованный карандашом одним из лучших здешних художников. Я тебе оный пришлю с первой удобной оказией. Он очень похож и очень хорошо нарисован»[228]. Не совсем понятно, о каком портрете упоминает Батюшков в этом письме. У исследователей есть большое искушение связать эти слова с известным портретом О. А. Кипренского (тем более в письме говорится об «одном из лучших здешних художников», притом что Кипренский был частым гостем дома Олениных). Искушение это тем притягательнее, что посланный из Петербурга портрет будет еще фигурировать в родственной переписке самым трогательным образом. Младшая сестра Батюшкова Варвара дважды упоминает его в письмах брату: «Я получила письмо от Александры, в котором она извещает нас, что… Вы заказали для нее свой портрет; мне не терпится его увидеть»[229]. И уже по получении: «Я нахожу, что портрет Ваш очень похож, и я рассматриваю его всегда со сладкою радостию»[230]. Видимо, «со сладкою радостию» портрет нежно любимого брата рассматривала не одна Варвара — Александра Батюшкова благоговейно берегла его изображение. В первые месяцы войны, когда обстановка в провинции была не менее тревожной и неясной, чем в столице, А. Н. Батюшкова покинула Хантоново, чтобы в Вологде соединиться с сестрами.

Описывая свои быстрые сборы, она упомянула о самых дорогих вещах, взятых в дорогу: «Собравшись оставить мою пустыню, за долг себе поставила взять с собою благословение наших родителей (иконы. — *А. С.-К.)* и, милый друг, твой портрет»[231]. Дошедший до нашего времени портрет Батюшкова работы Кипренского традиционно датируется 1815 годом, так что едва ли он может быть признан тем самым, о котором переписывались накануне войны поэт и его сестры.

В родных пенатах, откуда совсем недавно Батюшков бежал в столицу, покоя и достатка по-прежнему не было. Сестра Елизавета ждала прибавления в семействе, при этом долго и тяжело болела («поскольку я уже на третьем месяце, невозможно принять почти никакого лекарства»), В письмах она жаловалась на безденежье («долги мучат нас до потери рассудка»), просила о помощи («могу ли получить денежную ссуду, заложив в Петербурге 40 моих крестьян»)[232]. Сестра Варвара, здоровье которой всегда вызывало особенные опасения у близких, кашляла кровью. Имения требовали присутствия Батюшкова: его зять П. А. Шипилов, муж сестры Елизаветы, не справлялся с управлением в отсутствие хозяина. Сестра Александра была принуждена решать все хозяйственные проблемы самостоятельно, в том числе и собирать оброк в зачет будущего, чтобы высылать деньги живущему в столице брату. Осознавая наваливающиеся на плечи близких трудности, Батюшков тем не менее всеми силами пытается отсрочить свой отъезд из Петербурга. «Я, право, иногда вам завидую и желаю быть хоть надень в деревне… правда, на день, не более, — признается он сестре. — Бога ради, не отвлекайте меня из Петербурга, это может быть вредно моим предприятиям касательно службы и кармана. Дайте мне хоть год пожить на одном месте!»[233] Но этого года у Батюшкова уже не было. В 6 часов утра 24 июня 1812 года 220 тысяч солдат французской армии вошли в город Ковно (современный Каунас), форсировав Неман. Через пять дней южнее Ковно Неман перешла другая группировка — 79 тысяч солдат под командованием принца Богарне. Точно с такими же силами под Гродно Неман пересек Жером Бонапарт. Со стороны Варшавы двигался 30-тысячный австрийский корпус. Началась Отечественная война.

III
«…Бродил в Москве опустошенной среди развалин и могил…»

Сначала жизнь продолжалась словно по инерции, наполненная ежедневными впечатлениями и литературными

событиями. В середине июля, практически за полтора месяца до Бородинского сражения, уехавший в Москву Дашков и оставшийся в Петербурге Батюшков обменялись письмами, по которым с трудом можно понять, о какой войне они мельком упоминают. Зато тексты писем обильно уснащены подробностями литературного быта, тесно связанного с бытом повседневным. «Наконец дотащился я до своей отчизны, — сообщал москвич Дашков, — мое путешествие было самое многотрудное и скучное. Несносные перекладные телеги меня измучили: но всякий другой экипаж, кроме кареты или коляски, еще более заставил бы меня страдать. Притом я имел утешение твердить самому себе, что певец Орланда также езжал на перекладных…»[234] Дашков выполнил поручение Батюшкова и доставил его письмо Е. Ф. Муравьевой, которая незадолго до начала войны продала свой московский дом и теперь жила с сыновьями на подмосковной даче. А вскоре посетил в Остафьеве Карамзина и с гордостью сообщил, что «был им принят чрезвычайно хорошо. Он просил меня считать его отныне в числе лучших своих приятелей и, чтобы положить прочные основания нашему знакомству, прочитал мне несколько отрывков из своей Истории — между прочим письмо Архиепископа Ростовского Вассиана к Иоанну Васильевичу, которое удивительно как идет к нынешним обстоятельствам». Дашков сходится со всем московским литературным обществом: Вяземским, Воейковым, Каченовским. С последним у него происходит даже столкновение на литературной почве: «…на ужине у Воейкова я с ним разговаривал сперва очень дружелюбно, а потом поссорился с ним и наговорил ему множество колкостей за его дерзкие придирки на счет Ив<ана> Ив<ановича>[235]»[236]. Поразительно, но и Батюшков отвечает Дашкову в том же духе: «Вы жалуетесь на беспокойное путешествие, на телеги и кибитки, которые нам, конечно, достались от Татар, а не хотите пожалеть обо мне. Я и сам на днях отправляюсь в Москву и буду mutar ogn'ora di vettura[237], то есть поеду на перекладных по почте. Там-то вы найдете вашего покорного слугу в доме К. Ф. Муравьевой. Еще раз пожалейте обо мне: я увижу и Каченовского, и Мерзлякова, и весь Парнас, весь сумасшедших дом…»[238] Письма звучат так, будто речь идет об увеселительной поездке или во всяком случае о привычном перемещении из одной столицы в другую и смене литературных впечатлений. Однако в июле 1812 года Батюшков уже серьезно думал о поступлении в армию и в Москву собирался именно по этой причине, но обстоятельства снова складывались для него не слишком благоприятно — третья война никак не давалась в руки.

Война эта застала Батюшкова больным, и больным настолько серьезно, что он не смог сразу подняться: «Если бы не проклятая лихорадка, то я бы полетел в армию. Теперь стыдно сидеть сиднем над книгою; мне же не приучаться к войне. Да кажется, и долг велит защищать Отечество и Государя нам, молодым людям»[239]. С этого момента его начали преследовать неудачи: сначала на поле брани его не пускала болезнь, потом — недостаток в средствах. Между тем Вяземский вступил в военную службу и, получив чин поручика, собирался отправиться в армию. «…Я тебе завидую, мой друг, — грустил Батюшков, — и издали желаю лавров. Мне больно оставаться теперь в бездействии, но, видно, так угодно судьбе. Одна из главных причин… — недостаток в военных запасах, т. е. в деньгах, которых здесь вдруг не найдешь, а мне надобно бы было тысячи три или более. Иначе я бы не задумался»[240]. В начале августа, когда материальные проблемы отступили за их неразрешимостью и Батюшков готов был уже присоединиться к армии, вдруг пришло письмо от тетушки Екатерины Федоровны из Москвы о ее бедственном положении. В то время, когда вся дворянская Москва поднялась, чтобы покинуть старую столицу из-за близости неприятеля, она осталась одна, без помощи, без поддержки, больная, в плачевном состоянии. Батюшков понял, что он — единственный человек, на которого Екатерина Федоровна могла рассчитывать, и, желая отдать ей человеческий долг благодарности, изменил свои планы. 14 августа он испросил у Оленина отпуск, оставил службу и 16 августа отправился в Москву. В старую столицу он приехал за несколько дней до Бородинского сражения. Москву, оказавшуюся практически на линии фронта, было не узнать. Вяземский за несколько часов до приезда друга покинул город, чтобы присоединиться к армии, — они разминулись. «Сию минуту я поскакал бы в армию и умер бы с тобою под знаменами отечества, — пишет ему вдогонку Батюшков, — если б Муравьева не имела во мне нужды. В нынешних обстоятельствах я ее оставить не могу: поверь, мне легче спать на биваках, нежели тащиться в Володимир на протяжных. Из Володимира я прилечу в армию, если будет возможность»[241]. Сразу скажем, что такой возможности не представилось. Вяземскому же довелось участвовать в Бородинском сражении, под ним убило двух лошадей, но он остался цел и с молодой женой, ожидавшей в это страшное время ребенка, уехал в Вологду.

Одновременно с ним Батюшков тоже собирался покинуть Москву, но тут произошло еще одно событие, которое отсрочило отъезд и смяло все планы — из дома Муравьевой сбежал ее младший сын Никита. К этому времени ему только что

исполнилось 16 лет, и его непременное желание участвовать в военной кампании не могло быть удовлетворено, но воспитанный на примерах античной доблести юноша, в свою очередь, не мог усидеть дома, когда дело шло о спасении Отечества. Он сбежал рано утром и успел пройти несколько десятков верст по направлению к линии фронта. Как справедливо пишет об этом В. А. Кошелев, мальчика «подвело совершенное незнание жизни»[242]: его задержали крестьяне, заподозрив в нем французского шпиона, когда за кринку молока он расплатился золотым. Ситуация была неприятная и, по военному времени, довольно опасная. Никита Муравьев был препровожден в Москву и отправлен в тюрьму; его делом стал заниматься сам генерал-губернатор Москвы граф Ф. В. Ростопчин[243], и Батюшкову пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вызволить своего кузена[244].

4 сентября, через два дня после того, как войска покинули город, Батюшкову вместе с семейством Муравьевых удалось выехать из Москвы во Владимир. Екатерина Федоровна была больна, и о том, чтобы оставить ее в одиночестве и отправиться в армию, не могло быть и речи. И Батюшков поехал дальше с обозом, сопровождая тетушку в Нижний Новгород, куда они прибыли 10 сентября. Весть о взятии неприятелем Москвы он получил уже по дороге. «От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении; я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны…»[245] — сообщал Батюшков оставшемуся в Петербурге Гнедичу. Несчастья, которые и в мирной жизни не обходили Батюшкова стороной, теперь обступили его. Острое ощущение общего неблагополучия, которое и так им всегда владело, стало почти непереносимым. Сознание личной причастности к происходящему оказалось угнетающе тяжелым: «Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся, как нарочно, перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня поразило, что я насилу могу собраться с мыслями…» В Нижнем Батюшков узнает о гибели старшего сына своего друга и благодетеля А. Н. Оленина — Николая и о ранении младшего — Петра. «…Только сегодня… — вторит другу Гнедич, — узнал я, что ты жив; ибо слыша по слухам, что ты вступил будто в ополчение, считал тебя мертвым и счастливейшим меня. Но, видно, что мы оба родились для такого времени, в которое живые завидуют мертвым — и как не завидовать смерти Николая Оленина — мертвые-то сраму не

имут»[246].

Нижний Новгород становится центром стечения беженцев. «Город мал и весь наводнен Москвою»[247], — напишет о нем Батюшков отцу. Здесь оказались Карамзины, Архаровы, Апраксины, Пушкины — все московские знакомые Батюшкова. Сюда же через некоторое время сумел приехать А. Н. Оленин, чтобы повидать выздоравливающего после ранения сына (в обратную дорогу Батюшков отправился вместе с ним, проехал через разоренную Москву, проводил до Твери и вернулся в Нижний).

Провинциальный город задыхался от перенаселения. «Мы живем теперь в трех комнатах, — отчитывался Батюшков Гнедичу, — мы — то есть Катерина Федоровна с тремя детьми, Иван Матвеевич[248], П. М. Дружинин, англичанин Евенс, которого мы спасли от французов, две иностранки, я, грешный, да шесть собак. Нет угла, где бы можно было поворотиться…»[249] Для Батюшкова эти бытовые обстоятельства столь же тягостны, как и происходящее в стране. Он стремится уехать, ждет от сестры денег, которые она никак не соберет с крестьян. Его мучает и то, что формально он все еще штатский, служащий Императорской Публичной библиотеки. Ненависть к французам и жажда мщения — общие ощущения русского общества того времени — одолевают и Батюшкова: «Мщения! мщения! Варвары! Вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии…»[250] Отцу Батюшков сообщает то же самое, но в более спокойном тоне: «Никто не желает мира. Все желают войны, истребления врагов»[251]. Гнедич в Петербурге охвачен аналогичными чувствами: «Скоро Наполеон заплатит за свое любопытство видеть Москву — это слова Бенигсена в письме его графу Орлову. Подай Господи, подай Господи, подай Господи!»[252]

Неожиданно судьба проявляет к Батюшкову благосклонность. В Нижнем Новгороде на лечении оказывается генерал А. Н. Бахметев, тяжело раненный во время Бородинского сражения[253]. Узнав о страстном желании Батюшкова присоединиться к действующей армии, он предлагает ему содействие — должность адъютанта. Соответствующие документы были направлены в Петербург. Казалось бы, повезло? Однако удача и везение — это слова не из батюшковского лексикона. Время идет, Бахметеву, которому недавно ампутировали правую ногу, не становится легче, ответа на его запрос из Петербурга не приходит.

Тем временем в конце октября Наполеон, отступая с остатками армии, приблизился к Смоленску. Его разбитая армия

теперь составляла не более 50 тысяч солдат под ружьем, но на деле она была гораздо больше — действующие части сопровождала толпа раненых, голодных, потерявших оружие людей. Французская армия, сильно поредевшая на марше от Москвы, входила в Смоленск целую неделю с надеждой на отдых и питание. Больших запасов провианта в городе не оказалось, а все возможности снабжения были пресечены Кутузовым. В середине ноября Наполеон покинул негостеприимный и голодный Смоленск. Колонна французских войск сильно растянулась — трудности перехода исключали одновременное передвижение больших масс людей. Этим обстоятельством воспользовался Кутузов, перерезавший французам путь отступления в районе Красного. В боях под Красным 15–18 ноября Наполеон потерял много солдат и большую часть артиллерии. Вести об удачных действиях Кутузова и разгроме Наполеона быстро достигли Нижнего. А бегство Наполеона во Францию после переправы через Березину отмечали как большой праздник. Напряжение последних четырех месяцев, когда казалось, что судьба России висит на волоске, наконец, исчезло. Снова появилась возможность жить более или менее свободно, располагать своим временем, строить планы. В декабре Батюшков предпринял короткую поездку в Вологду, чтобы навестить сестер и князя Вяземского. Туда и обратно путь его пролегал через разоренную и опустевшую Москву. Эти развалины он уже видел однажды, провожая до Твери А. Н. Оленина, теперь они были присыпаны снегом — «багряницей уже прикрыто было зло». В середине января, в самые трескучие морозы, Батюшков вернулся в Нижний. Екатерина Федоровна Муравьева уже намеревалась отправиться обратно в Москву — беженцы из Нижнего постепенно разъезжались, но холода останавливали ее. Батюшков томился неизвестностью. Ответа из Петербурга на его прошение не было, и он рвался в столицу, чтобы самому ходатайствовать о скорейшем зачислении в армию. В конце февраля Батюшков, сопровождавший Е. Ф. Муравьеву, в третий раз оказался в разоренной Москве, провел здесь три дня и отправился в Петербург. В письме своей московской приятельнице Е. Г. Пушкиной он описывал свои впечатления: «У меня перед глазами были развалины, а в сердце новое неизъяснимое чувство. Я благословил минуту моего выезда из Москвы, которая всю дорогу бродила у меня в голове»[254]. Свои размышления о разоренной старой столице он заключает цитатой из псалма: «… Да прильпнет язык мой к гортани моей, и да отсохнет десная моя, если я тебя, о Иерусалиме, забуду!» (Пс. 136)[255]. Мысль о возмездии прочно засела в его сознании. И еще одна мысль,

которую он высказал тогда же, походя, в письме своему петербургскому приятелю Н. Ф. Грамматину, тоже не давала ему покоя: «Я думаю, что такой зимы и в Лапландии не бывало; а вы хотите, любезный друг, чтоб я воспевал розы, благоуханные рощи, негу и любовь, тогда как все стынет и дрожит от стужи!»[256] На пересечении этих двух истин: осознании невозможности писать дальше в том же роде, как раньше, и необходимости отмщения «новым варварам» за дорогую сердцу Москву — строится теперь мироощущение Батюшкова. Оно, конечно, отразилось прежде всего на его творчестве.

IV
«Мой друг! я видел море зла…»

В марте 1813 года, только что вернувшись в Петербург, Батюшков написал стихотворение, которое, наряду с «Певцом во стане русских воинов» Жуковского, стало одним из поэтических символов Отечественной войны. Из-под пера «Русского Парни» совершенно неожиданно вышел трагический и в лучшем смысле гражданский текст, публицистически актуальный и вместе с тем высокохудожественный, совсем не похожий на те анакреонтические песни, которые Батюшков распевал прежде. Причины такого преображения понятны — они коренятся в биографических и исторических обстоятельствах. Интересно, что эти причины были самим Батюшковым осмыслены и осознаны: «…Я слишком живо чувствую раны, нанесенные любезному нашему отечеству, чтоб минуту быть покойным. Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством»[257]. Послание «К Дашкову» стало поэтическим эквивалентом этих размышлений, высветив новые стороны дарования Батюшкова.

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары;
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных;
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,

Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священной
Слезами скорби омочил.
И там — где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там — где с миром почивали
Останки иноков святых
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их;
И там, — где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады, —
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..

Это описание разоренной Москвы, построенное на рефренах и повторах, соответствует жизненной реальности, от которой отталкивается Батюшков при написании послания — троекратное посещение им разоренной Москвы переходит в поэтический текст как его композиционное ядро. На резких антитезах Батюшков выстраивает описание довоенного мира и его уничтожение. Эти антитезы тем более выявлены, что основаны на цветовых и осязательных ощущениях: величавые башни, сады и храмы «златоглавой Москвы» очень зримо противопоставлены их чернеющим развалинам — «угли, прах и камней горы». Собственно на антитезах построена и вторая часть стихотворения, которая посвящена поэзии, вернее, выбору темы поэтом, ставшим свидетелем крушения старого мира:

А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод,

При страшном зареве столицы,
На голос мирныя цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных Цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагов сомкнутым строем, —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды Музы и Хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!

Вполне вероятно, что под «израненным героем, кому известен к славе путь», Батюшков подразумевал конкретного человека — жестоко раненного генерала Бахметева, участника Бородинского сражения, который все еще лечился в Нижнем Новгороде. Отказываясь от прежней тематики, Батюшков на деле реализует данную им ранее клятву: «Аще забуду тебя, Иерусалиме, забвена буди десница моя». Свой долг перед происшедшим он видит не только и не столько в том, чтобы присоединиться к действующей армии и фактически отомстить неприятелю за все страдания, им причиненные. Это долг гражданина и воина («мне же не приучаться к войне»[258]), но долг поэта не менее важен. Поссорившись с человечеством, разочаровавшись в своей маленькой философии, став свидетелем несчастья ближних, пережив крушение мира, который казался незыблемым, Батюшков-поэт не мог остаться прежним. Анакреон, призывавший забыть о печалях и смерти в объятиях наслаждений, в мироощущении Батюшкова все больше уступал место Сенеке, осознающему недолговечность счастья и умеющему без страха взглянуть в лицо смерти.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I
«Я все ожидаю Бахметева…»

29 марта 1813 года, благодаря настойчивым хлопотам, Батюшков, наконец, получил желаемое назначение — штабс-капитаном в Рыльский пехотный полк и адъютантом к генералу А. Н. Бахметеву. Казалось бы, томительное ожидание кончилось и сейчас для Батюшкова начнется давно желанная война. Но череда неудач продолжалась: Бахметев, так до сих пор и не оправившийся от ранения, в Петербург не возвращался. Судя по интонации писем Батюшкова весны 1813 года, он буквально подпрыгивал от нетерпения и в очередной раз мучился вынужденным бездействием. Чувствуя, что в своем ожидании он ничего предпринять не волен, ощущая себя на жизненном перепутье, Батюшков заполняет свободное время мелочами. «Я вовсе не знаю, что со мной будет, — жалуется он Вяземскому, — ожидаю Бахметева, у него буду проситься в армию, а пока езжу по обедам и вечера провожу с трубкой и книгами…»[259] От нетерпения он заказывает себе офицерский мундир, еще не получив назначения. И продолжает пребывать в неизвестности: «Я еще ничего решительного о моей участи не знаю. Здесь ожидаю моего генерала»[260]. Упоминание о «моем генерале», который все не едет и на письма не отвечает, становится лейтмотивом эпистолярия Батюшкова этого времени. Предоставленный самому себе, опять лишившийся столь счастливо найденной службы, вновь совершенно неожиданно обретший досуг, Батюшков интенсивно размышляет и приходит к неутешительным выводам. Первый из них — жизнь дана нам не для счастья. В качестве утешения человеку остается только прошлое, «святые воспоминания»: «…вечера провожу с трубкой и с книгами, — пишет Батюшков Вяземскому, — а более всего с воспоминаниями, ибо я весь в прошедшем. Я долго, долго жил!»[261] Признание тем более знаменательное, что Батюшкову еще не исполнилось 26 лет. Но ощущение ранней зрелости в нем уже сформировалось. Возможно, это ощущение было характерным для всех его современников. Ведь, к примеру, талантливому поэту, острослову и философу Вяземскому, который уже обзавелся семьей, успел поучаствовать в Отечественной войне, разориться и теперь для восстановления состояния собирался поступать на государственную службу, всего только двадцать… Но возможно,

раннее взросление Батюшкова было предопределено судьбой, отмерившей ему всего 34 года сознательной жизни. В любом случае, он интенсивно думает над своей будущностью. «Никогда, мой друг, — признается он сестре, — более не чувствовал нужды в большом или, по крайней мере, в независимом состоянии. Я мог бы быть счастлив — так думаю по крайней мере, — если б имел оное, ибо время пришло мне жениться. Одиночество наскучило. Но что могу без состояния? Нет! Поверь мне — ты меня знаешь — не решусь даже из эгоизма себя и жену сделать несчастливыми»[262]. Семейное счастье представляется Батюшкову невозможным, хотя здесь нужно сделать оговорку: скудные материальные обстоятельства никак не могли быть решающими в этом вопросе. Многие отпрыски аристократических фамилий, куда более блестящих, чем Батюшковы, уже к началу XIX века испытывали сходные финансовые проблемы. Но еще в начале XIX века проблемы эти имели способы к разрешению. Служба, успешное хозяйствование на своих землях, наконец, выгодная женитьба нередко вливали новые соки в истощившееся состояние. Во взгляде Батюшкова на эту ситуацию роковую роль играло его особое мироощущение. Он с юности был склонен видеть жизнь в гораздо более темном свете, чем окружающие. Он незаметно для себя чуть-чуть смешал акценты, и картинка безнадежно искажалась: отсутствие материальной независимости непременно означало уже нищету и предполагаемый брак становился сплошным мучением для него самого и его избранницы. Отсюда и уныние, и скепсис, и слишком поспешный отказ от возможностей будущего: «Не могу себе отдать отчета ни в одной мысли, живу беспутно, убиваю время и для будущего ни одной сладостной надежды не имею»[263]. Новое мироощущение нельзя назвать совсем мрачным, но определенная тоска уже явственно просвечивает через полушутливые жалобы Батюшкова. Это накладывает свой отпечаток на его мысли о поэзии. Рассуждая о пути Жуковского, он сетует: «Пора ему взяться за что-нибудь поважнее и не тратить ума своего на безделки; они с некоторого времени для меня потеряли цену, может быть, оттого, что я стал менее чувствителен к прелести поэзии и более ленив духом»[264]. Нет, конечно, причиной изменения литературных вкусов была ломка личности, которую пережил Батюшков во время Отечественной войны. Те «безделки», которые потеряли для него теперь цену, — это и есть образцы легкой поэзии, совсем недавно представлявшиеся нашему поэту образцовыми. Вспомним, как два года назад он защищал от нападок Гнедича своего литературного кумира — Эвариста Парни. Теперь его гораздо более привлекает немецкая литература. Он с увлечением читает Гёте, Виланда,

переводит «Мессинскую невесту» Шиллера. Очевидно, что изменения в творческой системе Батюшкова, следующие за изменением его мировоззрения, неизбежны. Первой ласточкой стало послание «К Дашкову», но будущее пока покрыто туманом.

II
«Раевский славный воин…»

20 мая от В. Л. Пушкина, все еще пребывающего в Нижнем, Батюшков получил верное уведомление, что Бахметев чувствует себя хорошо и в скором времени собирается в Петербург. Однако между этим письмом и реальным приездом генерала прошло почти два месяца. Бахметев прибыл в столицу только 10 июля. Через некоторое время генерал отпустил своего адъютанта штабс-капитана Батюшкова в действующую армию, снабдив его в дорогу своим официальным разрешением и сопроводительными письмами. 24 июля Батюшков, наконец, покинул столицу. Через Вильну, Варшаву, Силезию он добрался до Праги, истратив к этому времени все свои денежные запасы. В Праге встретил князя Гагарина, благодетеля Гнедича, и тот ссудил его некоторой суммой: «Он предложил мне до 100 червонных, я взял 30 и кое-как доплыл до главной квартиры под Дрезден, где сдал мои депеши исправно. Наконец явился я к главнокомандующему и был от него отправлен к генералу Раевскому. Он меня принял ласково и велел остаться при себе; я нахожусь теперь при его особе и в сражениях отправляю должность адъютанта»[265].

«Его генералом» теперь стал легендарный воин — Николай Николаевич Раевский, герой Отечественной войны, участник Бородинского сражения. Укрепление на Бородинском поле, которое несколько раз было атаковано французами и за которое велись самые кровопролитные бои, вошло в историю под названием «батарея Раевского». О храбрости и мужестве самого генерала к тому моменту, когда Батюшков стал его адъютантом, уже слагались оды. Н. Н. Раевский был человеком выдающимся. Помимо незаурядного военного таланта и огромного боевого опыта, он поражал современников высокими человеческими качествами. «Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества, при всей хитрости своей. <…> В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною», — вспоминал о «своем генерале» Батюшков[266]. Широкую известность приобрел эпизод, когда во время боя под Дашковкой близ Могилева Раевский якобы вывел на поле битвы своих малолетних сыновей, чтобы вдохновить упавших духом солдат.

Петербургская газета «Северная почта» так описывала это событие: «Сколь ни известно общее врожденное во всех истинных сынах России пламенное усердие к государю и отечеству, мы не можем однако умолчать перед публикою следующего происшествия, подтверждающего сие разительным образом. — Пред одним бывшим в сию войну сражением, когда Генерал-Лейтенант Раевский готовился атаковать неприятеля, то будучи уверен, сколько личный пример Начальника одушевляет подчиненных ему воинов, вышел он пред колонну, не только сам, но поставил подле себя и двух юных сыновей своих и закричал: — „Вперед, ребята, за Царя и за отечество! Я и дети мои, коих я приношу в жертву, откроем вам путь“. — Чувство геройской любви к отечеству в сем почтенном воине должно быть весьма сильно, когда оно и самый глас нежной любви родительской заставило умолкнуть»[267]. Эта история получила широкую огласку. Спустя три месяца после сражения под Дашковкой в «Русском вестнике» появилось стихотворение С. Н. Глинки, в котором содержались следующие строки:

Великодушный русский воин,
Всеобщих ты похвал достоин;
Себя и юных двух сынов,
Приносишь всё Царю и Богу;
Дела твои сильней всех слов.
Ведя на бой Российских львов,
Вещал: «Сынов не пожалеем,
Готов я с ними вместе лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!..
Мы Россы!.. Умирать умеем».

Ниже помешалось не менее пафосное примечание, в котором слова героя Раевского цитировались по заметке в «Северной почте»: «Никогда, никогда никакое Русское сердце не забудет слов Героя Раевского, который, с двумя своими юными сынами став впереди Русских воинов, вещал: Вперед, ребята, за Веру и за Отечество! я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь»[268]. Сам Раевский, по свидетельству Батюшкова, опроверг эту историю в личном разговоре с ним: «Я так никогда не говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились. Я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын собирал в лесу ягоды (он был тогда сущий ребенок), и пуля прострелила ему панталоны. Вот и все тут. Весь

анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован Римлянином»[269]. Примерно так же критически отнесся к рассказу о подвиге Раевского герой романа «Война и мир» Николай Ростов. «Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его, — думал Ростов, — остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре? Потом оттого, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это про Фермопилы. И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут, на войне, мешать своих детей?» Однако, казалось бы, даже вымышленная история, представляющая героя Отечественной войны римлянином, имеет позитивный смысл: украшая суровую реальность, она создает идеальный образ борца за Отечество, походить на которого стремится каждый воин. Именно по этой причине Ростов смиряется с лживым рассказом: «Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем»[270]. Но, вопреки этому логичному рассуждению, вымышленный рассказ явно раздражал как самого его героя, так и изложившего правду Батюшкова. Предваряя толстовскую мысль о различии истории реальной и истории написанной, Батюшков сетует: «Простой ратник, я видел падение Москвы, видел войну 1812,13 и 14, видел и читал газеты и современные истории. СКОЛЬКО ЛЖИ!»[271] Батюшков оказывается явно на стороне Раевского и вместе с генералом гневно восклицает: «Et voila comme on ecrit l'histoire!»[272] Опровергая вымышленный рассказ о Раевском, Батюшков пересказывает реальный случай, который произошел на его глазах и истинность которого он мог лично засвидетельствовать[273]. Во время битвы под Лейпцигом Раевский был тяжело ранен в грудь. Понимая серьезность своего положения, он тем не менее вел себя с изумительным стоицизмом. Видя волнение Батюшкова, он сказал: «…Чего бояться, господин поэт <…>: Je n'ai plus rien du sang qui m'a donne la vie. / Il a dans les combats coule pour la patrie[274]». И поведение, и приведенное высказывание Раевского, несомненно, представляют его римлянином ничуть не меньше, чем вымышленный эпизод под Дашковкой. Во всяком случае,

Батюшков свидетельствует именно о римской доблести — высоком понимании чести и мужестве раненого генерала. Принципиальное отличие этого случая от растиражированного газетами состоит в том, что, по убеждению Батюшкова, из Раевского не надо было «делать римлянина», он этим «римлянином» был. Его привычка к самопожертвованию, его мужество и стоицизм, его природное умение выбрать нужные слова — все это настолько сильно воздействовало на окружающих, что не требовалось ничего придумывать, оставалось только наблюдать. Надо заметить, что мечта поэта-Батюшкова в этой сцене фактически исполнилась: через литературу и искусство представление о римских добродетелях вошло в плоть и кровь россиян, стало повседневностью. Поэзия благодатно воздействовала на жизнь, преобразив ее до полного совпадения с идеалом. Ведь изображенная Батюшковым сцена словно списана из античной трагедии. Может быть, поэтому Батюшков спешит подчеркнуть: Раевский произносит свою историческую фразу с «необыкновенною живостию». Конечно, не потому, что хочет поразить окружающих своим героизмом, а потому, что совершенно искренне выражает свои чувства и в глазах окружающих предстает образцом не показного, а истинного патриотизма.

Рядом с таким незаурядным человеком оказался теперь Батюшков. Он сразу почувствовал ответственность. После двух первых сражений — у Доны под Дрезденом, где он едва не попал в плен, и 15 августа близ Теплица — Батюшков был представлен к ордену Святого Владимира. «…Заслужить награждение при храбром Раевском лестно и приятно», — писал он Гнедичу[275].

III
«Ужасный и незабвенный для меня день!»

После сражения под Теплицем союзная армия продолжала движение в Саксонию, встречая по дороге постоянное сопротивление противника. Во время одной из остановок, сопровождавшихся временным затишьем, Батюшков увиделся со своим старым другом и соратником — И. А. Петиным. Почти год назад, накануне Бородинского сражения, он получил письмо Петина: «В нем описаны были все движения войска, позиция неприятеля и проч. со всею возможною точностию: о самых важнейших делах Петин, свидетель их, говорил хладнокровно, как о делах обыкновенных. Так должен писать истинно военный человек, созданный для сего звания природою и образованный размышлением; все внимание его должно устремляться на ратное

дело, а все побочные горести и заботы должны быть подавлены силою души»[276]. На Бородинском поле Петин был тяжело ранен в ногу. Во Владимире по дороге в Нижний Батюшкову, мечтавшему поскорее попасть в действующую армию, привелось встретиться со своим раненым другом. «В первый раз я позавидовал тебе, милый товарищ, — вспоминал Батюшков, — в первый раз с чувством глубокого прискорбия и зависти смотрел я на почтенную рану твою!» Несколько месяцев Петин провел в своем имении. Там, благодаря заботам матери, он вскоре встал на ноги и сразу же отправился в Богемию, где в это время шли самые кровопролитные бои. «На высотах Кульма», как свидетельствует Батюшков, произошла их новая встреча, которая длилась несколько часов. Петин был объят нехарактерной для него душевной тоской, «сердце его не было спокойно». Кроме того, недавнее ранение давало о себе знать, на следующий день, во время похода, он снова нагнал Батюшкова, чтобы проститься ним. Садясь на лошадь, он не смог опереться о стремя раненой ногой и упал. «„Дурной знак для офицера“, — сказал он, смеясь от доброго сердца»[277]. Эта встреча оказалась последней: 4 октября началось генеральное сражение под Лейпцигом, которое союзная армия дала Наполеону.

Сражение это фактически завершило кампанию 1813 года: Наполеон был разбит, под его властью теперь оставалась одна только Франция. Дальнейшие события привели к вторжению союзников во Францию и первому отречению Наполеона от престола. В Лейпцигском сражении на поле боя против Франции, Польши и Саксонии сошлись Россия, Австрия, Пруссия и Швеция — неслучайно сражение это вошло в историю под названием «Битва народов». В лейпцигском котле оказалось одновременно более 500 тысяч солдат с обеих сторон, сражение длилось четыре дня, потери были грандиозными. В первый же день был ранен генерал Раевский, во второй Батюшков получил сообщение о гибели Петина. «Ужасный и незабвенный для меня день! — делился Батюшков с Гнедичем. — Первый гвардейский егерь сказал мне, что Петин убит. Петин, добрый, милый товарищ трех походов, истинный друг, прекрасный молодой человек — скажу более: редкий юноша. Эта весть меня расстроила совершенно и надолго»[278]. Через пару дней Батюшкову удалось отыскать свежую могилу Петина, которого похоронили недалеко от местной кирхи. По прошествии года, возвратившись в Петербург, Батюшков написал матери Петина. «Отдав последний долг моему другу и храброму полковнику, я потребовал пастора, — сообщал он, — и просил его убедительно сохранить священные остатки Русского воина. „Здесь, — сказал я, — будет воздвигнут памятник

его родственниками и безутешной матерью“. Он дал мне слово сохранить в целости драгоценную могилу»[279]. Лейпцигское сражение, несмотря на его победный финал, оставило в душе Батюшкова самые безотрадные воспоминания. Не только гибель любимого им Петина, но и все увиденные им тогда картины еще больше увеличили разрыв между прошлым и нынешним мироощущением. Трагизм бытия мощными волнами захлестывал сознание Батюшкова: «Я объехал весь Лейпциг кругом и видел все военные ужасы. Еще свежее поле сражения, и какое поле! С лишком на пятнадцать верст кругом, на каждом шагу грудами лежали трупы человеков, убитые лошади, разбитые ящики и лафеты. Кучи ядер и гренад — и вопль умирающих»[280].

После Лейпцига последовало временное облегчение. Раненый Раевский не мог двигаться за армией и задержался для лечения в Веймаре. Туда же вскоре прибыли две великие княгини: Мария Павловна и Екатерина Павловна; обеим Батюшков был представлен. Если гора не идет к Магомету, то Магомет сам идет к горе: мы помним, как в начале 1810 года Батюшков мучительно собирался в Тверь, чтобы представиться великой княгине Екатерине Павловне, прибегнув к помощи князя Гагарина, но так и не нашел в себе сил поехать туда. И вот теперь представление состоялось и Батюшкову не нужно было принимать никаких решений, его имя было уже известно ее высочеству, и он «имел счастие говорить с нею о егерском полку, в котором она всех офицеров помнит»[281]. Отчего же не о литературе и не о своем поэтическом поприще? Понятно: в этот момент Батюшков воспринимал себя офицером своего полка, солдатом российской армии, и меньше всего — поэтом. Но, конечно, здесь сказалась уже знакомая нам черта его характера — доходящая до апатии пассивность, когда дело касалось собственной выгоды. А ведь в Веймаре Батюшков ни на минуту не забывал о своих литературных интересах. В письмах он постоянно фиксирует, что находится «в отчизне Гёте, Виланда и других ученых», посещает театр, из репертуара которого особенно хвалит трагедии. В частности, именно в Веймаре Батюшков посмотрел на сцене трагедию Шиллера «Дон Карлос», которая поразила его высотой характеров. «Ты знаешь мою новую страсть к немецкой литературе», — поясняет он Гнедичу[282], а сестре Александре пишет подробнее: «Знаешь ли мою новую страсть? — Немецкий язык. Я ныне, живучи в Германии, выучился говорить по-немецки и читаю все немецкие книги; не удивляйся тому. Веймар есть отчизна Гёте, сочинителя Вертера, славного Шиллера и Виланда; здесь прекрасная библиотека, театр и английский сад…»[283] Во время одного из спектаклей в Веймарском театре Батюшков

мельком видел Гёте. Очевидно, что любовь к немецкой словесности и немецкому языку — это не только заново формирующиеся на основе нового мировоззрения литературные приоритеты, ибо немецкая литература с ее медитативной рефлексией теперь отвечала в большей степени углубленному и трагическому взгляду Батюшкова на мир. Это еще и своеобразный вызов французам, чья литература, язык и национальная культура теперь осознаются если не как враждебные, то как совершенно чуждые. Не случайно Батюшкова очень интересуют окрестности тех мест в Германии, которые он минует во время передвижения армии, но подчеркнуто не занимают французские достопримечательности — вплоть до Парижа: «…сердце не лежит у меня к этой стороне — революция, всемирная война, пожар Москвы и опустошения России — меня навсегда поссорили с отчизной Генриха IV, великого Расина и Монтаня»[284].

Новые впечатления, конечно, не стерли из его памяти увиденные на поле битвы страшные картины, но на время затушевали их. За Лейпцигское сражение Батюшков был представлен к ордену Святой Анны второй степени.

IV
«Скажу вам просто: я в Париже!»

Поход русской армии продолжался, конечной целью его был Париж. Преодолевая яростное сопротивление французов, которые, по выражению Батюшкова, «дрались, как львы», русские части миновали парижские предместья и с тяжелыми боями вошли в столицу Франции. «Чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо»[285], — писал Батюшков. С одной стороны, это было, конечно, торжество победителей: Москва отомщена, потери армии и страдания народа оплачены, Наполеон низвергнут, его столица лежит у ног русского императора, которого парижане приветствуют как избавителя. В первый же день своего пребывания в Париже Батюшков стал свидетелем знаменитого эпизода, когда горожане, забравшись на Вандомскую колонну, с криками «Долой тирана!» пытались сбросить сверху фигуру Наполеона. Как тут не радоваться русскому сердцу, еще недавно обливавшемуся кровью при виде сожженной и разоренной Москвы! Но, с другой стороны, каждое французское название, каждое французское имя этому русскому сердцу говорило ничуть не меньше: замок Сирей, где остановился корпус Батюшкова, принадлежал маркизе дю Шатле и был отмечен пребыванием в нем Вольтера, деревню Романвиль упоминал в своих произведениях Делиль, и вот перед взором завоевателей

открывается сам Париж: высоты Монмартра, башни Нотр-Дама, Тюильри, Триумфальные врата, Лувр, Елисейские Поля… Батюшков, уже расписавшийся в своем разочаровании во всем французском, словно спохватывается: «Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний!»[286] И французский язык оказывается не просто языком побежденных, но почти родным, когда парижанин, схватив за стремя коня Батюшкова, с восторгом кричит ему: «Mais, monsieur, on vous prendrait pour un Français. <…> C'est que vous n'avez pas d'accent[287]»[288].

Батюшков оказался в Париже в конце марта 1814 года и провел здесь почти два месяца. Подробный отчет о своих впечатлениях от парижской жизни он изложил в письме Д. В. Дашкову. Дашков был хорошим приятелем Батюшкова, но не близким другом, а потому личные переживания и детальные перипетии похода в письмо не попали. Батюшков рассказывал Дашкову о литературных и художественных впечатлениях, полученных им в Париже: «Бродить по бульвару, обедать у *Beauvilliers,* посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смеяться во все горло проказам Брюнета, стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаеля, в великолепной галерее Музеума, зевать на площади Людовика XV или на Новом мосту, на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном саду Тюльери, в Ботаническом саду или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских граждан, жриц Венериных, старых роялистов, республиканцев, бонапартистов и проч., и пр., и пр., теперь мы все это делаем и делать можем, ибо мы отдохнули и телом и душою»[289]. Батюшков прав — только успокоившись от ощущения победы и отдохнув душою, он мог теперь посещать заветные парижские места, одно упоминание которых с юности вызывало в его воображении целые ряды ассоциаций. В разговоре с Дашковым сразу же всплывают забытые в пылу сражений петербургские события, в ироническом контексте воскресают имена членов «Беседы любителей русского слова», Батюшков подробно описывает свое посещение Французской Академии, где ему привелось присутствовать на торжественном заседании. Он прослушал приветственные речи и прочитанный одним из молодых профессоров доклад «О пользе и невыгодах критики» и сделал выводы самые нелестные в адрес… Бонапарта. «Правление должно лелеять и баловать муз: иначе они будут бесплодны. Следуя обыкновенному течению вещей, я думаю, что век славы для французской словесности прошел и вряд ли может когда-нибудь воротиться»[290].

В этом высказывании Батюшкова содержится целая философия — слава литературы всегда связывалась им со славой государства. В своей речи «О влиянии легкой поэзии на язык» в 1816 году Батюшков назовет в качестве своего главного единомышленника прежде всего… русского монарха, выступающего в роли мецената: «Великая душа его услаждается успехами ума в стране, вверенной ему святым провидением, и каждый труд, каждый полезный подвиг щедро им награждается. В недавнем времени, в лице славного писателя (Н. М. Карамзина. — *А. С.-К.),* он ободрил все отечественные таланты: и нет сомнения, что все благородные сердца, все патриоты с признательностию благословляют руку, которая столь щедро награждает полезные труды, постоянство и чистую славу писателя, известного и в странах отдаленных, и которым должно гордиться отечество»[291]. Мысль эта не была достоянием одного только стихотворца Батюшкова, она владела умами целого поколения. Так, Жуковский, призывая удалиться в деревню своего друга А. Ф. Воейкова и там вдали от большого света плодотворно заниматься творчеством, написал ему: «Мы с тобою будем трудиться там в Суринамском уголке и верно, верно отдадим со временем святой долг отечеству…»[292] Другими словами, если мы, поэты, действительно сможем создать совершенные произведения искусства, мы самым лучшим образом сослужим службу отчизне.

Это убеждение легко объяснить особенностями оптимистического мировоззрения эпохи — просвещенное общество было объединено общей исторической надеждой на великое будущее России, о чем писал и сам Батюшков: «Правительство благодетельное и прозорливое… отверзает снова все пути к просвещению. Под его руководством процветут науки, художества и словесность, коснеющие среди шума военного; процветут все отрасли, все способности ума человеческого, которые только в неразрывном и тесном союзе ведут народы к истинному благоденствию и славу его делают прочною и незыблемою»[293].

Благодаря этому универсальному стремлению общества, партикулярная жизнь человека гармонично вписывалась в судьбу страны. А успехи государства, в свою очередь, неразрывно связывались с деятельностью каждого гражданина. Поэзия обрела общественное значение, и модель взаимоотношений «Гораций — Меценат» реализовалась во всей своей полноте. В роли Мецената выступали двор, правительство, часто сам государь, щедро раздававший пенсионы и другие денежные вспомоществования (в разное время их получали Карамзин, Жуковский, Гнедич, Крылов

и др.). Государство исполняло свой долг перед литератором не менее добросовестно, чем литератор — перед государством. Государь и поэт являли собой разные стороны одной медали. Так, Батюшков писал П. А. Вяземскому: «Государь наш, который, конечно, выше Александра Македонского, должен то же сделать, что Александр Древний. Он запретил под смертною казнию изображать лице свое дурным художникам и предоставил сие право исключительно Фидию. Пусть и Государь позволит одному Жуковскому говорить о его подвигах. Все прочие наши одорифмодетели недостойны сего»[294]. Насколько естественными были такие убеждения для представителей эпохи, видно, в частности, из письма П. А. Вяземского А. И. Тургеневу, в котором обсуждалась возможность получения пенсиона Жуковским: «Нужно непременно обеспечить его судьбу, утвердить его состояние. Такой человек, как он, не должен быть рабом обстоятельств. Слава царя, отечества и века требует, чтобы он был независим. Пускай слетает он на землю только для свидания с друзьями своими, а не для мелких и недостойных его занятий»[295]. Совпадение личных интересов писателей и государственных устремлений было весьма кратковременным, но оно, безусловно, осознавалось как той, так и другой стороной и немало способствовало развитию российской словесности. Исходя из сказанного, становится понятным, почему Батюшков так стремился и так опасался быть представленным великой княгине Екатерине Павловне именно в роли литератора, преподнести ей переведенные главы «Освобожденного Иерусалима». В нем боролись желание заслуженного признания и страх быть недостойным его и потому остаться обойденным. Ясно и почему всю жизнь Батюшков страдал от ощущения собственной незначительности, ненужности, неоцененности — в отличие от своих друзей он сам ни разу не получил от правительства, на которое возлагал столько надежд, ни единого ободрения своего поэтического труда.

Возвратимся к парижским впечатлениям Батюшкова. Описывая Дашкову город, Батюшков перечисляет все его достопримечательности мельком, останавливаясь подробно только на одной из них. «Теперь вы спросите меня, что мне более всего понравилось в Париже? Трудно решить. Начну с Аполлона Бельведерского. Он выше описания Винкельманова: это не мрамор — бог! Все копии этой бесценной статуи слабы, и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах: надобно чувствовать. Странное дело! Я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона, такова

сила гения! Я часто захожу в музеум единственно затем, чтобы взглянуть на Аполлона, и как от беседы мудрого мужа и милой, умной женщины, по словам нашего поэта, „лучшим возвращаюсь“»[296]. Восхищение, вызванное статуей Аполлона Бельведерского и силой ее воздействия на зрителя, объясняется даже не столько личными вкусами самого Батюшкова, сколько эстетическими предпочтениями века. В словах поэта слышится отголосок просветительских идей (простые солдаты с благоговением взирают на божественный мрамор) и сентименталистских воззрений (для понимания прекрасного не нужно обширных познаний, необходимо лишь уметь глубоко чувствовать). Но основной акцент Батюшков ставит на последнюю фразу: он сделал для себя правилом почти ежедневно приходить в музей и смотреть на статую Аполлона. Батюшков всеми силами пытается вернуть гармонию в свою душу, он стремится к тому, чтобы прекрасное органично входило в его ежедневную жизнь. Ощущение, что гармония эта навсегда утрачена, конечно, уже наложило определенный отпечаток на его восприятие мира, и отчаянная попытка удержаться на плаву кажется вполне естественной.

V
«Я пожирал глазами Англию…»

Война для Батюшкова фактически закончилась. Из всех наград, к которым он был представлен (дважды к Владимирскому кресту и к Анне второй степени), получена была только Анна. В начале мая в Париже Батюшков заболел и провел неделю в доме своего друга и соратника М. Дамаса. Позже он вспоминал об этом: «В 1814, в бытность мою в Париже, я жил у Д<амаса> и сделался болен. Послал в ближнюю биб<лиотеку> за книгами. Приносят „Paul et Virginie“[297], которую я читал уже несколько раз: читал и заливался слезами, и какие слезы! Самые приятнейшие, чистейшие! После шума военного, после ядер и тома, после страшного зрелища разрушения и, наконец, после всей роскоши и прелести нового Вавилона, которые я успел уже вкусить до пресыщения, чтение этой книги облегчило мое сердце и примирило с миром»[298].

Как раз в это время во французскую столицу приехал его петербургский знакомый Д. П. Северин, сотрудник русской миссии в Англии, чтобы сопровождать императора Александра в Лондон. Он предложил Батюшкову отправиться вместе с ним и возвращаться в Россию не через Германию, а морем — через Англию и Швецию. Несмотря на отсутствие средств для

путешествия, Батюшков согласился и вскоре после отъезда императора и свиты последовал за ними в Лондон. Время для посещения английской столицы было выбрано как нельзя более удачно: русские были в чести и их повсюду принимали с неизменным почетом и огромным интересом. Батюшков проводил время с Севериным и другими сотрудниками русской миссии в Лондоне. О пребывании Батюшкова в Англии известно крайне мало, поскольку не сохранилось его писем этого периода. Зато многое известно об обратной дороге из длинного и обстоятельного письма, якобы написанного им Северину из Готенбурга. Текст этого письма испещрен авторской стилистической правкой, и еще Л. Н. Майков сделал предположение, что Батюшков готовил его к печати. Действительно, стилистика текста указывает на несколько необычный эпистолярный характер, а подзаголовок «Письмо С. из Готенбурга» подтверждает его литературное назначение. Скорее всего, это неличное письмо, которое предназначалось только адресату, а «письмо» в жанровом смысле, в духе «Писем русского путешественника» Карамзина. Учитывая, что осенью 1815 года Батюшков, опираясь на свои недавние впечатления, напишет целую серию прозаических очерков, среди которых будет и «Путешествие в замок Сирей» с подзаголовком «Письмо из Франции к Д. В. Дашкову», то можно предположить наличие замысла, объединенного жанром писем и воспоминаний, и датировать «письмо Северину» тем же 1815 годом[299].

Коротко описывая обратное путешествие Батюшкова, стоит сказать, что на почтовой карете он доехал до портового города Харвича[300], откуда суда уходили на материк. Там в ожидании попутного ветра ему пришлось провести сутки. За это время произошло только одно знаменательное событие: Батюшков посетил воскресную службу в местной церкви, и служба эта произвела на него сильнейшее впечатление: «Спокойные ангельские лица женщин, белые одежды их, локоны, распущенные в милой небрежности, рой прелестных детей, соединяющих юные гласы свои с дрожащим голосом старцев; <…> все вместе образовывало картину великолепную, и никогда религия и священные обряды ее не казались мне столь пленительными!»[301] О религиозности Батюшкова в довоенный период трудно сказать что-либо определенное. Он, конечно, был человеком верующим; неслучайно во многих его письмах, особенно в письмах сестре, звучит призыв довериться Провидению и смириться перед ударами судьбы. Чаще всего, правда, этот мотив напоминает об античном стоицизме и появляется тогда, когда происходит несчастье или требуется утешение. О других фактах религиозной

и тем более церковной жизни Батюшкова мы достоверных свидетельств не имеем. Обратим, однако, внимание на превосходные степени, которые Батюшков использует в приведенном отрывке для описания богослужения, заметив попутно, что такое сильное духовное воздействие имела на него вовсе не православная литургия, а протестантское богослужение.

30 мая 1814 года на пакетботе «Альбион» Батюшков покинул Англию и направился в Швецию. Путешествие оказалось не из приятных, оно было отмечено сильным штормом, морской болезнью, головной болью и бессонной ночью. На борту корабля Батюшков провел в общей сложности семь дней. Помимо борьбы со стихией и досужих разговоров со спутниками, Батюшков старался скрасить свое плавание чтением. В «письме» Северину он указывает, что свободные часы «проводил на палубе, читая Гомера и Тасса, верных спутников воина». Особенно доверять этому батюшковскому сообщению не стоит: вероятнее всего, Гомер и Тасс появились здесь по старой привычке и из общего представления о том, что воину приличествует читать великие эпические саги. Мы уже знаем, что в это время Батюшков живо интересуется литературой совсем иного плана.

Последний день своего путешествия Батюшков встретил на палубе: «В седьмой день благополучного плавания восходящее солнце застало меня у мачты. Восточный ветер освежал лице мое и развевал волосы. Никогда море не являлось мне в великолепнейшем виде»[302]. По позднему свидетельству П. А. Вяземского, уходящему корнями в арзамасский миф, в свою очередь, обязанный своим происхождением, очевидно, самому Батюшкову, — именно во время этого путешествия в сходных обстоятельствах была написана знаменитая элегия «Тень друга»[303].

Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблем вилася Гальциона,
И тихий глас ее пловцов увеселял.
Вечерний ветр, валов плесканье.
Однообразный шум и трепет парусов,
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже, дремлющей под говором валов, —
Все сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал.
Вся мысль моя была в воспоминанье

Под небом сладостным отеческой земли,
Но ветров шум и моря колыханье
На вежды томное забвенье навели.

Нам неизвестно, был ли Батюшков знаком ко времени создания элегии с поэмой Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда», две первые песни которой увидели свет в 1812 году, читал ли в каком-нибудь переводе или слышал в пересказе друзей знаменитый эпизод, в котором Чайльд Гарольд покидал на корабле Британию. Никаких следов очного или заочного знакомства с Байроном в письмах Батюшкова 1814–1815 годов мы не обнаруживаем. Однако фигура Байрона, слава которого и в Англии, и за ее пределами была слишком громкой, чтобы не затронуть слуха Батюшкова, все же волновала воображение поэта. Это становится очевидным по записке, адресованной уже неизлечимо больным Батюшковым давно покойному «Лорду Бейрону»: «Прошу вас, Милорд, прислать мне учителя английского языка. <…> Желаю читать Ваши сочинения в подлиннике»[304]. Значит ли это, что в переводах все же читал? Предположим, что так. Но совершенно неочевидно, что они были прочитаны ко времени написания «Тени друга». Однако интонационное и ситуативное совпадение батюшковского зачина и эпизода прощания Гарольда с родной землей несомненны[305].

В любом случае «Тень друга» стала первым в русской литературе байроническим текстом, который вызвал массу таких же «интонационных» подражаний, самое известное из которых — элегия Пушкина «Погасло дневное светило…»[306]. Однако «Тень друга» — это также стихотворение обновленного Батюшкова, который не просто отказался от своего прежнего пути, но и нащупал новый творческий метод. В этом стихотворении намечается трагический разрыв между земным миром, полным утрат, боли и страданий, и миром небесным — идеальным прообразом земного. Элегия, как легко догадаться по названию, посвящена памяти погибшего Петина, тень которого является погруженному в мечтания поэту:

Мечты сменялися мечтами,
И вдруг… то был ли сон?.. предстал товарищ мне,
Погибший в роковом огне
Завидной смертию над Плейсскими струями.
Но вид не страшен был; чело
Глубоких ран не сохраняло,
Как утро майское, веселием цвело
И все небесное душе напоминало.

«Ты ль это, милый друг, товарищ лучших дней!
Ты ль это? — я вскричал, — о воин вечно милой!
Не я ли над твоей безвременной могилой,
При страшном зареве Беллониных огней,
Не я ли с верными друзьями
Мечом на дереве твой подвиг начертал
И тень в небесную отчизну провождал
С мольбой, рыданьем и слезами?
Тень незабвенного! ответствуй, милый брат!
Или протекшее все было сон, мечтанье;
Все, все, и бледный труп, могила и обряд,
Свершенный дружбою в твое воспоминанье?
О! молви слово мне! пускай знакомый звук
Еще мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о незабвенный друг!
Твою с любовию сжимает…»
И я летел к нему… Но горний дух исчез
В бездонной синеве безоблачных небес,
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,
И сон покинул очи.

«Горний дух» погибшего друга является поэту словно в утешение в то самое мгновение, когда им владеет странная задумчивость, навеянная безмолвной стихией, — состояние между сном и бдением, наиболее благоприятствующее общению с потусторонним миром. Относительно этого стихотворения можно говорить (и эти слова многократно произносились) о появлении в творчестве Батюшкова первых романтических веяний[307]. Действительно, отчетливое разделение на два мира, печальный мир реальности и чаемый, но существующий в ином измерении, мир иной, говорит о близости этого стихотворения к немецкому романтизму, с которым Батюшков как раз недавно основательно сроднился. Тонко описанный механизм постепенного перехода героя из одного мира в другой, где ему предстоит встреча с посланцем небес, заставляет вспомнить аналогичные ситуации в лирике романтика Жуковского[308]. Всё это не подлежит сомнению. Однако для нас скорее важно прочертить сложную линию личной эволюции Батюшкова, которая не могла не стать главной доминантой его творчества.

Религиозное двоемирие Жуковского *a priori* понятно, исходя из особенностей его личности: Жуковский всегда был глубоко религиозен, и вопросы веры и духовного самосовершенствования с ранней юности представлялись ему самыми существенными

вопросами человеческого бытия. Поэтому жизненный и творческий путь Жуковского может быть легко осмыслен как сознательное самосовершенствование, в котором центральное место занимает мысль о смирении, то есть спокойном и радостном принятии земного мира, подсвеченного безусловным существованием мира идеального. И если в своих ранних опытах Жуковский мог позволить себе воскликнуть: «С каким веселием я буду умирать!» — то уже в 1814 году он говорил по-другому:

Я взором смотрю благодарным
На землю, где столько рассыпано благ,
На полное славы творенье.

Такова была программная, методическая работа над собой, которую Жуковский, невзирая на потери и несчастья, осуществлял на протяжении всей жизни.

История Батюшкова была совсем иной. Религиозный (почти экстатический) мотив, связанный с посещением протестантской церкви в Харвиче, был не случайным, но вполне неожиданным для Батюшкова, особой религиозностью никогда не отличавшегося. После появления «Тени друга» можно проследить направление, в котором вел поэта «рок событий»: отчаяние, испытанное во время посещений разоренной Москвы, разочарование во французской культуре, в которой было укоренено не одно поколение русской аристократии, ощущение собственной ответственности за обрушившиеся на Отечество бедствия, страшные впечатления сражений 1813–1814 годов, гибель Петина — всё это вместе потрясло сознание Батюшкова, сместило прежнюю картину мира. Ему как человеку нервному, ранимому, тонкому, а вернее было бы сказать — человеку с чрезвычайно подвижной психикой, была совершенно необходима точка опоры, на которой можно основать принципиально новую систему ценностей. Эта точка опоры была ему случайно предложена незнакомым англичанином в Харвиче, который пригласил своего русского попутчика на службу в местный храм. Возможно, религиозное чувство и раньше зашевелилось в сердце Батюшкова, но об этом мы ничего не можем сказать.

VI
«Где ж вы, о сильные, вы, галлов бич и страх»

Батюшков прибыл в Швецию, в портовый город Готенбург, который не произвел на него после Британии никакого

впечатления. Не найдя оттуда прямого пути в Петербург, он переехал в Стокгольм, где встретился с Д. Н. Блудовым, исполнявшим дипломатическую должность. В начале июля 1814 года Батюшков и Блудов вместе отправились из Швеции в Россию через Финляндию. Посещение Скандинавии и связанные с нею эпические мотивы северной поэзии не могли не отразиться на творчестве Батюшкова. За краткое время своего пребывания в Швеции он написал большое произведение, которое в последующих оценках критиков и исследователей получило разные жанровые характеристики: «медитативная элегия», «историческая элегия», «философская элегия» и даже «эпическая элегия». Это было стихотворение «На развалинах замка в Швеции», возможно, перевод-подражание немецкому поэту Ф. фон Матиссону[309]. Разнобой в определении жанра понятен: с одной стороны, стихотворение отчетливо сюжетное, действительно приближенное к эпическому повествованию, с другой — сюжет, опрокинутый в далекое прошлое, играет явно вспомогательную роль, служит для элегической медитации, которой предается автор. Одной из находок Батюшкова в этой элегии стала уникальная строфа, которую впоследствии плодотворно использовал молодой Пушкин в стихотворении «Воспоминания в Царском Селе»[310]. Для самого Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» — один из элементов поэтического диалога, который он с 1809 года вел со своим другом Жуковским[311]. Свое стихотворение Батюшков сознательно ориентировал на композицию, образный строй и стилистику знаменитой элегии Жуковского «Сельское кладбище», переводя традиционное содержание «кладбищенской элегии» из домашнего и частного плана в план общеисторический и мифологический. Авторские размышления касались чрезвычайно существенного вопроса — Батюшков этим стихотворением подводил личные итоги прошедшей войны.

Оказавшись на руинах средневекового замка, русский воин-поэт, возвращающийся с войны на родину, воссоздает в своем воображении давние времена, когда старый хозяин замка посылал своего юного сына на войну с галлами. Кровопролитная война окончилась победой, юноша возвратился назад… История повторилась почти в точности:

Ах, юноша! спеши к отеческим брегам,
Назад лети с добычей бранной;
Уж веет кроткий ветр во след твоим судам,
Герой, победою избранной!
Уж скальды пиршество готовят на холмах.

Зри: дубы в пламени, в сосудах мёд сверкает,
И вестник радости отцам провозглашает
Победы на морях.
Здесь, в мирной пристани, с денницей золотой
Тебя невеста ожидает,
К тебе, о, юноша, слезами и мольбой
Богов на милость преклоняет…
Но вот в тумане там, как стая лебедей,
Белеют корабли, несомые волнами;
О, вей, попутный ветр, вей тихими устами
В ветрила кораблей!

И автор элегии тоже «кипел и трепетал» «при звуках новой брани», и он хотел «быть ужасом врагов / Иль пасть, как предки пали, с славой!», и его тоже на родине ожидают старый отец и невеста, и в ветрила его корабля тоже дул попутный ветер. И вся эта героическая история, вольным или невольным свидетелем и двигателем которой он оказался, обратится в прах так же, как обратились в руины мощные стены шведского замка, и от нее тоже останутся только могилы и воспоминания:

Где ж вы, о сильные, вы, галлов бич и страх,
Земель полнощных исполины,
Роальда спутники, на бренных челноках
Протекши дальные пучины?
Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы,
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
Средь копий, средь мечей?
Погибли сильные! Но странник в сих местах
Не тщетно камни вопрошает
И руны тайные, преданья на скалах
Угрюмой древности, читает.
Оратай ближних сел, склонясь на посох свой,
Гласит ему: «Смотри, о, сын иноплеменный,
Здесь тлеют праотцев останки драгоценны:
Почти их гроб святой!»

Батюшков создавал новую жанровую форму, в которой «грань между „объектом“ и „субъектом“ делалась зыбкой: самый объект оказывался не только пропущен сквозь призму субъективного восприятия, но и сопричастен внутренней жизни субъекта. Его „объективность“ делалась во многих отношениях фиктивной.

Жизнь внешняя неприметно превращалась в проекцию жизни внутренней»[312]. Однако нужно заметить, что и субъективное, личное восприятие истории в элегии Батюшкова теряло свою определенность и размывалось надличностным, эпическим отношением к настоящему, увиденному через призму давнопрошедшего. Утраченные надежды, похороненные мечты, драматический личный опыт — все это становилось частью эпического сюжета и уже поэтому теряло трагическую остроту, приобретая оттенок обычной элегической грусти. Поэтическими средствами Батюшков спасался от вполне реального отчаяния.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I
«Успехов просит ум, а сердце счастья просит»

Еще в 1813 году, находясь в Петербурге и ожидая возможности отправиться в действующую армию, Батюшков написал сестре о своем желании жениться, потому что «одиночество наскучило». И тут же привел множество аргументов (первый из них — материальный), делавших его желание совершенно неисполнимым. Было ли это абстрактное размышление, или существовала девушка, которую Батюшков мечтал бы видеть своей невестой? Такая девушка существовала. Она жила в семье А. Н. Оленина, всегда игравшей в судьбе Батюшкова первостепенную роль, и звали ее Анна Федоровна Фурман. Из биографических обстоятельств этой девушки нам известно очень многое; сохранился даже ее живописный портрет кисти О. А. Кипренского, завсегдатая дома Олениных[313]. Знавшие А. Ф. Фурман современники в один голос говорили о ее необыкновенной красоте и душевном обаянии. Она была неродовита: родилась в большой семье Фридриха (Федора) Фурмана, немецкого агронома, который в России работал управляющим имениями многих крупных землевладельцев. Матерью ее, правда рано умершей, была Э. И. Энгель, родная сестра статс-секретаря Павла I, Ф. И. Энгеля. Благодаря связям по материнской линии Анна и попала на воспитание в дом Елизаветы Марковны и Алексея Николаевича Олениных. И нужно заметить, ей несказанно повезло, потому что через своих воспитателей девушка приобрела множество знакомств в среде петербургских литераторов, художников, музыкантов, ученых — одним словом, самых интересных и даровитых представителей этой блестящей эпохи. Естественно, что Оленины занимались образованием Анны Федоровны не менее внимательно, чем образованием собственных дочерей Анны и Варвары. И нет ничего удивительного в том, что молодая воспитанница дома привлекала внимание многих его посетителей. А. Ф. Фурман была моложе Батюшкова на четыре года. К моменту его возвращения из заграничного похода ей исполнилось 23 года. Вряд ли стоит думать, что какие-то объяснения между нею и Батюшковым состоялись еще до его отъезда в армию летом 1813 года; скорее всего, появление в поэзии Батюшкова образа «младой невесты», ожидающей героя с войны, было продиктовано лишь его

личными надеждами. Но нет также сомнений, что за этим образом стоял вполне реальный прототип. О развитии отношений между ними мы можем только догадываться — Батюшков в письмах был чрезвычайно сдержан даже с самыми близкими друзьями, поэтому относительно всего происшедшего в личной жизни поэта в 1814–1815 годах мы будем говорить только предположительно.

В Петербурге Батюшкова ждали сплошные неприятности. «Я сам лишен вовсе покою, — признавался он сестре. — Тысячу вещей меня мучат. Молодость моя прошла, а с ней и ветреность отчасти. Осталась одна способность страдать…»[314] За границей он занял крупную сумму, и теперь приходил срок ее возвращать. Понятно, что денег не было, и опять сестре Александре полетели письма с просьбами о сборе оброка, на который только и мог рассчитывать этот помещик недоходных деревень. По пути Батюшков заболел и, живя в доме Екатерины Федоровны Муравьевой, в который раз испытывал на себе ее материнскую привязанность и заботу — «в болезни ходит за мною, как за сыном»[315]. Семейные отношения оставляли желать лучшего — из переписки с сестрой Батюшков узнал, что «ни одно обстоятельство не переменилось в нашу пользу; напротив того!»[316]. Отец Николай Львович затеял новые хозяйственные проекты, которые грозили полным разорением его имению, — Батюшков беспокоился о будущем его малолетних детей. Сестры оставались незамужними, и если с одинокой судьбой Александры брат уже втайне смирился, то судьба его младшей и любимой сестры Вареньки крайне его беспокоила, отсутствие женихов пугало. По службе ситуация была непонятной: формально оставаясь адъютантом генерала Бахметева, Батюшков должен был отправляться по месту его службы, а именно в Бессарабию, в город Каменец-Подольский. С другой стороны, он хотел дождаться в Петербурге генерала Раевского, по представлению которого надеялся на перевод в гвардию. Этот перевод давал Батюшкову два лишних чина: выйдя в отставку из гвардии, он мог рассчитывать на чин надворного советника. Неопределенность ситуации рождала в его голове иногда прямо противоположные планы: он то собирался служить в гвардии, то намеревался взять прежнюю должность в библиотеке и остаться навсегда в Петербурге, то хотел попросить отставку и уехать из столицы в деревню.

Эти метания свидетельствуют о крайне напряженных душевных переживаниях, вероятно, связанных с мыслями о А. Ф. Фурман. В августе 1814 года в переписке с сестрой снова всплывает тема женитьбы: «А женитьба! — Ты меня невольно

заставляешь усмехнуться. Будь уверена, что до тех пор, пока я буду мыслить, как мыслю теперь, об этом и думать не должно. Жениться с нашими обстоятельствами? — По расчету? — Но я тебя спрашиваю, что принесу в приданое моей жене? Процессы, вражду родственников, долги и вечные ссоры. Если бы еще могла извинить или заменить это взаимная страсть. И что касается до сего, то я еще предпочту женитьбу без состояния той, которая основана на расчетах»[317]. Понятно, что и у А. Ф. Фурман никакого приданого не предполагалось, и речь могла идти только о взаимной сердечной привязанности. Очевидно, именно такую вероятность тяжело обдумывал в это время Батюшков. Настроение у него совсем не такое, какое можно было бы ожидать от человека влюбленного, надеющегося вскоре обрести счастье всей своей жизни. Батюшков раздражен, беспокоен, недоволен всем на свете, в его письмах чувствуются и усталость, и опустошение, и ранняя разочарованность, прежде всего — в собственном поэтическом даровании. И при этом — крайняя сосредоточенность на себе и своем внутреннем мире.

В конце августа Батюшков получил известие из Москвы о смерти двухлетнего сына П. А. Вяземского, его первенца, родившегося в Вологде в страшную годину испытаний — осенью 1812 года: «Пожалей об нас, мой милый Батюшков, мы лишились своего Андрюши: несчастная болезнь, мучившая его несколько суток, разлучила нас с ним навсегда. Это ужасно! Ты не отец и, следственно, напрасно буду я тебе толковать мою горесть: ты не поймешь меня и понять не можешь; но ты меня любишь и, без сомнения, будешь мне сострадать. Я убит горем и Бог знает когда справлюсь»[318]. В ответ на эти пронзительные строки Батюшков счел возможным излить Вяземскому свои сердечные горести: «… Поверишь ли, я час от часу более и более сиротею. Все, что я видел, что испытал в течение шестнадцати месяцев, оставило в моей душе совершенную пустоту. Я не узнаю себя. Притом и другие обстоятельства неблагоприятные, огорчения, заботы — лишили меня всего, мне кажется, что и слабое дарование, если когда-либо я имел, — погибло в шуме политическом и в беспрестанной деятельности»[319]. Батюшков, никогда не отличавшийся сердечной черствостью, вдруг проявил крайнюю степень эгоцентризма.

Можно с уверенностью сказать одно: Батюшкову в конце лета — начале осени 1814 года было очень плохо. Это состояние легко описывается формулой: он был сам не свой. Причины этого состояния коренятся прежде всего в обстоятельствах его личной жизни. Очевидно, осенью или зимой он все же сделал формальное предложение А. Ф. Фурман. Предложение его было

принято — как ею самой, так и ее воспитателями. Событие это, без сомнения, обрадовало и Е. Ф. Муравьеву, которая могла считать судьбу своего племянника хотя бы отчасти устроенной. Ничего не известно о реакции сестер Батюшкова на его предполагаемую женитьбу, но вряд ли она могла быть отрицательной. Любя брата, они всячески радели за его счастье, которое, казалось, вот-вот должно было состояться. Реализовывался вариант, предложенный Батюшковым в письме сестре Александре: взаимная привязанность молодых супругов должна была искупить недостаток средств к существованию. Но тут произошло событие, ярче всех прочих демонстрирующее несчастную особенность характера нашего героя, которая уже несколько раз проявлялась в нем с отчетливой резкостью, но до сих пор не так радикально меняла течение его жизни. Это умение во всех обстоятельствах разглядеть их черную, негативную сторону, а если этой стороны нет, то придумать ее, сосредоточиться на ней и добиться фатального смещения взгляда, после которого возвращение на прежнюю, положительную, точку зрения уже невозможно. В этой ситуации такое смещение было тем более легким, что Батюшков, делая предложение, не был уверен полностью в своем «праве на счастье». В середине марта 1815 года Батюшков вернул А. Ф. Фурман данное ею слово и отказался от всех притязаний на ее руку и сердце[320]. Он предположил, что девушка дала согласие на брак с ним, хоть и по доброй воле, но не испытывая к нему лично никаких чувств, исходя лишь из благодарности своим воспитателям, в доме которых Батюшков уже давно был своим человеком. Мы не знаем, содержалось ли хоть небольшое зерно правды в его хитроумном построении, не знаем также, что означало это событие для самой А. Ф. Фурман. Здесь можно предполагать разные варианты, но есть большая вероятность, что удар по самолюбию она все же получила. Доподлинно известно нам только о недовольстве произошедшим А. Н. Оленина, который не считал нужным его скрывать, и о негодовании по поводу расстроенной женитьбы тетушки Е. Ф. Муравьевой. На высказанные ею по этому поводу претензии Батюшков по прошествии нескольких месяцев ответит в письме. Это фактически единственное данное самим поэтом объяснение его странного поведения: «Вы меня критикуете жестоко и везде видите противуречия. Виноват ли я, если мой Рассудок воюет с моим Сердцем? Но дело о рассудке: я прав совершенно. Ни отсутствие, ни время меня не изменили»[321].

Итак, через полгода разлуки с бывшей невестой он считает себя по-прежнему абсолютно правым. Почему? Первая причина, как всегда, в деньгах: «Шестью тысячами жить невозможно в

столице». Но это, конечно, не главное. Главное — отсутствие чувства с ее стороны: «Теперь скажу только, что не испытывать отвращения и любить — большая разница». Именно этот аргумент тетушка привела в своем письме в качестве главного «противуречия»: зачем было отказываться от брака с девушкой, которая дала на него согласие и явно не испытывает к жениху отвращения (Муравьева употребила это выражение как фигуру речи, означающую «испытывать приязнь»). Видно, как Батюшков подменяет переносное значение слов прямым, получая нужное ему соотношение смыслов. Еще одна причина отказа — традиционная, «я не стою ее»: «…Я не должен жертвовать тем, что мне дороже всего. Я не стою ее, не могу сделать ее счастливою с моим характером и с маленьким состоянием. Это такая истина, которую ни вы, ни что на свете не победит, конечно. Все обстоятельства против меня. Я должен покориться без роптания силе Святой Бога, которая меня испытует. Не любить я не в силах. <…> Жить без надежды еще можно, но видеть вокруг себя одни слезы, видеть, что все милое и драгоценное сердцу страдает, это — жестокое мучение…» И далее — о службе и дальнейшем течении жизни, потерявшей теперь для поэта всякий смысл: «Для чего я буду теперь искать чинов, которых я не уважаю, и денег, которые меня не сделают счастливым? А искать чины и деньги для жены, которую любишь? Начать жить под одною кровлею в нищете, без надежды?.. Нет, не соглашусь на это, и согласился бы, если бы я только на себе основал мои наслаждения! Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могут одни злые сердца»[322].

Хочется спросить: неужели Батюшков не знал и раньше, что он «не стоит своей избранницы», что доход с имений и возможный заработок в столице не будут превышать шести тысяч, что начинать жизнь придется не в роскоши и богатстве, а весьма скромно? И почему он так уверен, что надежды на будущую карьеру обречены на крушение? Конечно, его карьера складывалась до сих пор не слишком удачно, но и нельзя сказать, что из рук вон плохо. Перевод в гвардию задерживался, но было известно, что император подписал указ и перевод непременно должен был состояться. Надежда на будущее, конечно, имелась, и на этой надежде можно было основывать свою семейную жизнь. Кажется, силу всех своих неоспоримых, как он сам считал, аргументов Батюшков почувствовал только тогда, когда предложение было уже сделано, когда до счастья оставался только один шаг. Тут-то под ногами и разверзлась бездна.

Не будем, однако, предполагать, что добровольный отказ Батюшкова от брака был только лишь результатом болезненной

работы его сознания, хотя такое искушение, конечно, есть[323]. Вскоре после разрыва с А. Ф. Фурман он написал письмо П. А. Вяземскому, в котором проскальзывают намеки на его жизненные обстоятельства. Из самого тона этого письма видно, что разрыв был невероятно тяжел для Батюшкова, что состояние, в котором он находился, было близко к нервному расстройству. Письмо, вопреки привычке Батюшкова к гладким и логически выверенным эпистолярным текстам, изобилует немотивированными повторами, мысль автора перескакивает с предмета на предмет, синтаксис рваный и захлебывающийся, формулы вежливости перемежаются с чрезмерной жесткостью по отношению к адресату. Среди прочего, Батюшков сообщает: «… Мои несчастия ощутительны, и когда-нибудь я тебе расскажу все, что терпел и терплю. Сердце мое было оскорблено в самых нежнейших его пристрастиях»[324]. Возможно, между Батюшковым и А. Ф. Фурман произошел какой-то разговор, о котором мы ничего знать не можем, оставивший в его душе то ощущение, которым он руководствовался, возвращая слово своей невесте. Ясно одно: Батюшков в марте 1815 года разрушил свою жизнь. В письме Вяземскому он высказался о будущем следующим образом: «Страха в сердце не имею: я боюсь самого себя»[325].

Надо сказать, что дальнейшая жизнь А. Ф. Фурман сложилась тоже не очень счастливо. Вскоре после истории с Батюшковым ее отец, в это время проживавший в Дерпте со своей второй семьей, потребовал срочного приезда дочери для помощи в воспитании младших детей. «Вызов этот был неожиданным ударом для матушки моей, привязавшейся всей душою к Елизавете Марковне, — несколько беллетризованно описывал эту ситуацию в своих мемуарах сын А. Ф. Фурман, который, конечно, не был участником событий. — А. Н. Оленин сказал ей, что она может не ехать в Дерпт, если согласится выйти замуж за человека, давно уже просящего руки ее, что он не решился до сих пор говорить ей о нем, будучи заранее уверен в отказе ее, но что теперь обязан ей объявить, что претендент этот — Николай Иванович Гнедич. Этого матушка никак не ожидала: она привыкла смотреть на Гнедича (уже далеко не молодого человека) с почтением, уважая его ум и сердце; наконец, с признательностью за влияние его на развитие ее способностей, ибо почти ежедневно беседовала с ним и слушала наставления его, — одним словом, она любила его, как ученицы привязываются к своим наставникам. Но тут же появилось несчастное чувство сожаления, и она просила А. Н. дать ей несколько дней для размышления. Кончилось тем, что она, конечно, другими глазами смотря на Гнедича, стала замечать в нем недостатки, например, не имевшую дотоле для нее

никакого значения наружность… В это время как-то за обедом дочь Олениных Анна Алексеевна, тогда еще ребенок, вдруг, ко всеобщему удивлению, смотря на Гнедича, с сожалением вскрикнула: „Бедный Н. И., ведь он кривенький!“ Елизавета Марковна, сделав дочери выговор, спросила ее: кто мог ей это сказать? Малютка промолчала, но вместо ее отвечал только что взятый из деревни и стоявший за стулом казачок: „Кто сказал? Вестимо, барышня (т. е. моя матушка) при мне говорили сегодня утром, что они (Гнедич) кривые; да и вправду они одноглазые“. Матушка моя с отчаянием вырвалась из объятий дорогого ей семейства, которое привыкла считать своим, и уехала в Дерпт»[326]. Не настаивая на достоверности приведенного мемуара, скажем только, что Гнедич действительно делал А. Ф. Фурман предложение и она действительно отказала ему. Анна Федоровна вышла замуж только через семь лет за «остзейского негоцианта» Адольфа Оома, разорившегося вскоре после женитьбы. После 1824 года судьба снова привела ее в Петербург, где она овдовела, оставшись с маленьким сыном на руках и без всяких средств к существованию. Батюшков в это время уже находился на лечении в психиатрической клинике в Германии.

Гнедич так и не женился. В его «Записной книжке» сохранился следующий фрагмент: «Главный предмет моих желаний — домашнее счастие; моих? Едва ли это не цель и конец, к которым стремятся предприятия и труды каждого человека. Но увы — я бездомен, я безроден. Круг семейственный есть благо, которого я никогда не ведал. Чуждый всего, что бы могло меня развеселить, ободрить, я ничего не находил в пустоте домашней, кроме хлопот, усталости, уныния»[327].

О неудачном сватовстве Гнедича и вынужденном отъезде А. Ф. Фурман Батюшков был извещен. Е. Ф. Муравьевой он писал: «Это путешествие мне не нравится, милая тетушка. Я желал бы видеть или знать, что она в Петербурге, с добрыми людьми и близко вас»[328]. Отношения Батюшкова с Гнедичем, хотя и не были прерваны, дали трещину, которая не загладилась до конца жизни. Вскоре после изложенных событий Батюшков писал ему: «Напрасны твои загадки и извинения. Собственное твое сердце, если ты его не вовсе истаскал на обедах у обер-секретарей и у откупщиков, твое сердце тебя должно мучить. Пусть оно говорит. Я ни слова. Я слишком сердит на тебя; любить тебя перестать не в силах»[329].

Так трагически закончился роман Батюшкова, положивший непреодолимую черту между его молодостью и зрелостью и завершивший тот духовный и психологический процесс, который

происходил в нем на протяжении последних трех лет.

II
«Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен…»

В марте 1815 года на второй неделе Великого поста Батюшков вместе со своей тетушкой Е. Ф. Муравьевой совершил паломничество в Тихвин для поклонения иконе Божией Матери, которая хранилась в Успенском соборе Богородицкого монастыря. По преданию, икона была написана во время земной жизни Богородицы святым апостолом и евангелистом Лукой и считалась чудотворной. Е. Ф. Муравьева и Батюшков отправились в Тихвин между 8 и 14 марта — в неделю Торжества Православия в монастыре совершалась полная служба в честь иконы. Один из авторитетных исследователей биографии поэта, А. Л. Зорин, убежден, что именно к этой поездке нужно приурочить момент религиозного просветления Батюшкова. Он основывался на том, что восторженное воспоминание о службе в Харвиче в так называемом «письме Северину», которое мы уже приводили, относится скорее всего к более позднему времени[330]. Однако существует большая вероятность, что религиозное чувство не возникло спонтанно, а постепенно укреплялось в душе Батюшкова. Воспоминания о службе в Харвиче были актуализированы и записаны, вероятно, после тихвинского богомолья, но духовное переживание, испытанное в англиканской церкви, без сомнения, было более ранним. Вероятно, поездка в Тихвин стала одним из этапов внутреннего переворота. После паломничества религиозные настроения Батюшкова усиливаются, это отражается в письмах друзьям, в которых теперь то и дело проскальзывают нравоучительные нотки.

Особенно интенсивно Батюшков наставляет своих друзей относительно их творчества. «Тургенев сказывал мне, что ты пишешь балладу, — обращался он к Жуковскому. — Зачем не поэму? Зачем не переводишь ты Попа послание к Абеляру? Чудак! Ты имеешь все, чтоб сделать себе прочную славу, основанную на важном деле. У тебя воображение Мильтона, нежность Петрарки… и ты пишешь баллады!»[331] «Пришли мне все, что ты написал нового, дай Бог, чтобы это было важное»[332], — пишет он Вяземскому. Вяземский раздраженно отвечает ему: «Моих стихов к тебе не посылаю и не пошлю, потому что ты хочешь важное, а у меня его нет, но по дружбе своей к тебе могу послать тебя за важным к Шихматову, который даст тебе „Ночь на гробах“, к Шишкову, который даст тебе „О пагубных Наполеона Бонапарта помыслах. Повесть“, или к некоторому родителю

экзаметров,_____, но замолчу! Батюшков, что с тобою сделалось?»[333] Естественно, что ту же мерку Батюшков примеряет и на себя. Свое «легкомысленное» поэтическое прошлое, связанное с «Видением на берегах Леты», он предпочитает не вспоминать. Роль «победителя всех Гекторов халдейских» его больше не устраивает. Собственная новая стихотворная сатира «Певец в Беседе любителей русского слова», пародирующая знаменитый гимн Жуковского «Певец во стане русских воинов», теперь воспринимается Батюшковым как непростительная ошибка: «Что касается до шутки, которая вырвалась из-под пера моего, то я ее не извиняю, она такова, что я мог бы потерять уважение к себе…»[334] Он больше не хочет участвовать в литературной борьбе, которая после войны разгоралась с новой силой. «К чему это педантство, к чему это святое смирение? — возмущается Вяземский переменами в Батюшкове. — Весь свет шутит насчет ближнего, во всем свете пишут, и писали, и печатали не нам чета люди стихи и насмешки на глупцов, а мы крестимся и кричим: „Злодейство!“ — при невинной шутке, не вредящей ни имени, ни чести ближнего. Что вы за проклятые фанатики? Et toi aussi, Brutus?[335]»[336]. Но Батюшков, конечно, не хочет слышать иронии. Эпитеты «важное» и «серьезное» становятся главными характеристиками тех произведений, которые он обдумывает и которые хотел бы видеть выходящими из-под пера своих друзей.

Изменил ли он свою литературную ориентацию? Ведь с первого взгляда может показаться, что Батюшков теперь стоит на позиции, когда-то настойчиво рекомендованной ему Гнедичем. Вспомним, как неистово Гнедич нападал на батюшковские безделки в духе Парни и советовал обратиться к переводу «Освобожденного Иерусалима». И разве серьезность и значительность содержания не были теми пунктами, которые ревностно отстаивали Шишков и его единомышленники? Неслучайно в своем ответном письме на поучения Батюшкова Вяземский, отказывая ему в «важном», иронически отсылал его к Шихматову. На самом деле, коренного изменения в Батюшкове не произошло, он остался убежденным карамзинистом, и сама фигура Карамзина теперь наполнилась для него новым смыслом — Карамзин никогда не тратился на безделки и не разменивался на литературную полемику. Важность и серьезность не означали перехода в иной языковой или жанровый регистр. Батюшков остался верен себе в стиле и языке — его новые «важные» произведения были столь же гармоничны по форме, как и прежние «безделки», и принадлежали к тем же малым жанрам. Серьезность его элегии и послания приобрели в первую очередь

благодаря новому содержанию — Батюшков делился вновь приобретенным религиозным опытом. В этом своем устремлении он сходился скорее с протестантскими проповедниками, чем с православными книжниками, да и сама религиозность Батюшкова была более сродни протестантизму западного образца, чем запертому тесными рамками канона и средневековой традиции русскому православию. Одно из случайных доказательств этому находим в письме Батюшкова 1816 года, посвященном рассуждению о славянском языке: «Когда переведут Священное Писание на язык человеческий? Дай Боже! Желаю этого!»[337] Напомним, что впервые Евангелие на русском, а не на церковнославянском языке было выпущено двумя годами позже — в 1818-м. Стихийный «протестантизм» Батюшкова не был его исключительной особенностью, а скорее чертой эпохи, ярко проявившейся и у других ее представителей, скажем у Жуковского или А. С. Пушкина.

Итак, следуя собственной установке на важность и серьезность поэзии, Батюшков пишет два сильных религиозных текста — «Надежда» и «К другу».

«Надежда» — это короткое стихотворение-молитва с простым и очень ясным декларативным замыслом. Оно состоит из двух частей: в первой поэт говорит о своей прошлой жизни, осмысленной заново с точки зрения Божественного вмешательства в нее, вторая часть посвящена будущему. Если прошлое насыщено многочисленными событиями, разнообразно проявляющими Промысел, то в будущем обозначена только одна точка — смерть. Ожидание смерти как лучшего дара Творца и есть та надежда, которой питается лирический герой стихотворения. Сравним это с высказываниями Батюшкова в письмах: «Но пусть ум просит великих успехов, а сердце — счастия… если не найдет его здесь, где все минутно, то не потеряет права найти его там. Где все вечно и постоянно»[338]; или: «Жизнь не вечность, к счастию нашему: и терпению есть конец»[339].

Тематически с «Надеждой» связано стихотворение «К другу». Это текст, находящийся в жанровом отношении между элегией и посланием, как это часто случается в творчестве Батюшкова. Он обращен к конкретному адресату — князю Вяземскому. Еще Л. Н. Майков предлагал сравнить его с довоенным посланием к Вяземскому — стихотворением «Мои пенаты»[340]:

О Вяземский! цветами
Друзей твоих венчай.
Дар Вакха перед нами:

Вот кубок — наливай!
Питомец Муз надежный,
О Аристиппов внук!
Ты любишь песни нежны
И рюмок звон и стук!
В час неги и прохлады
На ужинах твоих
Ты любишь томны взгляды
Прелестниц записных.
И все заботы славы.
Сует и шум и блажь
За быстрый миг забавы
С поклонами отдашь.

Если в «Моих пенатах» адресат представлен в роли философа, пользующегося всеми наслаждениями бытия и, по сути, разгадавшего загадку жизни и смерти, то теперь образ его изменился до неузнаваемости. Стихотворение «К другу» начинается прямым обращением к Вяземскому, дословно совпадающим в некоторых местах с текстом «Моих пенатов» и продолжающим старую тему:

Скажи, мудрец младой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?
Мы область призраков обманчивых прошли,
Мы пили чашу сладострастья:
Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?
Где мудрость светская сияющих умов?
Где твой Фалерн и розы наши?

Жизнь расставила акценты иначе, чем предполагала самоуверенная юность. «Мудрец младой», «Аристиппов внук» на себе испытал страшные удары судьбы, «прелестницы записные» оказались в числе «обманчивых призраков», роскошные пиры прекратились, да и самый дом, в котором пировали когда-то молодые философы, «в буре бед исчез». Здесь нет точной биографической отсылки: дом Вяземского, его имение Остафьево как раз «в буре бед» уцелело, но там был похоронен первенец Вяземского Андрюша, умерший в августе 1814 года. В одном из писем Вяземскому Батюшков упоминает об этом: «Ты плакал в Астафьеве. Я не жалею о тебе, слезы твои не горестны были, время отняло у них горечь. Что делать? плакать или вздыхать! Мы

ходим по развалинам и между гробов»[341]. В стихотворении эти слова воспроизводятся почти буквально:

Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем;
На крыльях радости летим к своим друзьям, —
И что ж? их урны обнимаем.

Следующая часть иллюстрирует эту истину на жизненном примере, она посвящена преждевременной смерти прелестной юной подруги адресата с условным именем Лила, воплощавшей в себе все возможные совершенства[342]. Эти строки стоит привести для демонстрации виртуозного языка «итальяниста» Батюшкова, который нисколько не проигрывает от изменения темы и тональности:

Скажи, давно ли здесь, в кругу твоих друзей,
Сияла Лила красотою?
Благие небеса, казалось, дали ей
Всё счастье смертной под луною:
Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,
Любви и очи и ланиты;
Чело открытое одной из важных Муз
И прелесть — девственной Хариты.

Этот фрагмент поражает звуковой изобретательностью: Батюшков с умением мастера выстраивает потрясающий музыкальный ряд из сонорных и гласных; играя с итальянскими созвучиями, доходит до, казалось бы, невозможной в русском языке напевности. Чего стоит одно его знаменитое зияние «любви и очи и ланиты»! Неслучайно Пушкин пришел в восторг, перечитав этот текст, и напротив приведенной строки поставил: «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков!»[343]

Понятно, что жизненные утраты, смерть близких, разочарования и потери совершенно обесценили прежние упования и надежды. Поиски надежной опоры в истории, философии или искусстве не привели к желаемому результату, более того, дарование тоже не выдержало выпавших на долю поэта испытаний и музы отвернулись от него. И вот когда рассчитывать уже не на что, лирический герой снова обретает смысл существования. Это происходит, конечно, благодаря Божественному Провидению, чуду, но и не без участия самого поэта (отметим это обстоятельство особо, поскольку способ

религиозного обращения, описанный здесь Батюшковым, находится вне рамок канонического православия):

Я с страхом вопросил глас совести моей…
И мрак исчез, прозрели вежды:
И Вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую Надежды.
Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен:
Ногой надежною ступаю
И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.

Концовка стихотворения нас не должна удивлять. Восприятие земной жизни как странствия и человека как временного скитальца — старая литературная традиция, подхваченная сентименталистской эпохой. Скажем, в романе Гёте «Страдания юного Вертера», который Батюшков любил и почитал[344], герой говорит о себе точно этими словами: «Да, я только странник, только скиталец на земле!»[345] Отсюда же и обозначение «мира лучшего» как небесной отчизны, в которую устремлена человеческая душа. Итак, герой заглядывает в глубины своей совести и там черпает Веру. Не история и философия, а только Вера дает ему светлую Надежду на будущее. Обратим внимание на метафоры тьмы, в которую был погружен герой до своего прозрения («Мой Гений в горести светильник погашал / И Музы светлые сокрылись»), и света, вспыхнувшего с обретением Надежды («лампада чистая», «солнцем озарен»). Какую же, собственно, надежду обретает герой и предлагает как единственный рецепт спасения адресату своего послания? Надежду на скорую и неминуемую смерть.

III
«Не все ли места равны?»

В конце поста, не дождавшись Пасхи, которая в 1815 году приходилась на 18 апреля, Батюшков на Страстной седмице выехал из Петербурга в имение отца Даниловское. Однако до этого произошло еще одно событие, о котором нет упоминаний в письмах Батюшкова, но которое исследователи реконструировали по другим источникам[346]. В конце марта — начале апреля 1815 года Батюшков встретился и познакомился с молодым племянником В. Л. Пушкина — Александром Сергеевичем. Об этом событии мы знаем из письма самого Пушкина Вяземскому

27 марта 1816 года: «Обнимите Батюшкова за того больного, у которого год тому назад завоевал он Бову Королевича»[347]. М. А. Цявловский установил, что в начале 1815 года Пушкин болел дважды: 3–5 февраля и 31 марта — 2 апреля[348]. В начале февраля Батюшков вряд ли мог посетить его в Царском Селе, потому что в январе сам простудился, пережил серьезное нервное расстройство, и выздоровление заняло почти месяц. Между тем как раз в январе в переписке с Вяземским впервые встречается имя молодого Пушкина — Вяземский отзывается о нем восторженно. О чем могли говорить между собой мальчик-лицеист, отметившийся в большой литературе своими первыми произведениями, и маститый поэт, снискавший уже настоящую известность? Понятно, Батюшков должен был высказывать какие-то советы, наставлять развивающийся талант. Совершенно очевидно, что в том состоянии и настроении, в котором мы застаем Батюшкова в конце марта 1815 года, он наверняка рекомендовал Пушкину писать важные и серьезные вещи, не размениваться на безделки. Отсюда и знаменитый ответ Пушкина, прозвучавший в его послании Батюшкову «В пещерах Геликона…», написанном в 1815 году:

А ты, певец забавы
И друг пермесских дев.
Ты хочешь, чтобы, славы
Стезею полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.
Дано мне мало Фебом:
Охота, скудный дар.
Пою под чуждым небом,
Вдали домашних лар,
И, с дерзостным Икаром
Страшась летать недаром,
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.

В дальнейшем Батюшков и молодой Пушкин виделись неоднократно, старший поэт «курировал» младшего, через друзей посылая советы, основанные на изобретенной им «пиитической диэтике», интересовался его успехами. Уже находясь в состоянии тяжелого нервного расстройства в Италии, просил о присылке законченной Пушкиным поэмы «Руслан и Людмила». О последней

встрече двух поэтов в 1833 году нам еще предоставится возможность сказать несколько слов.

Батюшков покинул Петербург надолго с тайным намерением больше туда не возвращаться. Он отправился к отцу в надежде хоть как-то облегчить его тяжелое душевное состояние, связанное со смертью второй жены, и помочь в запущенных и расстроенных хозяйственных делах. Особенного успеха он не имел, провел с отцом шесть дней и уехал, как сам признавался, совершенно измученным к сестре в Хантоново. Там Батюшков прожил два месяца, но все время был наготове, ожидая вызова от генерала Бахметева. Почта в Каменец-Подольский и обратно шла чрезвычайно долго, и отъезд, который Батюшков планировал со дня надень, задержался. Настроение Батюшкова во все время пребывания в деревне было самым мрачным: «Я очень грустен. Нет ни одной веселой, утешительной мысли. К печали печаль…»[349]; «Ничего тебе утешительного о себе сказать не могу. Кругом меня печальные лица. У меня для будущего ни одной розовой мысли»[350]; «Будущей моей судьбы не знаю, знаю только, что мое здоровье совершенно расстроено. <…> Мы живем не в такие времена, чтобы думать о счастии и спокойствии»[351]. В деревне он заболел и некоторое время мучился лихорадкой, перевод в гвардию так и не состоялся, и все его запросы оставались без ответа, домашние проблемы были неразрешимы, вызов от Бахметева не приходил. Наконец, 2 июня 1815 года Батюшков получил от генерала письмо, в котором тот просил его прибыть в Каменец-Подольский. Батюшков схватился за этот вызов как за соломинку. Несомненно, он представлял себе, что отправится в глухую провинцию, что будет оторван от близких и друзей, от литературной среды и привычного общества, но ему в этот момент страстно хотелось, во-первых, исчезнуть, окунуться в безвестность, провести некоторое время в тишине и одиночестве; во-вторых, ощутить не только страдания неразделенной любви, но и переживания другого рода. «На днях непременно отправляюсь в Каменец, — сообщал он Гнедичу. — Самое пребывание в Каменце не очень лестно. На счастие я права не имею, конечно, но горестно истратить прелестные дни жизни на большой дороге, без пользы для себя и для других; по-моему, уж лучше воевать. Всего же горестнее (и не думай, чтобы это была пустая фраза) быть оторванным от словесности, от занятий ума, от милых привычек жизни и от друзей своих. Такая жизнь бремя»[352] (ср. в стихотворении Батюшкова «Воспоминания», 1815: «Мне бремя жизнь!»). Надо сказать при этом, что окончательное решение таким образом «истратить прелестные дни жизни» все же зависело от самого Батюшкова. Он мог попросить у генерала

Бахметева отсрочки, в которой тот бы не отказал, мог потребовать отпуск для лечения, в котором действительно нуждался, мог, наконец, выйти в отставку, не дожидаясь повышения в чине. Но Батюшков предпочел отправиться в Каменец-Подольский: «Долго ли я здесь останусь? и зачем я здесь? Не знаю. Генерал мне сам предлагал ехать, куда хочу, и даст бумагу для прожития в Москве или в Петербурге. Ни на что не решусь, и, право, не знаю, на что решиться…»[353] Чем хуже складывались обстоятельства, тем с большей готовностью Батюшков их принимал. Поездка в Каменец очень органично укладывалась в его представления о жизни вообще — «такая жизнь бремя».

Батюшков ехал в Каменец через Москву, где провел приблизительно две недели во второй половине июня. Очевидно, встречался с Вяземским и обсуждал с ним свое знакомство с молодым Пушкиным — вот почему о нем нет никаких упоминаний в письмах. 13 июля он уже писал тетушке в Петербург: «Я еще раз повторю, о себе я ничего сказать не могу, кроме того, что я тяну день за день. Поутру бываю у генерала, обедаю у него или с ним у поляков; а ввечеру читаю книгу, читаю глазами, потому что ничто нейдет в голову, кроме путешествий в Одессу и в Херсон»[354]. Эта новая *idee fixe* Батюшкова — посещение Крыма — еще долго будет его сопровождать. Примерно такие же отчеты о своей жизни он станет направлять с каждой почтой всем своим корреспондентам: «Что я делаю, например? Читаю, хожу, сплю, обедаю, и все тут. Но здесь убиваю последние искры моего честолюбия мирского»[355]. Более подробное описание жизни Батюшкова в Каменце содержится в уже цитированном письме Е. Ф. Муравьевой: «Мы живем в крепости, окружены горами и жидами. Вот шесть недель, что я здесь, а ни одного слова ни с одной женщиной не говорил, вы можете посудить, какое общество в Каменце. Кроме советников с женами и с детьми, кроме должностных людей и стряпчих, двух или трех гарнизонных полковников, безмолвных офицеров и целой толпы жидов, — ни души. Есть театр; посудите, каков он должен быть: когда идет дождь, то зрители вынимают зонтики. Ветер свищет во всех углах и с прекрасным пеньем актрис и скрыпкою оркестра производит гармонию особенного рода. Все играют трагедии dans le grand style[356], редко оперы»[357]. Надо заметить, что далеко не в каждом провинциальном городе был оперный театр, и Батюшкову, можно сказать, повезло. Но он, конечно, воспринимает свое положение без тени юмора, крайне серьезно. Ощущение, что дарование его иссякло, прошло, но все равно отношение к творчеству у Батюшкова сложное. С Жуковским он делится: «И мне советуешь броситься в море

Поэзии!.. Я уверен, что ты говоришь от сердца, и вот почему скажу тебе, милый друг, что обстоятельства и несколько лет огорчений потушили во мне страсть и жажду стихов. Может быть, придут счастливейшие времена; тогда я буду писать, а в ожидании их читать твои прелестные стихи, читать, и перечитывать, и твердить их наизусть. Теперь я по горло в прозе»[358]. Это правда. Батюшков в Каменце написал основной массив своих прозаических произведений. Но поэзия, конечно, остается в числе его приоритетов. «Четыре года шатаюсь по свету, живу один с собою, ибо с кем мне меняться чувствами? — жалуется он Жуковскому. — Ничего не желаю, кроме довольствия и спокойствия, но последнего не найду, конечно. Испытал множество огорчений и износил душу до времени. Что же тут остается для поэзии, милый друг? Весьма мало! Слабый луч того огня, который ты называешь в письме своем огнем Весталок; но мы его не потушим!»[359] Батюшков не только не отказался от поэзии, но именно в Каменце, в этой глухой и безрадостной провинции, отрешенный от друзей и близких, в полном одиночестве, написал свои самые значительные поэтические произведения, которые часто в истории литературы называются «каменец-подольским циклом»[360]. Сам Батюшков не оформил написанное в Каменце в единый цикл, поэтому мы не будем пользоваться этой формулой. Однако несомненно, что каменецкие элегии составляют одно литературное целое — поэтический роман в духе Петрарки.

IV
«Я помню голос милых слов…»

Имя великого итальянца возникает не только благодаря общей тональности стихотворений Батюшкова, центральный образ которых — недоступная возлюбленная поэта. Считая поэзию Петрарки образцом языкового и мелодического совершенства, восхищаясь богатой образностью итальянского стихотворца, Батюшков в своей статье, посвященной творчеству Петрарки (1815), не забывает подчеркнуть его религиозность. В отличие от античных лириков Петрарка был христианином. В новой системе ценностей Батюшкова этот факт приобретает важнейшее значение: «Древность ничего не может представить нам подобного. Горесть Петрарки услаждается мыслию о бессмертии души, строгою мыслию, которая одна в силах искоренить страсти земные; но поэзия не теряет своих красок. Стихотворец умел сочетать землю и небо…»[361] Разве не то же стремление становится главным в серьезных, «важных»

произведениях Батюшкова?

«Не только стихи, но и все, написанное Батюшковым в Каменце, объединено общей тематикой. В центре этого единства — стихи о любви, но отнюдь не в прежнем привычном для читателей „сладострастном“ духе», — справедливо отмечает Н. Н. Зубков[362]. В элегиях каменецкого периода Батюшков пытается достигнуть новой гармонии: идеального сочетания земли и неба. Обычная для Батюшкова образность в текстах 1815–1816 годов сохраняется, однако служит она несколько иным целям — поэт совершенно по-другому теперь оценивает мир и события, происходящие с его лирическим героем. Прежде Батюшков стремился к поэтическому упорядочиванию внешних обстоятельств жизни, имеющих лишь косвенное отношение к духовному миру человека. Теперь, глубоко уязвленный многочисленными невзгодами, в своих стихах он пытается гармонизировать собственный внутренний мир, в частности, используя для этого опыт Петрарки: «Петрарка девять лет оплакивал кончину Лауры. Смерть красавицы не истребила его страсти; напротив того, она дала новую пищу его слезам, новые цветы его дарованию: гимны поэта сделались божественными. Никакая земная мысль не помрачила его печали. Горесть его была вечная, горесть христианина и любовника. Он жил в небесах…»[363] Обладать умением так чувствовать, так переживать горе и так выражать свои чувства в поэзии желал и сам Батюшков — «идеальный покой духа в счастье и в печали»[364].

Среди каменецких элегий трудно выбрать лучшую — все они одинаково совершенны. Самая, вероятно, известная — «Мой Гений», трогательная жалоба на незаживающую сердечную рану, с начальным четверостишием, часто народной молвой ошибочно приписываемым Пушкину:

О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней.

Или построенная на великолепном описании утреннего ландшафта, снабженном множеством конкретных деталей и отчетливой мелодикой, элегия «Пробуждение»:

Ни сладость розовых лучей
Предтечи утреннего Феба,
Ни кроткий блеск лазури неба,
Ни запах, веющий с полей,

Ни быстрый лет коня ретива
По скату бархатных лугов
И гончих лай, и звон рогов
Вокруг пустынного залива —
Ничто души не веселит…

Или написанная на одном приеме — рефреном повторяющейся анафоре «напрасно», удивительно цельная и богатая по содержанию «Разлука» с ее очевидно петраркистским финалом:

Напрасно: всюду мысль преследует одна
О милой, сердцу незабвенной,
Которой имя мне священно,
Которой взор один лазоревых очей
Все — неба на земле — блаженства отверзает,
И слово, звук один, прелестный звук речей,
Меня мертвит и оживляет.

Не стоит думать, что каменецкие элегии Батюшкова автобиографичны, что именно разрыв с А. Ф. Фурман дал пищу выплеснувшемуся в них трагизму, что ее образ стал прототипом героини этих стихотворений. Такое мнение высказывалось не раз и для многих было очень привлекательно. Так, сын А. Ф. Фурман писал: «Самым горячим поклонником матушки моей между известными личностями был К. Н. Батюшков, на которого, однако, к несчастию эта любовь, неразделяемая матушкою, имела самое пагубное влияние, ибо была одною из причин сперва его меланхолии, потом умопомешательства. <…> В стихотворении „Мой гений“ Батюшков выражает всю глубину чувства своего»[365]. Мы увидим дальше, что Батюшков от своей любви быстро излечился и мысль о женитьбе вновь приходила ему в голову, но была связана совершенно с другой женщиной. И, уж конечно, романтическое предположение Ф. А. Оома о причинах помешательства Батюшкова не имеет под собой никакой реальной почвы. В феврале 1816 года родственник Батюшкова С. И. Муравьев-Апостол, с которым поэт близко сошелся во время Заграничного похода 1813–1814 годов, позволял себе вполне шуточный тон в обсуждении влюбленности Батюшкова: «Одна барышня… зная мою с тобою дружбу, спрашивала меня о тебе. Я отвечал, что получил от тебя письмо, в котором ты жалуешься на скуку. „О, значит он влюблен!“ — воскликнула барышня. Я ей в ответ: „Вы лучше меня знаете состояние его сердца“. „Я знаю, что

говорю: он влюблен. Это верно; когда вы будете ему писать, скажите ему, что предмет его страсти меньше танцует, подурнел и утратил свое изящество“»[366]. Барышней, с которой беседовал о влюбленности Батюшкова С. И. Муравьев-Апостол, была старая дева, тетка А. С. Пушкина, которой племянник посвятил знаменитую «элегию»: «Ох, тетенька! ох, Анна Львовна, Василья Львовича сестра!» «Предмет страсти» Батюшкова, о котором она рассуждала, нам вообще неизвестен, поскольку А. Ф. Фурман к этому времени уже покинула Петербург. Но тот легкий тон, которым близкий Батюшкову человек говорит с ним о его влюбленности, сам по себе очень показателен. Батюшков уже излечился. «…Перипетии отношений лирического субъекта Батюшкова и его элегической возлюбленной, — замечает исследователь, — чистая фикция; развертывание темы происходит не в соответствии с реально-бытовыми отношениями Батюшкова и Анны Фурман, а в соответствии с внутренней логикой сцепления и развертывания поэтических мотивов»[367].

Остановимся подробнее на элегии «Таврида», которая уже упоминалась в связи с ранним творчеством Батюшкова. Она может считаться знаковым текстом каменецкого периода, вобравшим в себя ряд важнейших образов.

Стихотворение начинается с характерного для Батюшкова мотива: герой обращается к своей возлюбленной с призывом «скрыться» в Тавриде от преследований рока (вспомним аналогичную ситуацию в раннем стихотворении Батюшкова «Послание к Хлое»). Причины бегства описываются в соответствии с эстетикой романтизма:

> Мы там, отверженные роком,
> Равны несчастием, любовию равны,
> Под небом сладостным полуденной страны
> Забудем слезы лить о жребии жестоком;
> Забудем имена фортуны и честей…

Таврида была для Батюшкова уголком живой античности — понятно, почему этот край избирается поэтом в качестве убежища для героев стихотворения. Естественность, счастье, любовь, чистота и ясность отношений между людьми — это воплощенный античный идеал, который локализуется в Тавриде, непосредственно связанной с легендарной историей Древнего мира. Таврида предстательствует здесь за весь золотой век классической эпохи.

Южная уютная Таврида противопоставлена «Пальмире Севера огромной». Роскошные «мраморные палаты» Петербурга,

предназначенные для холодных (как мрамор) поклонников Фортуны, не располагают к естественному проявлению чувств. Для влюбленных героев с «пламенными сердцами» гораздо больше подходит простая хижина, «цветы и сельский огород»; на фоне этого нехитрого пейзажа в любви и счастье протекает их жизнь. Это дань горацианской традиции.

Описанию Тавриды посвящена вся первая часть стихотворения. Поэт предлагает своей возлюбленной удалиться туда, «где волны *кроткие* Тавриду омывают». Впервые в своей поэзии Батюшков использует для изображения морской стихии такой эпитет (ср.: «ярые волны» — «Воспоминания»; «свинцовые волны» — «Тень друга»; «грозный океан» — «Разлука»). Тишина и умиротворенность крымской природы соответствуют внутреннему покою человеческой души. «Фебовы лучи» тоже щадят это благословенное место: они не палят, а «с любовью озаряют» его. Феб посылает свои лучи со «сладостного неба». Картина завершена: кроткое море, сладостный небосвод и освещенные мягким солнечным светом окрестности. Кротость и любовь, царящие в природе, мгновенно умиротворяют души терзаемых несчастьями героев: «Под небом сладостным полуденной страны / Забудем слезы лить о жребии жестоком, / Забудем имена фортуны и честей». Батюшков анафорически повторяет слово «забудем»: забвение тяжелого прошлого — главный залог счастья.

При описании пейзажа Батюшков использует почти кинематографический прием: показанное крупным планом изображение уступает место частностям. Объектив камеры как бы выхватывает различные подробности природного ландшафта, которые вместе составляют неразрывное гармоническое единство. Камера движется дальше, и перед умиленным зрителем возникает изображение простого жилища героев:

> В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
> Где кони дикие стремятся табунами
> На шум студеных струй, кипящих под землей,
> Где путник с радостью от зноя отдыхает
> Под говором древес, пустынных птиц и вод;
> Там, там нас хижина простая ожидает…

В этом описании все движется: ясени шумят, дикие кони бегут, студеные струи кипят, деревья, птицы и воды находятся в непрерывном диалоге друг с другом. С этим незамирающим движением контрастирует неподвижность отдыхающего в тени путника (впрочем, движение заключено в самом слове «путник»), Батюшков мастерски передает ощущение «живой жизни». Таврида

— это для него не застывшая античность, не легендарный оставшийся в далеком прошлом золотой век, а существующий вне времени рай на земле.

Вторая часть элегии — это описание возлюбленной поэта, многими своими чертами напоминающей Лауру. «Таврида» начинается с обращения к ней: «Друг милый, ангел мой!..» (ср. с еще более развернутой формулой, употребленной поэтом в элегии «Воспоминания», 1815: «Хранитель ангел мой, оставленный мне богом!..»). Примерно то же говорил о Лауре Батюшков в своей статье о Петрарке: «…Лаура его есть ангел непорочности». И далее: «Для него Лаура была нечто невещественное, чистейший дух, излившийся из недр божества и облекшийся в прелести земные»[368]. Вообще тема причастности Лауры к вечной славе, понимаемой в христианском духе, чрезвычайно занимала Батюшкова. В своей статье он постоянно подчеркивает возвышенность, духовность чувств Петрарки к своей возлюбленной, считая, что именно отношение к ней как к «ангелу непорочности» помогло поэту воспринять смерть Лауры как «торжество жизни над смертью». «…Он, — писал Батюшков, — надеется увидеть Лауру в лоне божества, посреди ангелов и святых…»

Описание внешности героини в «Тавриде», по большому счету, не выходит за рамки всех прочих подобных описаний, включая и лирику Батюшкова раннего, анакреонтического, периода. Петрарка, оказывается, и здесь приложил свою руку[369]. В цитированной уже нами статье о нем Батюшков обращает особое внимание на один из излюбленных мотивов своего кумира — мотив цветов: «Рождающаяся любовь, ревность, надежда, одним словом, вся суетная и прелестная история любви изъясняется посредством цветов»[370]. Сам Батюшков использует ту же «цветочную» символику для изображения молодости, красоты, всех оттенков страсти, а также духовного и физического умирания. Поясняя невозможность точно перевести стихи Петрарки, Батюшков применяет тот же самый прием: «Кстати о цветах: слог Петрарки можно сравнить с сим чувствительным цветком, который вянет от прикосновения». В «Тавриде» возлюбленная поэта традиционно сравнивается с цветком — «Румяна и свежа, как роза полевая». В статье о Петрарке Батюшков приводит свой прозаический перевод отрывка из сонета CXXVII: «Если глаза мои остановятся на розах белых и пурпуровых, собранных в золотом сосуде рукою прелестной девицы, тогда мне кажется, что вижу лице той, которая все чудеса природы собою затмевает. Я вижу белокурые локоны ее, по лилейной шее развеянные, белизною и самое молоко

затмевающей; я вижу сии ланиты, сладостным и тихим румянцем горящие! Но когда легкое дыхание зефира начинает колебать на долине цветочки желтые и белые, тогда вспоминаю невольно и место, и первый день, в который увидел Лауру с развеянными власами по воздуху, и вспоминаю с горестию начало моей пламенной страсти»[371]. По тонкому замечанию В. Э. Вацуро, «из этого описания сам Батюшков брал элементы своих идеализированных женских портретов с метафорическими уподоблениями розам и лилеям, с устойчивым мотивом „зефира“, развевающего волосы возлюбленной…»[372]. И хотя в разбираемом нами стихотворении Батюшков заменяет белоснежную шею на «снегам подобну грудь», а также заставляет «летающей Зефир» не просто развевать волосы, но и обнажать тело возлюбленной (и даже употребляет невозможное в таком контексте для Петрарки слово «сладострастие»), его текст по-настоящему сладострастным назвать нельзя. Увидев манящие прелести своей подруги, герой «не смеет и вздохнуть: / Потупя взор, дивится и немеет». Он «дивится и немеет», помня о том, что созерцает высокую, непорочную красоту. Заметим, кстати, что батюшковское описание внешности героини напоминает еще один, на этот раз живописный сюжет — «Рождение Венеры» Боттичелли[373]. Богиня любви прекрасна, но вызывает восхищение, а не вожделение. Таково отличие любовной лирики Батюшкова 1815 года от его ранней анакреонтики.

Героиня «Тавриды», с одной стороны, соотносится автором с легендарной возлюбленной Горация Делией (для этой пары место вечного блаженства, чрезвычайно напоминающее Тавриду, — Элизий), с другой — это Лаура (воплощение прекрасной, но недоступной возлюбленной). И, конечно, это ангел-хранитель, спасающий поэта в треволнениях жизни.

В «Тавриде» Батюшков изображает счастливый конец скитаний и странствований своего героя. Постоянное присутствие возлюбленной рядом собственно и делает Тавриду раем, тем Элизием, где «все тает чувством неги и любви». В стихотворении «Воспоминания», написанном в том же году в Каменце, которому можно присвоить условное заглавие «анти-Таврида», Батюшков описывает принципиально иной исход:

> Исполненный всегда единственно тобой,
> С какою радостью ступил на брег отчизны!
> «Здесь будет, — я сказал, — душе моей покой,
> Конец трудам, конец и страннической жизни».
> Ах, как обманут я в мечтании моем!
> Как снова счастье мне коварно изменило…

И далее: «Есть странствиям конец — печалям никогда!» Образ героини «Воспоминаний» противопоставлен образу героини «Тавриды»:

В твоем присутствии страдания и муки
Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки.
Всего ужаснее! Я видел, я читал
В твоем молчании, в прерывном разговоре,
В твоем унылом взоре,
В сей тайной горести потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
Следы сердечного терзанья…
Нет, нет! Мне бремя жизнь!
Что в ней без упованья?

(«Воспоминания»)

…О радость! Ты со мной встречаешь солнца свет
И, ложе счастия с денницей покидая,
Румяна и свежа, как роза полевая,
Со мною делишь труд, заботы и обед.
Со мной в час вечера, под кровом тихой ночи
Со мной, всегда со мной; твои прелестны очи
Я вижу, голос твой я слышу, и рука
В твоей покоится всечасно.

(«Таврида»)

Поэт детально описывает портрет героини — в обоих случаях он строится по сходной схеме: «я видел, я читал» — «я вижу… я слышу…»; главное внимание обращено на ее голос и глаза. Молчание и «прерывный разговор» свидетельствуют о «сердечном терзанье» девушки, в то время как ее постоянно звучащий рядом голос («всегда со мной» — «голос твой я слышу») передает ощущение покоя и незыблемости любви. «Унылый взор» и «тайная горесть потупленных очей» в «Тавриде» сменяется на «твои прелестны очи», взгляд которых всегда, в любое время дня и ночи, сопровождает влюбленного героя.

Уверенность в том, что достигнуть покоя и счастья на земле невозможно, столь отчетливо выраженная в «Воспоминаниях»,

свидетельствует о дисгармоничном устройстве мира. Это предположение, которое Батюшков высказывал еще с юности, теперь окрепло и стало почти уверенностью. С этим демоном Батюшков сознательно борется, в борьбу его включены все средства, в том числе и Петрарка, который, казалось, сумел победить трагизм бытия чистой любовью и светлой верой. Желая уподобиться своему учителю, Батюшков снял дисгармоничную концовку «Воспоминаний», когда готовил это стихотворение для сборника своих произведений в 1817 году. Элегии был присвоен подзаголовок «Отрывок», текст обрывался на строках, выражающих надежду героя на счастливый финал его скитаний.

Собственно, то, что мы отметили сейчас в творчестве Батюшкова, было отражением происходящего и в его душе. Отчаяние, уныние, мрак на протяжении жизни не однажды захлестывали его сознание, всегда готовое к такому исходу. И каждый раз он словно спохватывался, прилагал все мыслимые усилия, чтобы спастись, уберечься, остаться на светлой, непомраченной стороне мира. До поры до времени ему это удавалось. Из Каменца Батюшков писал о себе так: «Воображение побледнело, но не сердце, к счастию, и я этому радуюсь. Оно еще способнее, нежели прежде любить, любить друзей и чувствовать все великое, изящное. Страдания его не убьют…»[374] Пускай на самом деле все обстояло не столь благополучно, но совершенно очевидно, что Батюшков сознательно ставил перед собой созидательную программу выхода из кризиса, духовного возрождения. А собственные строки:

> Себя не узнаю
> Под новым бременем печали, —

воспринимались им самим как случайно вырвавшийся вопль отчаяния и не должны были увидеть свет. Как уже говорилось не раз, Батюшков всегда видел действительность с некоторым смещением в негативную сторону. Обстоятельства, которые вполне могли бы рассматриваться как благополучные, казались ему крайне неудачными; там, где другой человек нашел бы надежду на будущее, он усматривал полную безнадежность и опускал руки. Печальное расхождение с реальностью было в природе Батюшкова. Словно чувствуя это расхождение, поэт пытался возместить его в творчестве, восстановить утраченную гармонию, дорисовать те черты реальности, которые не находили воплощения в его личной судьбе. Создав идеальный образ, Батюшков на время внутренне успокаивался. Вновь обретенная гармония становилась стимулом существования. Собственная

прекрасная поэзия как бы подсказывала дальнейшее движение по лабиринту бытия — до следующей преграды, когда выбор пути вновь оказывался неизбежным.

Таврида в сознании Батюшкова этого периода уже начала двоиться. С одной стороны, она была условным поэтическим миром, в котором обитали его герои, с другой — вполне реальным местом, в которое поэт очень хотел попасть. Возможно, Батюшков действительно надеялся выстроить свою судьбу хотя бы частично в соответствии с описанным им идеалом: отправиться в Тавриду, обрести там успокоение и душевный мир, если уж счастье взаимной любви оказалось недоступным. Интересно, что исследовательница творчества Батюшкова И. М. Семенко, комментируя сюжет «Тавриды», предположила: «В стихотворении, возможно, отразились надежды Батюшкова на брак с Анной Фурман и совместную поездку в Крым»[375]. При обычной для Батюшкова неуверенности в завтрашнем дне трудно поверить, что он строил какие-либо планы на свадебное путешествие со своей избранницей, сомневаясь в самой возможности брака. Но мечта посетить Крым, увидеть Черное море, без сомнения, владела его воображением. В августе 1815 года Батюшков просил Гнедича внести исправления в его сказку «Странствователь и домосед» перед тем, как отдавать ее в печать. Сам он был занят мыслями о путешествии: «У меня иное в голове — путешествие в Крым, если будет возможность, силы и деньги»[376]. В 1815 году поездка в Крым не состоялась — ни сил, ни денег на нее у Батюшкова не было.

Но мечта о Тавриде возродилась с новой силой в воображении Батюшкова в последние месяцы его сознательной жизни. Вернувшись в Россию из-за границы в 1822 году, он сразу же обратился к министру иностранных дел К. В. Нессельроде за разрешением на поездку на Кавказ и в Тавриду. Вскоре стало известно, что находящийся уже в полусознательном состоянии Батюшков все-таки добрался до Симферополя. Его последняя надежда на просветление была связана с вожделенным Крымом, откуда позже уже очевидно больной поэт наотрез отказывался уезжать, несмотря на уговоры родных и друзей. Образ Тавриды так долго и так прочно занимал его воображение, что даже застигнутый безумием, он интуитивно продолжал искать спасения в Крыму.

Жизнь Батюшкова и его поэзия не просто не составляли прекрасной целостности, они были скорее противоположны по содержанию и форме, однако находились в сложном взаимодействии, поочередно меняясь местами в причинно-следственных отношениях, определяющих понятие творческий

путь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I
«…Наш Ахилл лучше прежнего»

Батюшков уехал из Каменца перед самым новым, 1816 годом. Так он делал часто, планируя очередной переезд. «Вот и конец года, самого труднейшего в моей жизни…» — делился он с сестрой[377]. «Горестно провел я этот год, но вынес бремя и скуки, и болезни, и всего, что вам известно»[378], — писал тетушке. Батюшков гордился своим терпением и тем, что долг службы исполнил, однако на самом деле он не утерпел и подал в отставку, так и не дождавшись перевода в гвардию. Таким образом, долгожданный перевод терял для него всякий смысл. Жалуясь на свое здоровье, которое все время подводит его (в Каменце Батюшков тоже много и подолгу болел), он сообщает сестре: «Чувствую, что без путешествия на воды не обойдуся, но это почти невозможно с моими обстоятельствами»[379]. Однако на воды за границу весной 1816 года собирался генерал Бахметев, и Батюшков как его адъютант вполне мог бы воспользоваться этим обстоятельством для собственного лечения. Но вместо этого он бежит со службы и предпочитает выставить слабость здоровья как главную причину своей отставки. В письме Е. Ф. Муравьевой содержатся крайне алогичные объяснения этого поступка: «Я долго ждал ответа на мои письма к Гнедичу и не мог дождаться, просил его уведомить меня, вышло ли представление в Гвардию, но до сих пор, кроме нескольких строк, ничего не значащих, в ответ ничего не получил. Впрочем, выйдет или нет это представление, моя судьба не переменится, и я намерен выйти в отставку, тем более спешу сделать сие, что только сроку осталось два месяца для подачи прошения, то есть до Нового года. Оставаться в службе при моем здоровье, которое расстроено, и с моим счастием было бы совершенная глупость»[380]. Зачем в таком случае Батюшков помчался в Каменец и мучился там полгода, как не в ожидании этого перевода, который должен был заметно облегчить его жизнь? И разве отсутствие ответа от Гнедича может служить веской причиной для внезапной отставки? И не содержится ли некоторое безразличие относительно будущего в словах «выйдет или нет это представление, моя судьба не переменится»? И зачем так торопиться с прошением, если есть возможность, оставаясь в службе и дожидаясь перевода, поправить здоровье весной на водах? Понятно, что все доводы

рассудка были против отставки, но Батюшковым уже владела вполне оформившаяся идея: ему хотелось вырваться из Каменца, освободиться от обязательств и уехать в Москву. Вяземский приготовил для него комнаты. Его ждали свежие литературные новости. Ему требовалась перемена жизненных обстоятельств. 26 декабря 1815 года Батюшков покинул Каменец, как он сам признавался — «с большим удовольствием», и в начале января прибыл в Москву.

Поселился Батюшков не у Вяземского, а у дальнего родственника — И. М. Муравьева-Апостола на Басманной улице. Сестра было принялась звать его в деревню, но у Батюшкова оказались свои планы, изменять которые он пока не собирался. А потому он отвечал с уверенностью: «Здесь я дождусь моей отставки и, получа ее, немедленно приеду к тебе в конце марта или февраля. Ранее не могу, ибо на то не имею позволения от Генерала. Здесь хочется отдохнуть немного и повеселиться…»[381] Позволение от генерала было, без сомнения, отговоркой, потому что генерал был готов отпустить своего адъютанта, куда тому будет угодно, и Москву Батюшков выбрал сам. К сестре он доберется не через два месяца, а почти через год.

Почти сразу после приезда он получил известие из Петербурга о том, что переведен в гвардию. Теперь в его отставке появлялся смысл, чего нельзя было сказать месяц назад. И хотя друзья уговаривали его продолжить службу, а особенно убедительно — тетушка Е. Ф. Муравьева, Батюшков упорно отстаивал свою независимость: «Желаю одной отставки и свободы заниматься книгами и маранием бумаги. Блестящие проекты ваши, почтенная тетушка, касательно моего честолюбия суть новое доказательство вашего ко мне дружества, но я на них считать не могу…»[382] Значит, «считал» Батюшков преимущественно на творчество, и в этом был прямой резон.

Еще находясь в Каменце, Батюшков, правда с некоторым опозданием, получил уведомление о премьере комедии А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Шаховской был старым противником карамзинистов и самого Карамзина, которого еще в 1804 году вывел в комедии «Новый Стерн». Как вспоминал один из самых острых и колких мемуаристов эпохи Ф. Ф. Вигель, «в языке Шаховского… никогда славянского ничего не было; но Шишков охотно прощал ему, как сильному и полезному союзнику»[383]. Сильным союзником Шаховской был потому, что действительно обладал недюжинным литературным талантом и писал хорошие комедии, имел успех у публики, а следовательно, и идеологическое влияние, в котором Шишков был кровно заинтересован. Полезен же он был потому,

что занимал важный пост в театральной дирекции, его комедиям путь на сцену был всегда открыт, да и вообще петербургский театр благодаря ему был рупором идей Шишкова. Новая комедия метила уже не в Карамзина, а в Жуковского, постепенно выдвинувшегося вперед и после «Певца во стане русских воинов» ставшего не только первым поэтом, но и первым лицом среди сторонников «нового слога». В комедии Шаховского «Урок кокеткам» Жуковский был выведен в роли поэта Фиалкина, создателя бездарных баллад, смешного поклонника графини Лелевой. Образ Жуковского был настолько узнаваем, его речевые характеристики настолько прозрачны, что намек Шаховского разгадать не составляло труда.

21 сентября по старому стилю отмечались именины Дашкова и Блудова. Во время празднования в руки гостей попала афишка, извещающая о премьере новой комедии Шаховского. Было решено взять билеты на соседние номера кресел, и так получилось, что 23 сентября в театре на премьере оказались все находившиеся в Петербурге активные карамзинисты. Об этом событии вспоминал Вигель: «Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров, в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его, ни к селу, ни к городу, вклеить в нее одно действующее лицо, которое все дело испортило. В поэте Фиалкине, жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит множество известных стихов прозванного нами в шутку балладника. <…> Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена; еще кипящие молодостию Блудов и Дашков спешили поднять ее»[384]. Собственно, таков был повод для нового сплочения сил вокруг Жуковского, заменившего собою Карамзина. Результатом же стало создание «Арзамаса» — самого блестящего, искрометного, талантливого и плодотворного сообщества в истории русской словесности.

Узнав о Фиалкине в Каменце и получив от Вяземского целую

серию направленных против Шаховского (Шутовского) эпиграмм, Батюшков, очевидно, ощутил противоречивые чувства. С одной стороны, праведный гнев Вяземского и всей компании не мог его не заразить. Не так давно Батюшков сам активно участвовал в подобных литературных стычках, и вкус победы был ему знаком. Он сам был автором острых эпиграмм, например против Боброва, и на этом поприще выступал в паре с Вяземским[385]. Но теперь его мировоззрение изменилось, «блестящие безделки» представлялись недостойным поэта занятием, и вступление в литературную полемику скорее пугало, чем будоражило. «Радуюсь, что удален случайно от поприща успехов и страстей, и страшусь за Жуковского. Это все его тронет: он не каменный. Даже излишнее усердие друзей может быть вредно. Опасаюсь этого. Заклинай его именем его Гения переносить равнодушно насмешки и хлопанье и быть совершенно выше своих современников»[386], — писал Батюшков в ответном письме Вяземскому. И хотя относительно выходки Шаховского поэт был вполне солидарен с Вяземским, но сам он от активной борьбы устранялся: «С моей стороны ответом будет молчание и надежда что-нибудь написать хорошее. Если удастся, то я это все посвящу Шутовскому и товарищам. Они пробудили во мне спящее самолюбие. Не на эпиграммы, нет: на что-нибудь путное». Так получилось, что в момент обострения литературной борьбы, на пике которой был создан «Арзамас», один из наиболее одаренных его идеологов, Батюшков, сознательно отошел в сторону. Но язык арзамасских собраний, стилистика речей, их каламбурная эстетика, их полемический накал — всё это было ему необычайно близко. Неслучайно, узнав в Каменце о создании общества, Батюшков мгновенно включается в общий разговор, как будто присутствовал на заседаниях: «Спроси у Кассандры и у других имреков»; «Поклон арзамасцам от старого гуся»; «Что делает Беседа? Я люблю ее как душу, аки бы сам себя»[387].

Вновь предоставим слово Ф. Ф. Вигелю: «В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова[388] пожаловать к нему на вечер 14 октября. В ярко освещенной комнате, где помешалась его библиотека, нашли они длинный стол, на котором стояла большая чернильница, лежали перья и бумага; он обставлен был стульями и казался приготовленным для открытия присутствия. Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски написанной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество „Арзамасских безвестных литераторов“. Изобретательный гений Жуковского по части юмористической вмиг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд

веселых вечеров, нескончаемую нить умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирали со смеху; единогласно избран он секретарем его»[389]. «Арзамас» стал собираться первоначально по четвергам в доме у Уварова или Блудова, с каждым заседанием смысл и цели нового сообщества вырисовывались тем ярче, чем веселее проходили собрания. Говорить об «Арзамасе» можно бесконечно; чтобы несколько ограничить эту информацию, прибегнем к краткому описанию Вигеля, которое тем не менее кажется нам очень точным по духу:

«Благодаря неистощимым затеям Жуковского „Арзамас“ сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ. Так же, как в первых, каждый член при вступлении обязан был произнесть похвальное слово покойному своему предместнику; таковых на первый случай не было и положено брать их напрокат из „Беседы“. <…> Вечер начинался обыкновенно прочтением протокола последнего заседания, составленного секретарем Жуковским, что уже сильно располагало всех к гиларитету (веселости), если позволено так сказать. Он оканчивался вкусным ужином, который также находил место в следующем протоколе. Кому в России неизвестна слава гусей арзамасских? Эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества. Все шло у нас не на обыкновенный лад. Дабы более отделиться от света, отреклись мы между собою от имен, которые в нем носили, и заимствовали новые названия из баллад Жуковского. Таким образом наречен я был Ивиковым журавлем, Уварова окрестили Старушкой, Блудова назвали Кассандрой, Жуковского — Светланой, Дашкову дали название Чу, Тургеневу — Эоловой арфы, а Жихареву — Громобоя»[390].

Батюшков был избран в «Арзамас» заочно и как закаленный боец против «Беседы» получил прозвище Ахилл, о каламбурном значении которого мы уже упоминали выше. Однако в заседаниях он участвовать не мог еще долго, поскольку из Каменца отправился в Москву, где «Арзамас» существовал только в усеченном виде — в составе временно посещающих старую столицу петербуржцев да князя Вяземского, постоянно проживающего в Москве. Вероятно, он и не очень стремился к такому участию, поскольку позиция его оставалась неизменной. «Горжусь названием, — писал Батюшков, получив известие о собственном избрании в „Арзамас“, — но Ахилл пребудет бездействен на чермных и черных кораблях: „в печали бо погиб и дух его, и крепость“. Нет! Ахилл пришлет вам свои маранья в

прозе, для издания, из Москвы»[391].

Только 27 августа 1817 года Батюшков, наконец, добрался до Ареопага и произнес свою вступительную речь. В ответной речи Д. Н. Блудов сказал: «Любезный Ахилл, любезный товарищ давнишний и новый! Мелькнуло два года, как Арзамас, теснимый погаными, объявил миру о своем вечном существовании. Тогда в священных стенах его вместе с кликами возрождения раздались и радостные клики избирающего народа: тогда же имя Ахилла загремело в устах арзамасцев, и один сей торжественный звук попятил ряды полков враждебных». Упомянув о долгом отсутствии Батюшкова на поле литературной брани, Блудов выразил общее ликование арзамасцев его возвращением и произвел на свет историческую формулу, ставшую своеобразным парафразом имени Батюшкова: «Наконец, поверим ли мы глазам своим: он с нами, *сей победитель всех Гекторов халдейских*…»[392] Это заседание было одним из последних в истории «Арзамаса». Общество, живущее и питающееся полемическим задором, затухало из-за отсутствия противника — в 1816 году официально прекратила свое существование «Беседа любителей русского слова». Однако с первого заседания, на котором Батюшков был заочно провозглашен Ахиллом, и до самого последнего дня его имя оставалось для арзамасцев двойственным символом — активного борца против «Беседы» за стилистическую чистоту слога и первого русского поэта, достигшего наибольшего совершенства в мелких жанрах.

II
«Титул: „Опыты в стихах и прозе“ К. Б.»

В Москве здоровье Батюшкова, на которое он все последнее время жаловался в письмах, не только не поправилось, но заметно ухудшилось. Его преследовала лихорадка, он кашлял и опасался чахотки. Всю Масленицу он просидел дома, раздумывая об устроении своих дел по имению и изыскивая способы раздать долги. В письме сестре сетовал: «Я на себя довольно скуп и копейки даром не издерживаю; прихотей не имею вовсе и ныне приучил себя мало-помалу во всем отказывать, но поездки по службе, мундиры и тому подобное меня разоряют»[393]. Действительно, самые свои большие долги Батюшков сделал во время заграничных походов, и теперь они тяжким бременем отягощали его совесть.

В середине марта Батюшков получил уведомление о том, что отставка получена, но приказ вышел только через месяц. Вопреки ожиданиям он был отставлен не надворным советником (7-й чин

по Табели о рангах), а коллежским асессором (8-й). «Наконец я отставлен коллежским асессором. Конечно, не выгодно, но я к этому привык. Неудачи по службе, это мое. Слава Богу, что отставлен. Здоровье мое очень плохо, и я не знаю, как бы я перенес еще путешествие в Каменец, в Каменец, который я без отвращения вспоминать не могу»[394]. Как видим, Батюшков встретил свою отставку более чем спокойно, даже с радостью — во всяком случае, мучительная для него военная служба была закончена. Строгая зависимость от воли начальства и невозможность располагать собой в мирное время были для него непереносимы.

В середине лета Батюшков уже собрался ехать в Хантоново, но внезапный недуг буквально свалил его с ног: «…Я простудился; в левой ноге, в раненой, сделались судороги и ревматизм, стрельба в раны, чего никогда не бывало, и вот я седьмой день сижу дома или, лучше сказать, лежу в постеле, а по утрам хожу в ванну. <…> Страшусь, чтобы раны не открылись»[395]. Речь идет о ранах, полученных им во время сражения под Гейльсбергом в 1807 году. Распухшая нога и сильнейшие боли не пускали Батюшкова из дома на протяжении почти двух месяцев. К ним добавился кашель. Врач П. А. Скюдери, лечивший Батюшкова, только качал головой.

В начале августа между Батюшковым и Е. Ф. Муравьевой произошел интересный эпизод — тетушка в письме напомнила ему об А. Ф. Фурман. Неизвестно, в связи с чем это произошло. По предположению В. А. Кошелева, Муравьева извещала Батюшкова, что А. Ф. Фурман «не замужем, что сейчас, в трудное для нее время, предложение Батюшкова могло бы быть принято и устроилась бы счастливая семейная жизнь»[396]. Нельзя сказать, что никаких упоминаний о Фурман в прежних письмах не содержалось. Напротив, несколько раз за прошедшее с момента разрыва время близкие пытались примирить Батюшкова с его бывшей невестой, но всякий раз встречали либо продуманный и мощный отпор, либо молчание. И теперь он ответил тетушке вполне однозначно: «Все, что вы знаете, что сами открыли, что я вам писал и что вы писали про некоторую особу, прошу вас забыть, как сон. Я три года мучился; долг исполнил и теперь хочу быть совершенно свободен. Письма мои сожгите; чтобы и следов не осталось; прошу вас об этом. С вашими то же сделаю, там, где говорите о ней. Теперь дело кончено. Я даю вам честное слово, что я вел себя в этом деле как честный человек, и совесть мне ни в чем не упрекает. Рассудок упрекает в страсти и в потерянном времени. Не себе, а Богу обязан, что он спас меня из пропасти. Когда-нибудь поговорим об этом, — зимою, может быть.

Приготовьте мне комнату на зиму. Если Москва не привлечет меня, то я буду у вас. Теперь, кроме вас, ничего в Петербурге не имею. Если Оленины за что-нибудь в претензии на меня, то они не правы. Не думаю, чтобы та особа меня любила; а если что-нибудь и было похожее, то я, конечно, забыт»[397]. Любовная история закончилась и ушла в прошлое, Батюшков больше не мучился. Вероятно, немалую роль в этом сыграло его наполненное творчеством пребывание в Каменце, когда действительные страдания сублимировались в поэзию.

Интересно, что в том же письме тетушке Батюшков впервые после длительного перерыва снова упомянул Италию как единственное место, где он хотел бы продолжать служить. Италия, наряду с Тавридой, по-прежнему воплощала для него самые поэтические мечты.

Как раз в это время, в августе 1816 года, Н. И. Гнедич предложил Батюшкову издать свои произведения. Не просто дружески посоветовал, а захотел выступить в роли издателя. Батюшков к такому предложению был подготовлен. Во-первых, незадолго перед тем Жуковский сообщил ему о готовящемся собрании собственных сочинений. Батюшков радовался за него, но не мог не примерять на себя роль автора книги. Во-вторых, мысль об издании своих произведений, конечно, не раз приходила ему в голову. Одно дело печатать их порознь в журналах (к 1816 году существовало очень мало стихотворений, не опубликованных Батюшковым), совсем другое — составить книгу, объединить их вместе и напечатать под одной обложкой, под своим именем. Впервые Батюшков заговорил об этом в 1810 году, когда он собрал все написанные к тому времени стихотворения и, переписав их, решил отправить Гнедичу «для напечатания»[398]. Однако тогда запал быстро иссяк, да и рано было думать об издании — в 1810 году Батюшков только-только нащупал для себя новую линию в поэзии и имя Парни впервые появилось в его обиходе.

Известно, что в 1812 году Батюшков вновь собрал свои стихотворения, ревизовал их, очевидно, уничтожив то, что считал неудачным, и составил рукописные сборники для ближайших друзей. Такие тетради он подарил А. И. Тургеневу, Д. Н. Блудову и еще по крайней мере двум петербуржцам, кому точно — неизвестно[399]. Эти тетради были одинаковыми по составу — Батюшков отобрал для них все лучшие свои стихотворения.

С 1812 года прошла уже целая вечность. Батюшков стал другим, изменились его приоритеты в поэзии, изменилась и его поэтическая манера, он теперь иначе смотрел на свое творчество вообще и в особенности на свое раннее творчество, однако

несомненно, что к тому времени, когда прозвучало предложение Гнедича, Батюшков ощущал его как вполне своевременное. Неслучайно незадолго до этого он сам наводил справки по поводу возможного издания в Москве. Но, узнав, что Гнедич хочет взять издание в свои руки, сразу же передумал. Возможно, до Гнедича из Москвы доползли слухи о том, что Батюшков хочет издавать свои сочинения, и счастливая мысль о дружеском участии пришла ему в голову. Готовность, с которой Батюшков выставил Гнедичу свои необходимые кондиции, говорит о сформировавшемся замысле. Батюшков не только знал, как он хочет печатать свои произведения, но и детально продумал финансовую сторону, что вообще не было для него характерно: «За две книги, толщиною или числом страниц с сочинения М. Н. Муравьева, я прошу две тысячи рублей. Тысячу рублей прислать мне немедленно. У меня том прозы готов, переписан и переплетен (sic! — *А. С.-К.)*. Приступить к печати, не ожидая стихов. Том стихов непосредственно засим печатать. Если ты согласишься на мое условие, то я все велю переписывать и доставлю в начале октября. Им займусь сильно и многое исправлю. <…> Другую тысячу заплатить мне шесть месяцев по напечатании второго тома. Это тебя не расстроит, и мне будет выгодно. Я берусь доставить заглавный виньет для обоих томов. Печатать отнюдь не по подписке: я на это никак не соглашусь»[400]. Предложенные Батюшковым условия (не приводим других его денежных расчетов, связанных с затратами на издание и вычислением прибыли) для Гнедича были очень выгодны. Конечно, издание по подписке было гораздо более надежным: подписываясь на книгу, будущий читатель заранее оплачивал ее приобретение. Но именно поэтому Батюшков на подписку и не соглашался — слишком велика была ответственность. Том прозы вышел без нее, а на том стихов Гнедич все же подписку объявил, возможно, у него не хватило денег. Надо заметить, что на стихи Батюшкова подписалось в обеих столицах около двухсот человек — весьма значительное число.

Сохранилось 17 писем Батюшкова Гнедичу по поводу готовящегося издания. Эта переписка велась постоянно с августа 1816-го по июль 1817 года, когда издание увидело свет. Автор и издатель ни разу за это время не встречались лично — сначала Батюшков был в Москве, потом надолго уехал в деревню, поэтому все свои поправки, сомнения, вопросы и пожелания он посылал Гнедичу по почте. Гнедич к его указаниям был очень внимателен, но кое-что было отдано на откуп издателю, который одновременно выполнял обязанности редактора и составителя. В одном из писем Батюшков просит его об активном вмешательстве

в текст: «Все исправляй, как хочешь, не переписываясь со мною. Это слишком затруднительно и бесполезно»[401]. Удивляться не стоит — такая совместная работа над текстом была естественной частью литературного обихода того времени, широко принятая в арзамасском кругу. В этом письме речь, правда, шла о прозе. К поэзии Батюшков предъявлял более высокие требования: «Стихам не могу сказать: Vade, sed incultus[402]»[403]. Он исправлял и переписывал старые свои стихотворения: переводы из Тибулла, каменецкие элегии, эпикурейские тексты, которые теперь нравились ему меньше остальных. На предложение Гнедича напечатать «Видение на берегах Леты» Батюшков с самого начала ответил резким отказом, который чуть не привел к отказу издавать книгу вообще: «„Лету“ ни за миллион не напечатаю; в этом стою неколебимо, пока у меня будет совесть, рассудок и сердце. Глинка умирает с голоду; Мерзляков мне приятель или то, что мы зовем приятелем; Шаликов в нужде; Языков питается пылью, а ты хочешь, чтобы я их дурачил перед светом. Нет, лучше умереть!»[404] Сатирические свои произведения он, как и прежде, исключал из числа законных детей. Зато работа над подготовкой книги совпала с периодом новой творческой активности, а возможно, спровоцировала его. К концу осени Батюшков не только исправил и переписал свои старые стихи, но и создал новые: «Стихи переписаны, рукою четкою. Много новых пиес. И между тем как ты поешь рождение сына Мелесова, всевидящего слепца[405], я пою его бой с Гезиодом, т. е. перевел прекрасную элегию Мильвуа „Гезиод и Омир“, которая дышит древностью. <…> Стихов будет — я не ожидал этого — более прозы»[406]. Примерно тогда же Батюшков написал еще одну большую историческую элегию — «Переход через Рейн». А когда том поэзии был уже выслан Гнедичу, стал судорожно дописывать последнюю большую поэтическую вещь — элегию «Умирающий Тасс», которой придавал особенное значение.

Чем дальше шло время, тем больше Батюшков терял уверенность в себе. С конца февраля в его письмах Гнедичу лейтмотивом проходит слово «страшно». Он страшится за самого Гнедича, предполагая, что тот может разориться на издании — никто не будет покупать его. Страшится за прозу, которую «не уважает», трепещет за стихи, которые всё более кажутся несовершенными. В марте 1817 года он пишет Гнедичу: «Проза надоела, а стихи ей-ей огадили. Кончу „Тасса“, уморю его и писать ничего не стану, кроме писем к друзьям: это мой настоящий род»[407]. Чуть позже допрашивает Жуковского: «Что скажешь о моей прозе? С ужасом делаю этот вопрос. Зачем я вздумал это печатать. Чувствую, знаю, что много дряни; самые

стихи, которые мне стоили столько, меня мучат. Но могло ли быть лучше? Какую жизнь я вел для стихов! Три войны, все на коне и в мире на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное? Совесть отвечает: нет. Так зачем же печатать? Беда, конечно, не велика: побранят и забудут. Но эта мысль для меня убийственна…»[408] И, наконец, снова Гнедичу, когда том стихов уже печатался: «Ах, страшно! Лучше бы на батарею полез…»[409] Отметим, кстати, что первоначальный вариант титульного листа, предложенный Батюшковым, был без полной фамилии автора; на нем стояли просто инициалы — К. Б. Очевидно, Гнедичу этот вариант не понравился. Сборник был подписан полным именем.

Тем не менее дело постепенно продвигалось: том прозы был готов в мае (вышел в свет в июне), том поэзии отдан в печать в конце июня (вышел в октябре). Издание получилось внешне сходным с недавно вышедшим собранием стихотворений В. А. Жуковского — небольшого формата, хорошо гравированное. Эскизы для фронтисписов выполнил Оленин, Батюшкову они очень понравились, гравировал издание И. В. Ческий. Получив от Гнедича первый том, Батюшков остался, кажется, доволен: «Получил книгу. Благодарю тебя за труды твои! <…> Стихов теперь ожидаю с нетерпением. Виньет очень мне понравился, и бумага, и шрифт»[410].

Книга не могла остаться незамеченной критикой: в «Русском вестнике» положительную рецензию написал С. Н. Глинка, московский приятель Батюшкова и одновременно персонаж его «Видения на берегах Леты». В «Сыне Отечества» появился восторженный отзыв, содержащий такие превосходные степени, которые могли смутить и куда более уверенного в себе человека, чем Батюшков. Панегирически высказался едкий А. Е. Измайлов; как о первом стихотворце эпохи писал о Батюшкове В. И. Козлов. Лучшей рецензией на сборник по праву считается статья арзамасца С. С. Уварова в петербургской газете «Le Conservateur impartial» (1817, № 83), в которой содержалось описание творческой манеры Батюшкова и Жуковского как двух лидеров новой поэтической школы. Эта рецензия стала отправной точкой исследований, посвященных допушкинской поэзии, самое яркое из которых — статья Л. Я. Гинзбург «Школа гармонической точности». О батюшковских «Опытах» Уваров писал: «Батюшков более уравновешен и сдержан, в проявлениях смелости у него сквозит мудрость, вкус его изощреннее; он скорее эротичен, нежели влюблен, более страстен, нежели чувствителен, он с равным успехом подражает Тибуллу и Парни. Среди произведений, помещенных во втором томе, особо выделяются

несколько элегий, написанных в манере Тибулла, два-три очаровательных стихотворения в подражание Парни, перевод из Мильвуа „Состязание между Гомером и Гезиодом“, несколько дружеских посланий, пьеса, в которой любви к путешествиям противопоставлены прелести уединенной жизни; наконец, элегия „Умирающий Тасс“, которую можно считать его шедевром»[411]. В своих оценках и приоритетах Уваров практически совпал с автором «Опытов».

III
«Нам Музы дорого таланты продают!»

Второй том «Опытов в стихах и прозе» строился по жанровому принципу: элегии, послания, смесь. Интересны порядок, в котором автор (или издатель?) печатал стихотворения, и жанровое определение того или иного текста[412]. Например, некоторые послания («К Гнедичу», «К Дашкову», менее отчетливое — «К другу») были помещены в раздел элегий, а послание «К Никите» отправилось в раздел «Смесь». Случайность ли это или сознательная авторская воля — мы не можем сейчас установить. Батюшков давал Гнедичу совет относительно расположения своих стихотворений: «Советую элегии поставить вначале. Во-первых, те, которые тебе понравятся более, потом те, которые хуже, а лучшие в конец. Так, как полк строят. Дурных солдат в середину»[413]. Первенство элегий было важным для Батюшкова, который делал на этом жанре особый акцент. По словам О. А. Проскурина, «с выходом батюшковских „Опытов“ элегия окончательно утвердилась как главенствующий жанр современной русской поэзии, как ее квинтэссенция, а на некоторое время — чуть ли не как синоним лирики вообще (прежде главным „лирическим“ жанром традиционная теория признавала оду)»[414]. Особенно Батюшкова волновала судьба недавно написанной им элегии «Умирающий Тасс»: «Куда Тасса: Боюсь! Если не понравится тебе?»[415] Видимо, элегия пришлась Гнедичу по вкусу, поскольку том поэзии должен был завершаться именно ею[416]. Или же здесь сыграли роль обстоятельства другого рода.

В самый разгар подготовки книги Гнедич предложил Батюшкову включить в нее гравированный портрет автора. Батюшков, уже к этому времени успевший разочароваться в издании, наотрез отказался: «На портрет ни за что не соглашусь. Это будет безрассудно. За что меня огорчать и дурачить. Но другие… Пусть другие делают что угодно: они мне не образец. Крылов, Карамзин, Жуковский заслужили славу: на их

изображение приятно взглянуть. Что в моей роже? Ничего авторского, кроме носа крючком и бледности мертвеца. Укатали сивку крутые горки!» И далее: «Портрета никак! На место его виньетку; на место его „Умирающего Тасса“, если кончить успею (сюжет прекрасный!), „Омира и Гезиода“, которого кончил…»[417] Итак, две названные элегии должны были, по мнению Батюшкова, заменить собой его портрет. С одной стороны, это, конечно, метафора: лучшим изображением поэта являются его стихи. Однако неслучайно он называет именно эти две вещи. Обе они оказываются очень значимыми в составе «Опытов…», выделяясь, во-первых, датой создания — это последние произведения Батюшкова; во-вторых, тематикой — обе элегии посвящены судьбе Поэта. Так что «портретный», автобиографический элемент в этих произведениях был действительно очень силен.

Сюжетом для элегии «Умирающий Тасс» Батюшков избрал знаменитую легенду о смерти Торквато, которую и изложил в «Примечании». Прозаические «Примечания», завершающие большой поэтический текст, стали в поздних произведениях Батюшкова важной композиционной частью, как всевозможные примечания и исторические комментарии были, скажем, неотъемлемой частью русской романтической поэмы. Исходя из этого, смысл стихотворения будет понятен не полностью, если не обратить должного внимания на прозаический комментарий. Собственно, главная задача этой элегии — повествование о несовершенстве мира, не умеющего принять от Провидения драгоценного подарка. Торжество, которое готовит «древний Рим» в честь своего поэта, с первых строк входит в трагическое противоречие с его жизнью, близящейся к своему финалу:

> И шум веселия достиг до кельи той.
> Где борется с кончиною Торквато…

В уста умирающего поэта, который «с веселием» благословляет свой последний час, вложен большой монолог. Торквато вспоминает прошедшую жизнь как цепь постоянных страданий, начинающихся с младенчества. Среди этих воспоминаний мы можем разглядеть и самого Батюшкова, отчетливую автобиографическую ноту:

> Из веси в весь, из стран в страну гонимый,
> Я тщетно на земли пристанища искал:
> Повсюду перст ее неотразимый!
> Повсюду — молнии, карающей певца!
> Ни в хижине оратая простого,

Ни под защитою Альфонсова дворца,
Ни в тишине безвестнейшего крова,
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей,
Бесславием и славой удрученной.
Главы изгнанника, от колыбельных дней
Карающей богине обреченной…

Пересказав собравшимся вокруг него друзьям свои мытарства, великий страдалец, в соответствии с историческими обстоятельствами, изложенными в «Примечании», ненадолго впадает в помутненное состояние сознания и из реального мира перемещается в мир вымышленный — к стенам Сиона и цветущим берегам Иордана, где происходило действие его знаменитой поэмы «Освобожденный Иерусалим». Это поэтическое воспоминание лишает поэта последних сил. Он умирает в тот момент, когда солнце покидает небосвод (это место батюшковской элегии, заимствованное у Ломоносова, впоследствии дословно использовал Пушкин):

Светило дневное уж к западу текло
И в зареве багряном утопало;
Час смерти близился… и мрачное чело,
В последний раз, страдальца просияло.

Торквато произносит свои прощальные слова, обращаясь к рыдающим друзьям. Как нетрудно догадаться, Батюшков заставляет своего героя произнести еще одну мини-проповедь, по содержанию ничем не отличающуюся от его религиозной доктрины из недавних стихотворений «Надежда» и «К другу»:

Земное гибнет все… и слава, и венец…
Искусств и муз творенья величавы:
Но там все вечное, как вечен сам Творец,
Податель нам венца небренной славы!
Там все великое, чем дух питался мой,
Чем я дышал от самой колыбели.
О братья! о друзья! не плачьте надо мной:
Ваш друг достиг давно желанной цели.

Торквато умирает в тот самый миг, когда «шумны волны» народа наполняют Рим, украшенный коврами и багряницами в честь Триумфа Поэта. Противоречие, в котором он находился с

миром при жизни, в момент смерти становится особенно очевидным. Полупомешанный, переживающий страшные муки, на краю гроба, он гораздо более ясно оценивает существо жизни и смерти, чем падкий на праздники народ, который в состоянии воспринять только внешнюю сторону событий.

В «Примечании» Батюшков, сообщая о безумии Торквато, приводит свидетельство Монтаня: «Я смотрел на Тасса еще с большею досадою, нежели сожалением; он пережил себя; не узнавал ни себя, ни творений своих» и далее замечает: «Тасс, к дополнению несчастия, не был совершенно сумасшедший и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горесть своего положения». В тот момент, когда создавались эти строки, Батюшков писал, конечно, не о себе, а о своем герое — близкое будущее было, к счастью, от него скрыто. Но сейчас эти строки кажутся совершенно автобиографическими и производят впечатление особенно сильное, учитывая значение, которое Батюшков придавал своей элегии, предлагая поставить ее в книге на место собственного портрета.

Другую большую элегию, почти поэму, перевод из французского поэта Ш. Ю. Мильвуа, «Гезиод и Омир соперники» Батюшков закончил чуть раньше «Умирающего Тасса» и посвятил А. Н. Оленину. Мы помним, что после инициированного Батюшковым разрыва с А. Ф. Фурман отношения между ним и Олениным на два года прервались — во всяком случае до весны 1817 года. В январе, как раз во время работы над стихотворением «Гезиод и Омир…», Батюшков писал Гнедичу: «Будь чистосердечен, скажи мне: за что Оленины на меня в гневе. Ниже мыслию не заслужил этого. Право, это больно моему сердцу. Я им много обязан, а быть неблагодарным гнусно и на меня не похоже. За что же я забыт А<лексеем> Н<иколаевичем>? Бога ради, скажи чистосердечно, что я сделал и как могу загладить вину мою, но какую?»[418] Батюшков кривил душой — он прекрасно понимал, за что сердится на него Оленин, но вины за собой не видел. Узнав, что Оленин сменил гнев на милость и выразил желание оформить его будущую книгу, Батюшков сразу излил свою бурную радость Гнедичу: «Если „Гезиод“ тебе полюбился, то поставь в заглавии: „Посвящено А. Н. О., любителю древности“, но имени ни его, ни чьих нигде не выставляй. Я не охотник до этого. Вот почему я и спрашивал у тебя, сердится ли Оленин на меня или нет? Я хотел сделать это приписание, посылая книгу, но, полагая, что он на меня дуется, остановился. Я к нему писал: он ни слова не отвечал, а я писал не белиберду, а о моей отставке; могли я полагать, что он или забыл меня, или гневается? Но тебе спрашивать у него было неприлично. Я сам

знаю, что ему не за что на меня гневаться: я не подал поводу…»[419] Посвящение элегии имело двойной смысл. Оно отсылало читателя к имени того человека, который слыл живым символом античности, а кроме того, становилось примирительным жестом. Однако, по-видимому, посвящение было косвенно связано и с концовкой стихотворения, содержащей намек на духовное одиночество поэта в мире.

Начало элегии представляет собой краткое сообщение о погребальных состязаниях, организованных царем Эвбеи. Это сообщение наполнено мельчайшими деталями, что создает впечатление непосредственной передачи событий рассказчиком, который если и не участвовал в играх, то лично присутствовал на них. Небольшое размеренное вступление, посвященное царю Халкиды, сменяется энергичным описанием состязаний. Игра на согласных *сз* и *ц* (подчеркнутая рифмовкой *денницы/ возницы*), передающая цоканье копыт бегущих коней, и трижды повторенная анафора подчеркивают динамику событий:

Три раза с румяной денницей
Бойцы выступали с бойцами на бой;
Три раза стремили возницы
Коней легконогих по звонким полям;
И трижды владетель Халкиды
Достойным оливны венки раздавал…

Такая же интенсивность сохраняется и в дальнейшем, когда речь идет уже не о соревнованиях на колесницах, а о подготовке нового бескровного боя. Перечисленные рассказчиком многочисленные будничные детали («Залейте студеной водой / Пылающи оси и спицы», «Коней отрешите от тягостных уз / И в стойлы прохладны ведите», «Вы, пылью и потом покрыты бойцы») приближают ситуацию античного праздника к современности. Так что призыв автора послушать «высокие песни» оказывается обращенным не только к народам «счастливой Эллады», но и к его просвещенным соотечественникам. На эвбейские игры в Халкиду прибывает народ, который Батюшков уподобляет волнам. Батюшков использует уже опробованный им образный ряд[420]: «Народы, *как волны*, в Халкиду *текли*…» Образ волн при описании толпы появится еще раз в конце элегии и будет наполнен куда более мрачным содержанием.

В начале поэтического состязания перед слушателями появляются два его участника — Омир и Гезиод (знаменитые древнегреческие поэты Гомер и Гесиод). Омир стар и несчастлив («летами древними и роком удрученный»). Он нигде не находит

себе пристанища — «Пройдя из края в край гостеприимный мир» (если мир и вправду *гостеприимен*, то его незачем проходить «из края в край»)[421]. Омира Батюшков называет *«царем* песней» — эта характеристика еще раз повторится применительно к слепому певцу в ином контексте: он «духом *царь, не раб* разгневанной судьбы». Омир не только автором, но и Гезиодом наделяется качествами, свойственными лишь бессмертным богам: «слепец всевидящий», «певец божественный» и, наконец, — «бессмертный Омир».

Соперник «первого в мире Поэта», Гезиод, молод. Говоря о Гезиоде, автор неизменно будет повторять мотив его особого избранничества: «Муз любимый жрец», «взлелеянный Парнасом», песни его «мирною Каменой вдохновенны», Гезиод посвящает музам светлые сосуды «как дар, усердный дар певца, за их любовь». Итак, в отличие от Омира, преследуемого жестоким роком, Гезиод — «счастливый», сами музы покровительствуют ему.

В гимнах, которые произносят оба певца, отражается их творческая биография. Гезиод рассказывает о своем чудесном превращении из простого пастуха в поэта. Упомянутые выше музы (камены) находят «безвестного юношу» и вводят в свою «священную обитель».

Одический гимн Омира строится по сходной схеме. Приобщение Омира к поэзии происходит, правда, совсем по-другому, нежели у его соперника. «Орел-громометатель» возносит Омира на Олимп и наделяет божественным даром, символически отдавая ему во владение небо и землю. Омир так же, как и Гезиод, прославляет своего небесного покровителя, особенно подчеркивая его бессмертие: «Не знает смерти он…»[422]

И вот именно юный счастливый Гезиод, а не ветхий старец Омир, первым из двух участников состязания затрагивает тему неизбежной смерти. Внезапно, услышав слова Гезиода: «А мы, все смертные, все Паркам обреченны», — Омир откликается:

> Я приближаюся к мете сей неизбежной.
> Внемли, о юноша! Ты пел Труды и дни…
> Для старца ветхого уж кончились они!

С этой минуты поэты вступают в диалог, который начинается и заканчивается обсуждением только одной темы — смерти. Гезиод пророчески предсказывает Омиру его дальнейшую судьбу: «всевидящий слепец» обречен на вечные скитания и нищету. Здесь впервые возникает тема рока, тяготеющего над поэтом-страдальцем. «Кончить дни» ему предстоит в печалях, проклиная

тот час, когда он появился на свет. Эта квазисмерть не минует Омира, несмотря на тот поэтический дар, которым наделяют его вечные боги. Творчество, поэзия, способность созерцать «заоблачны чертоги» ничего не изменяют и ни от чего не спасают.

Омир вторит поэту-сопернику. В его речи та же мысль выражена еще более отчетливо:

Певец! в устах твоих поэзии прелестной
Сладчайший Ольмия благоухает мед.
Но… Муз любимый жрец!.. страшись руки злодейской,
Страшись любви, страшись Эвбеи берегов;
Твой близок час: увы! тебя Зевес Немейской
Как жертву славную готовит для врагов.

Не подвергается сомнению гениальность Гезиода и его избранность музами. Жертва названа *славной* именно вследствие божественной одаренности Гезиода, при жизни завоевавшего славу первого поэта. Но и ему надо опасаться «руки злодейской» и готовиться к смерти. Сам Зевес — добровольный участник этого страшного жертвоприношения.

Поэтический дар посылается и Гезиоду, и Омиру бессмертными богами, одновременно обрекающими своих избранников на страдания и конечную смерть. И один, и другой поэт, наделенные способностью провидеть будущее, знают свою дальнейшую судьбу и не обманываются рукоплесканиями народа. «Счастье» Гезиода состоит всего лишь в способности забыть на время о неизбежном и отдаться мгновенной радости одержанной в состязании победы:

Счастливый Гезиод в награду получил
За песни, мирною Каменой вдохновенны,
Сосуды сребряны, треножник позлащенный
И черного овна, красу веселых стад.
За ним, пред ним сыны ахейские, как волны,
На край ристалища обширного спешат,
Где победитель сам, благоговенья полный,
При возлияниях, овна младую кровь
Довременно богам подземным посвящает,
И Музам светлые сосуды предлагает,
Как дар, усердный дар певца, за их любовь.

Омир — страдалец, он не может отвлечься от своего трагического знания ни на минуту, его спасение в стоицизме, в

способности быть «царем разгневанной судьбы»:

> До самой старости преследуемый роком.
> Но духом царь, не раб разгневанной судьбы,
> Омир скрывается от суетной толпы,
> Снедая грусть свою в молчании глубоком.

Если говорить о соотнесенности этой элегии с биографией Батюшкова, то кажется несомненной попытка поэта в 1817 году строить свое бытовое поведение в соответствии с образом Омира — а ведь раньше он делал это по модели Гезиода. Батюшков «прошлый» вступал в состязание с Батюшковым «нынешним».

Последняя часть элегии «Гезиод и Омир…» посвящена обозначенной в начале стихотворения теме взаимоотношений поэта и «суетной толпы». Внутренний разлад между певцами и внимающими им слушателями очевиден: подумав о скорой и неизбежной смерти, поэты, по сути, прекращают состязание, в котором победы быть не может. Их не разделяет вражда, напротив, они едины не только во взаимном восхищении творчеством друг друга, но и в своем трагическом восприятии жизни. Молчание прерывается аплодисментами ничего не понимающей толпы: «Умолкли. Облако печали / Покрыло очи их… *народ рукоплескал».* Народ не понимает происходящего — он рукоплещет, когда гимны поэтов достигают высшего накала, связанного с мучительной для них темой.

Победа Гезиода объясняется автором случайностью — слабый царь Халкиды был воспитан «средь мира», поэтому он не может оценить по достоинству «высокие гимны бессмертного Омира». Слабость царя (ср. с выражением «царь разгневанной судьбы», употребленным применительно к Омиру) проявляется прежде всего в неумении быть объективным — ни один из участников состязания не должен был получить пальму первенства, потому что оба поэта конгениальны. Посмотрим теперь, как описывается торжество победителя. Гезиод назван Батюшковым «счастливым», это надо понимать двояко — он счастлив своей победой и удачлив от природы, он баловень судьбы. Однако мы уже знаем, что именно готовит в скором будущем судьба своему любимцу. В части, посвященной ликованию Гезиода, содержится как минимум два авторских намека на его гибель. Получив награду, Гезиод хочет совершить жертвоприношения богам, даровавшим ему победу. Народ сопровождает его: «За ним, пред ним сыны ахейские, как волны, / На край ристалища обширного спешат…» Обступающие юношу со всех сторон волны народа должны напомнить читателю о других волнах — Эвбеи, на берегах

которой Гезиод будет вскоре злодейски убит. Кроме того, Батюшков как бы проговаривается, еще раз намекая на то, что удачливость молодого поэта — химера. Победитель «овна младую кровь / *Довременно* богам подземным посвящает…». Не вызывает сомнения, что упомянутые подземные боги — это боги Аида, мрачного царства мертвых. Гезиод довременно, то есть заранее приносит жертвы Аиду, втайне зная, что срок его земной жизни истекает.

В отличие от Гезиода Омир не в состоянии даже на мгновение забыться. Он предпочитает скрываться, «снедая грусть свою в молчании глубоком» — творчество невозможно, когда оно не встречает понимания. Единственный близкий человек для «всевидящего слепца» — это поводырь, который, «как сын усердный», водит его «из края в край» (снова повторяется этот оборот — ср.: «пройдя из края в край гостеприимный мир»). Оба они не находят себе пристанища: отвергнутый певец и «убогий сирота» равно отчуждены от мира, одиноки и бесприютны. И собственно то, что Омир остается «царем, а не рабом разгневанной судьбы», ровно ничего в его мучительном существовании не меняет.

Примечательно, что последняя строка элегии, которой не было в оригинале Мильвуа[423] и которую Батюшков дописал самовольно, совпадает по размеру с последней строкой составленного им прозаического примечания. Говоря об отсутствии для Омира пристанища в Элладе, Батюшков задает риторический вопрос: «А где найдут его талант и нищета?» Ответ прочитывается в заключительной фразе примечания: «Нам Музы дорого таланты продают!» Неизбежная плата за талант — счастье, покой, достаток, больше того, жизнь поэта. Омир отвергнут именно потому, что гениален. Это касается и Гезиода, которому тоже придется дорого заплатить за божественный дар. Возможно, именно поэтому о гибели Гезиода Батюшков подробно рассказывает в примечании к своей элегии: «Жрица дельфийская предвещала Гезиоду кончину его; предвещание сбылось. Молодые люди, полагая, что Гезиод соблазнил сестру их, убили его на берегах Эвбеи, посвященных Юпитеру Немейскому». Итак, поэзия не только бессильна изменить мир, избавить поэта от страданий, спасти от страха смерти — она сама оказывается причиной его страданий. Неслучайно Батюшков использует в своей заключительной формуле местоимение *мы: «Нам* Музы дорого таланты продают!» — подчеркивая этим обобщающий характер своих неутешительных выводов. К этому синклиту поэтов-мучеников, в который, без сомнения, включены Омир, Гезиод и сам Батюшков, примыкает еще и автор французской элегии «Спор

Гезиода с Омиром» — Шарль Юбер Мильвуа. Его, как и положено по закону «разгневанной судьбы», тоже настигла ранняя гибель — рассказом об этом начинается батюшковское примечание к стихотворению: «Эта элегия переведена из Мильвуа, *одного из лучших французских стихотворцев* нашего времени. *Он скончался в прошлом годе, в цветущей молодости.* Французские музы долго будут оплакивать преждевременную его кончину: *истинные таланты* ныне редки в отечестве Расина». В этом фрагменте бросаются в глаза многократные упоминания о выдающемся таланте Мильвуа и о его смерти, обсуждение которой кажется совершенно излишним при представлении читателям автора оригинала. Однако примечание Батюшкова несет в общей композиции элегии немаловажную смысловую нагрузку — поэт намеренно подчеркивает здесь мотив обреченности гения.

Вот какой текст должен был заменить портрет Батюшкова в издании его «Опытов…».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I
«…Долго ль проживу — не знаю»

Мысль о неизбежной трагической судьбе поэта была выражена в элегиях 1816–1817 годов, но это была далеко не только поэтическая мысль. Убеждение, что несчастье — удел истинного поэта, в это время становится жизненной философией Батюшкова. С июля 1816 года, когда здоровье его всерьез и надолго расстроилось, он жил в постоянном предощущении конца. Тема близкой смерти появляется почти в каждом письме друзьям, иногда в серьезном изводе, иногда — в полушутливом. Но надо знать Батюшкова, чтобы за его шутками разглядеть неподдельный страх и отчаянные усилия борьбы. В. Л. Пушкину он пишет в письме несколько забавных экспромтов, один из которых в сниженном варианте представляет все тот же тезис: истинный поэт не имеет права на счастье:

Меня преследует судьба.
Как будто я талант имею!
Она, известно вам, слепа;
Но я в глаза ей молвить смею:
«Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор;
Меня в календаре в числе счастливцев нет,
Я… отставной асессор!»[424]

Обратим внимание, к слову, что последовательность высказываний, частично размер и даже лексика в известном стихотворении А. С. Пушкина «Моя родословная» очень близко воспроизводят приведенный батюшковский текст. Понятно, он не был опубликован и молодой Пушкин мог быть знаком с ним только через посредство своего дяди, к которому была адресована шутка:

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом:
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,

Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Из Москвы Батюшков в сильнейшие морозы в декабре 1816 года приехал в Даниловское и провел с отцом около двух недель. Дом был плохо протоплен, Николай Львович страдал подагрой, сам Батюшков чувствовал себя больным, но до начала января не мог вырваться в уютное приготовленное для него хантоновское имение. Единственным способом победить постоянное недомогание было творчество — подготовка «Опытов в стихах и прозе», работа над старыми произведениями, создание новых. Печальная судьба его героев сливалась с личной судьбой: «Я начал „Смерть Тасса“. — Элегия. Стихов до 150 написано. Постараюсь кончить до своей смерти. <…> Но шутки в сторону, я скоро впаду в чахотку. Грудь у меня исчезает; нога болит. Умираю… умер!»[425] Но даже работается с трудом, потому что физическое состояние не всегда позволяет писать. «… Переписывать не могу, — жалуется Батюшков Вяземскому. — Боль в груди отрывает меня от письменного стола, и это пишу стоя. Как, и стоя писать?.. Нога болит. Лежа не могу, а писать хочется. Изобретите новый способ вы, люди умные»[426]. Целый букет болезней сопровождает Батюшкова так настойчиво, что он начинает ими мерить течение своей жизни и планы на будущее сверяет прежде всего с состоянием своего здоровья: «Говорят, что я непостоянен… Не правда… Господа! посмотрите на ногу и замолчите! Вот около года…»[427] К концу лета Батюшков решает покинуть деревню, но вовсе не потому что истосковался по столичной жизни: «Скоро я отправлюсь в Петербург против желания моего; приходит осень, я болен, лекарей здесь нет»[428]. Перед отъездом еще две недели Батюшков провел в Даниловском у отца. Николай Львович тоже болел, и состояние его вызывало опасения. Самым печальным было то обстоятельство, что Даниловское было описано и подлежало продаже. Единственным способом спасти имение отца могло быть денежное вложение, средств на которое у Батюшкова не имелось. Поразмыслив, он решил пожертвовать частью собственных имений, чтобы спасти отцовское. Вероятно, такое решение было принято не только и не столько ради Николая Львовича, сколько ради его малолетних детей Юлии и Помпея, которые в случае продажи имения за долги оставались без всякой собственности. 24 августа 1817 года Батюшков приехал в Петербург.

II

«…Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна»

Несмотря на то, что недомогание Батюшкова продолжалось, столичная атмосфера, во всяком случае на время, вырвала его из грустных мыслей. Литературная жизнь кипела. В Петербурге в это время оказался Жуковский, который только-только вступил в новую должность — стал учителем русской словесности будущей императрицы Александры Федоровны, жены великого князя Николая Павловича. «Он очень мил, — сообщал Батюшков Вяземскому, — сегодня пудрит голову à blanc[429], надевает шпагу и пр., et tout le costume d'utchitel[430], а вчера мы с ним смеялись до надсаду»[431]. В начале осени в Петербург переехал из Царского Села Карамзин и поселился в верхнем этаже дома Е. Ф. Муравьевой на Фонтанке, став самым близким соседом Батюшкова[432]. У Карамзина Батюшков встречается не только с друзьями-литераторами, но и с крупнейшими государственными сановниками. В частности, там он познакомился с Н. Н. Новосильцевым, в канцелярии которого недавно получил место Вяземский. Новосильцев в это время был представителем русского императора при совете, управляющим Царством Польским. И Вяземский собирался ехать в Варшаву. Для Батюшкова пример поучительный: Вяземский, уже некоторое время испытывавший материальные затруднения, отчасти вызванные его собственным образом жизни, решился пойти на государственную службу. Батюшков, который едва перебивался своими скудными доходами с имений, до сих пор никакого положительного решения на этот счет не принял. Возможно, новый поворот в жизни Вяземского определил и его собственный выбор — Батюшков обратился за содействием к А. И. Тургеневу и Северину. Это произошло практически сразу по приезде в Петербург, но, как всегда случалось в карьере Батюшкова, хлопоты затягивались. Собственно, его план был тем же, что и в далеком 1810 году, когда впервые возникла мысль о дипломатической службе в Италии. Теперь надежда на возможное устройство в русскую миссию в Неаполе становится самой животрепещущей и пульсирует в каждом его письме. «Если удастся некоторый план, то я отправлюсь в полуденные края; но об этом еще не говори, прошу тебя; не говори ни слова»[433], — заклинает он сестру, словно суеверно боится сглазить. Однако существует и запасной вариант. Батюшков, привыкший ко всякого рода неудачам, заранее его приготовил: если поездка в Италию не удастся, то он отправится поправлять здоровье в Крым, в благословенную Тавриду. Одним словом, на уме у Батюшкова путешествие.

Настроение его, по всей видимости, довольно бодрое и даже исполненное надежд на будущее, несмотря на продолжающиеся болезни. Во всяком случае, тема скорой смерти совершенно исчезает из его писем. Сестре он пишет: «Может быть, но это пусть между нами; я женюсь, только не на той особе, которую ты знаешь. Это одно предположение. Вернее кажется путешествие. Если не дадут способов ехать в Италию, то я отправлюсь в феврале в Тавриду»[434]. Итак, Батюшков вновь планирует жениться, предметом его внимания на сей раз стала высокообразованная и титулованная дама — Олимпиада Петровна Шишкина, близкая родственница Д. Н. Блудова. В бытность свою фрейлиной великой княгини Екатерины Павловны, она жила вместе с ее двором в Твери, куда часто наезжал Карамзин, и под его влиянием занималась сочинительством. «После смерти принца Ольденбургского и отъезда Екатерины Павловны из России Шишкина перешла к большому двору и проводила все время у своего двоюродного брата, Д. Н. Блудова, где в кругу литераторов развилась в ней еще более страсть к литературе, — писал Е. П. Ковалевский. — Батюшков был к ней неравнодушен, хотя она была не хороша собою. <…> Блудовы любили ее как родную сестру. Это была пламенная, чистая, исполненная добра и привязанности к друзьям душа»[435]. Неизвестно, насколько сильно был увлечен Батюшков начинающей писательницей, но больше никаких упоминаний о предполагаемой женитьбе в его письмах мы не встречаем.

К этому же времени относится короткое, но выразительное описание Батюшкова, оставленное дочерью Д. Н. Блудова Анной, которая была еще ребенком, но внимательно присматривалась к друзьям и посетителям родительского дома: «Образ Батюшкова неопределенно, туманно рисуется передо мною лишь однажды в той же голубой гостиной: небольшого росту, молодой красивый человек, с нежными чертами, мягкими волнистыми русыми волосами и с странным взглядом разбегающихся глаз…»[436]

Как мы уже упоминали, в августе Батюшков впервые посетил заседание «Арзамаса», но и помимо всяких заседаний арзамасский контекст прочно вошел в его эпистолярий. Фрагменты некоторых писем требуют специальной расшифровки, без которой остаются непонятны современному читателю: «Северин мелькнул и исчез. Остается здесь Арфа (А. И. Тургенев. — *А. С.-К.*). Душу ее можно сравнить с Аретузою, которая, протекая посреди горькой стихии, не утратила своей ясности и сладости природной: посреди шума и суеты всяческой Тургенев день ото дня милее становится. Блудов — ослепительный фейерверк ума. В Арзамасе весело. Говорят: станем трудиться —

и никто ничего не делает. Плещеев смешит до надсаду. Карамзины здоровы. Поклонись Гусю Вот я Вас (В. Л. Пушкину. — *А. С.-К.)*. <…> Скажи Северину, что его принцесса здорова и, кажется, изменила ему для меня. Блудов называет ее очень забавно псом Резвого Кота (речь идет о собаке Северина, который в „Арзамасе“ носил имя Резвый Кот. — *А. С.-К.)*»[437].

Надо заметить, что осень 1817 года стала тем временем, когда Батюшков впервые явственно ощутил признание. Вторая книга «Опытов в стихах и прозе» вышла в свет, расходиться стала хорошо, вызывала всеобщее одобрение и интерес. Батюшков рассылал экземпляры и получал ободряющие отзывы. Его мрачные и опасливые прогнозы не оправдывались. 18 ноября 1817 года Оленин откликнулся на просьбу Батюшкова и в уважение трудов, «делающих честь нашей отечественной словесности»[438], принял его на должность «почетного библиотекаря» Императорской публичной библиотеки. Эта служба не давала никакого дохода, но признание заслуг перед отечественной словесностью что-то да значило.

В Петербурге Батюшков не устает заниматься делами по имению, которое он неотложно вынужден продавать, чтобы выкупить отцовское Даниловское. Судьба последнего висела на волоске — 10 февраля 1818 года были назначены торги. В связи с этим или просто движимый родственными чувствами Батюшков посещает мужа своей покойной сестры Анны Николаевны — Абрама Ильича Гревенса, а также племянника Гришу. Пройдет совсем немного времени, и Г. А. Гревенс станет опекуном душевнобольного дяди, а его семья — родным домом Батюшкова до самой его смерти. Но пока Батюшков еще вполне дееспособен и изо всех сил старается устроить дела и успокоить отца, состояние которого к концу осени заметно ухудшается. Вырваться из Петербурга и прилететь в Даниловское, как о том просит сестра, Батюшков не может и не хочет: здоровье, хлопоты о продаже имений, другие дела ограничивают его свободу передвижений. К тому же он не всегда понимает, насколько серьезны обстоятельства, требующие его присутствия в деревне, или это простая прихоть родных; почта идет небыстро, и срочные сообщения Александры Николаевны приходят с опозданием относительно реального времени. Очевидно, что для Батюшкова было ударом, когда он узнал, что 24 ноября 1817 года в Даниловском умер отец. Выехать сразу и поспеть на похороны он не сумел, но все же в начале декабря «пьяный от холоду, забот и усталости»[439] прибыл в Даниловское, чтобы решить неотложные дела. Самыми неотложными делами было устройство сестры Юленьки и «маленького» — брата Помпея. И тут Батюшков

проявляет чудеса заботливости и практической сметки. Уже весной 1818 года он специально отправляется в Москву, чтобы договориться с директором Московской губернской гимназии П. М. Дружининым[440] о приеме брата, внимательно изучает условия проживания и просит сестру: «Если тебе нельзя, то пришли его в коляске на своих, с людьми надежными; вели им остановиться на хорошем постоялом дворе и отыскать меня в доме Московской гимназии у директора оной Петра Михайловича Дружинина. <…> А тебе советую проводить Помпея до Ярославля и там пожить с сестрою (Юлия жила в пансионе в городе Ярославле. — *А. С.-К.)* или взять ее в деревню до тех пор, пока не устроятся их дела. Необходимо ей узнать вас и привыкнуть к вам. <…> О деньгах за пансион не беспокойся: я заплачу за полгода…»[441] Как уже упоминалось, именно благодарной памяти Помпея Батюшкова мы обязаны подробной биографией (Л. Н. Майкова) и первым собранием сочинений его брата. Без этого первоначального и очень качественного сбора материалов многие наши сегодняшние выводы были бы невозможны.

Вернувшись в Петербург в начале января 1818 года, Батюшков с удвоенной энергией бросился устраивать свою карьеру. Он обратился за помощью к Жуковскому, чтобы тот… поторопил Северина. Дело, как обычно, приобретало затяжной характер, а ждать Батюшков был уже не в состоянии: «Как ждать шесть месяцев такой безделицы или отказа?! Это со мной только случиться может. Пусть откажут, только скорее»[442]. Помимо хлопот об имениях и пока безуспешных попыток устроиться на службу, у него есть и литературная работа. По просьбе С. С. Уварова он делает поэтические переводы стихотворений из греческой антологии. Сам Уваров написал вступительную статью и предоставил французские переводы-подстрочники. Чуть позже Д. В. Дашков выпустил в свет эти материалы в виде небольшой книжки «О греческой антологии», снабдив ее мистифицирующим предисловием, в котором упоминалось об авторах как о «беспечных провинциалах», незнакомых со славой. Переводы были подписаны первыми буквами арзамасских имен Уварова и Батюшкова — «Ст» и «А», их настоящие имена нигде не раскрывались. Издание получилось вполне в арзамасском духе, однако качество сделанных Батюшковым переводов было настолько высоким, что позволяет говорить о реализации положительной программы «Арзамаса».

Батюшков как переводчик был почти сразу узнан[443]. Его переводы из антологии стали первым шагом в создании нового для русской поэзии антологического жанра. Среди них несколько

стихотворений любовного, почти эротического содержания, живо напоминающих прежнее творчество «русского Парни», виртуозно владеющего стихом:

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили…
О радость! Здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девический оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы.
Здесь все развалины роскошного убора.
Свидетели любви и счастья Никагора!

Но есть и серьезные тексты, которые были ближе Батюшкову нынешнему и на которые он ориентировался чуть позже, в своем последнем цикле «Подражания древним»:

С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна.
О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!

III
«Одна Италия может оторвать меня от Тавриды…»

В феврале Батюшков получил от Северина неутешительные известия относительно устройства своей карьеры. А. И. Тургенев сообщал князю Вяземскому: «Северина письмо огорчило его жестоко. Он потерял шесть месяцев в тщетных ожиданиях, без коих, может быть, успел бы встретить весну под лучшим небом. Он решается продать имение и ехать на свой счет для того, чтобы возвратиться сюда здоровым. У меня бродит в голове новый план для него; но не знаю, созреет ли, и будут ли благоприятствовать обстоятельства для приведения его в действие. Доброй воли недостаточно. Иначе, в сию минуту всю устремил бы я только в пользу Батюшкова, которого сохранить должно и для приятелей, и для поэзии»[444]. Батюшков тем временем решил оставить столицу и отправиться к Черному морю. Здоровье в Петербурге заметно не поправлялось, скорее поэт просто привык к постоянному недомоганию. Мысль о купании в морской воде

казалась ему спасительной. Сезон должен был вот-вот начаться, и тянуть дальше время было безрассудно. Батюшков подал Оленину формальную просьбу об отпуске и к ней присовокупил предложение отыскать для библиотеки рукописи или другие древности «на берегах Черного моря, в местах, исполненных воспоминаний исторических»[445]. Параллельно поэт начал сбор материалов о Крыме, взял у Гнедича трагедию Еврипида «Ифигения в Тавриде», попросил у него еще несколько книг: сочинение ученого К. И. Габлица о Тавриде[446], описание Крыма А. С. Нарушевича[447], даже «Путешествие в Малороссию» князя Шаликова — правда, с оговоркой, что вернет сразу, если не понравится. Предварительные представления Батюшкова о Крыме делились между медицинскими и культурными: «Я оставляю Петербург: еду в Крым купаться в Черном море в виду храма Ифигении. Море лечит все болезни, говорит Эврипид; вылечит ли меня, сомневаюсь. Как бы то ни было, намерен провести шесть месяцев в Тавриде»[448]. Батюшков выехал из Петербурга в середине мая.

По пути заехал в Москву для определения брата в гимназию и задержался в старой столице на целый месяц. Понуждаемый Жуковским, именно в Москве Батюшков предпринял самые активные действия для получения желаемой должности — он написал письмо императору. Вернее, не сам написал, а подчинился воле Жуковского, составившего от лица Батюшкова необходимый текст прошения, которое было незамедлительно переслано А. И. Тургеневу, взявшему на себя хлопоты по устройству Батюшкова и уже известившему о нем министра иностранных дел графа И. А. Каподистрия. Письмо содержало краткое описание служебной биографии Батюшкова и заканчивалось следующими словами: «Желаю быть причислен к Министерству Иностранных Дел и назначен к одной из Миссий в Италии, которой климат необходим для восстановления моего здоровья, расстроенного раною и трудным Финляндским походом»[449]. Попутно Батюшков давал пояснения Тургеневу: он просил придворного чина камер-юнкера, который, конечно, не соответствовал его статусу коллежского асессора по Табели о рангах. Но повышение Батюшков считал справедливым, поскольку при отставке его явно обошли чином. Однако чином он готов был пожертвовать, главным для него оставалось жалованье — «и чем более, тем лучше»[450]. Батюшков надеялся на сумму около шести тысяч рублей. Третьим пунктом был необходимый досуг — свобода. Важным представлялось для Батюшкова и место службы — «верьте, что всё приму с благодарностию, даже место пономаря при неаполитанской миссии»[451]. Однако дальнейшие действия

Батюшкова были исполнены противоречий.

Отсылая прошение императору, Жуковский настоятельно советовал ему задержаться в Москве и ждать письма от Тургенева. Батюшков колебался: «Не знаю, останусь ли здесь до 25-го (июня. — *А. С.-К.),* Жуковский решит». Жуковский ниже приписал: «Останется. Жуковский»[452]. Однако практичный Жуковский ошибался — управлять действиями Батюшкова было очень трудно. Мысль о необходимости лечебных купаний в Черном море целиком заняла его воображение. И уже на следующий день Батюшков сообщал в письме Е. Ф. Муравьевой: «Жуковский советовал остаться и ожидать здесь ответа, на что я не согласился, ибо здоровье мое есть главное мое попечение». И далее: «Одна Италия может оторвать меня от Тавриды»[453]. Но уже через десять дней после отъезда настроение Батюшкова меняется. Он начал колебаться — стоит ли вернуться в Петербург или продолжать путешествие. Наконец, чаша весов склонилась в сторону Одессы. А. И. Тургеневу он пояснял: «Напишите: „приезжай“, и я, покинув все, через семь дней по получении письма Вашего явлюсь в Петербург. В ожидании оного стану купаться в море…»[454] Но главное решение касалось вожделенного Крыма — Италия все же взяла над ним верх. «В Тавриду не поеду, — пишет Батюшков, — доколе не решится судьба моя: туда надобно ехать со спокойным духом, без суетных надежд и желаний. <…> Но если бы Италия не удалась, то Крым в ненастное время осени будет моим убежищем, и бедные развалины обеих Херсонисов заменят мне развалины великолепного Рима…»[455]

Всю дорогу от Москвы в Малороссию его преследовали дожди, и размытая дорога вымотала его совершенно. В Москве Батюшков жил в доме своего кузена Никиты Муравьева, старшего сына Екатерины Федоровны, который принимал живейшее участие в обсуждении его будущей судьбы. Батюшков тоже особенно нежно любил его и почитал в сыне Михаила Никитича редкие душевные качества и таланты. «С ним провел я последние дни неразлучно, — сообщал поэт Е. Ф. Муравьевой, — и в первые виделся беспрестанно — и для вас и для себя, любезнейшая тетушка: для себя, ибо люблю его, как душу. Он вырастет Михаилом Никитичем, наш милый Никита. С этой стороны вы осчастливлены»[456]. Из Москвы в Одессу через Полтаву поэт отправился в компании Сергея Муравьева-Апостола, своего родственника и друга, разделившего с ним все превратности дороги. Сергея Батюшков рекомендовал Е. Ф. Муравьевой «как доброго, редко доброго молодого человека: излишняя чувствительность его единственный порок»[457]. Родной брат

Сергея, тоже друг и родственник Батюшкова, Матвей Муравьев-Апостол находился в это время в Полтаве, служил адъютантом малороссийского генерал-губернатора князя Н. Г. Репнина-Волконского. Младший из Апостолов, одиннадцатилетний Ипполит, фактически воспитанник Е. Ф. Муравьевой, год назад тяжело болел в Москве, и Батюшков ходил за больным как нянька. Заметим, что к лету 1818 года уже несколько месяцев функционировало тайное общество будущих декабристов — Союз благоденствия, организаторами которого были старшие Муравьевы-Апостолы, а одним из первых идеологов — Никита Муравьев. И можно только содрогнуться, заглянув на семь лет вперед, в то время, когда Батюшков уже перестанет воспринимать окружающий мир, и вспомнив, какая судьба ожидала его младших кузенов. Матвей Муравьев-Апостол, вместе со своим братом Сергеем ставший организатором восстания Черниговского полка, будет приговорен к пятнадцати годам каторги, за раскаяние милостиво замененной императором Николаем I высылкой на поселение. Девятнадцатилетний Ипполит, раненый во время восстания, покончит с собой, не желая сдаваться правительственным войскам. Никита Муравьев, волею судеб не участвовавший в восстании, но обвиненный на следствии, отправится в Сибирь на пятнадцатилетнюю каторгу и умрет там на поселении, не дожив до пятидесяти лет. Сергей Муравьев-Апостол будет повешен в числе пятерых декабристов.

Не столько по прямым высказываниям Батюшкова в письмах, сколько по их интонации и общему настроению можно с уверенностью сказать, что он не был посвящен в тайную жизнь братьев. Он предсказывал им прекрасное будущее и ни о каком готовящемся заговоре не подозревал.

В Одессе Батюшков остановился в доме своего старого знакомого по Каменцу графа Сен-При, который быстро познакомил его с одесским обществом и привел в итальянский театр. Театр, прежде всего по голосам своим, показался Батюшкову уж точно «лучше московского и едва ли не лучше петербургского»[458]. Как видим, образы Италии не оставляли Батюшкова ни на минуту. «Одесса, — сообщает он тетушке, — чудесный город, составленный из всех наций в мире, и наводнен итальянцами! Итальянцы пилят камни и мостят улицы: так их много!»[459] «Русской Италией» называет Батюшков гостеприимный южный город[460]. Одно из важных знакомств Батюшкова той поры — с княгиней З. А. Волконской, которая на время поселилась в Одессе и в дом которой Батюшков был введен. Косвенным образом З. А. Волконская тоже связала его с Италией, где она родилась и куда впоследствии вернулась, чтобы провести

в Риме 30 лет своей жизни. В начале 1821 года Батюшков встретится с ней в Риме.

Исполняя свои намерения, Батюшков стал купаться в море и однажды чуть не утонул, слишком далеко заплыв в бурную погоду. Вообще море было для него в новинку и произвело сильное впечатление, но особенно благотворного действия на его здоровье купания не имели. Немного успокоившись, Батюшков решил, что не будет большой беды, если он все же отправится в Крым; его манили «козловские грязи» — лечебные грязи города Гезлев, современной Евпатории. Погода в Одессе стояла жаркая, но Батюшков много гулял, даже в самый зной, восполняя, как делают многие северяне, привычный недостаток солнца и тепла.

По дороге в Одессу 10 июля Батюшков специально заехал на развалины Ольвии, древнегреческой колонии, основанной выходцами из Милета в начале VI века до н. э. Когда-то Ольвию посетил Геродот. Он сделал первое описание истории, географии и обычаев народов, которые в те времена населяли территорию Украины. С Геродотом в руках Батюшков исследовал развалины и получил истинное удовольствие от прикосновения к древности. В Ольвии он приобрел несколько ценных предметов для коллекции А. Н. Оленина и Библиотеки: найденный рыбаком греческий сосуд, колено трубы древнего водопровода, две медали. Кроме того, он зарисовал расположение города и его окрестностей, намереваясь использовать рисунки в качестве пояснений к собственным запискам об Ольвии, до нас не дошедшим. Наброски этих записей он хранил, намереваясь продолжать их, и отдельным альбомом отправил в Италию. Однако когда в мае 1819 года альбом был получен им в Неаполе, Батюшков совершенно охладел к этому труду. В Крыму Батюшков собирался продолжить свои исследования по части древности и собрать еще более богатый материал. Но в конце июля получил из Петербурга уведомление о том, что его прошение удовлетворено. Батюшков был зачислен сверх штата в русскую миссию в Неаполе, получил чин надворного советника — тот, который ему следовал еще год назад при выходе в отставку, и годовое жалованье в пять тысяч рублей. Проезд до Неаполя был тоже полностью оплачен.

Виновнику этого события и своему благодетелю А. И. Тургеневу Батюшков писал: «…Я уже занес было одну ногу в Крым, послезавтра хотел отправиться в Козлов: письмо ваше остановило меня. Итак, судьба моя решена, благодаря вам! Я уверен, что вы счастливее меня, сделав доброе дело. Для вас это праздник, подарок Провидения»[461]. А что же сам Батюшков? Что для него давно желанное назначение, которое означало конец безденежью и новые карьерные возможности, а кроме того,

сулило пребывание в прекрасной Италии с ее языком, культурой, природой, историей и всем прочим? Выражения особенной радости в письмах Батюшкова этой поры не заметно. Например, сестре о назначении он пишет крайне двойственно: «…Я, верь мне, за тебя и за сестер обрадовался и чину и месту, ибо знаю, что это вам приятно»[462]. А в письме А. И. Тургеневу высказывается в свойственной ему манере — характерное для Батюшкова смещение реальности в худшую сторону в его сознании уже произошло. Италия кажется ему уже не обетованной землей, а всего лишь местом с благоприятным климатом, где будет легче поправить ослабевшее здоровье: «Я знаю Италию, не побывав в ней. Там не найду счастия: его нигде нет; уверен даже, что буду грустить о снегах родины и о людях, мне драгоценных. Ни зрелище чудесной природы, ни чудеса искусства, ни величественные воспоминания не заменят для меня вас и тех, кого привык любить. Привык! Разумеете меня. Но первое условие: жить, а здесь холодно, и я умираю ежедневно. Вот почему я желал Италии и желаю»[463]. А. И. Тургенев, видимо, немного задетый такой, более чем спокойной, реакцией Батюшкова на полученное им не без труда назначение, иронически замечает в письме Вяземскому: «Начинает уже грустить и по снегам родины, которой еще не успел покинуть»[464]. А совсем перед отъездом Батюшков напишет Вяземскому: «Еду в Неаполь. Тургенев упек меня»[465]. Это настроение не было минутным: с каждым днем, который приближал его к отъезду, Батюшков все острее чувствовал, как любит то, что покидает. И как страшится того, что ожидает его в будущем. С дороги он писал Муравьевой: «Покидая вас, мне было очень грустно. Дорога и время ненастное усиливали печальные мысли, которые бродили в голове моей. <…> Неизвестность, когда, в какие времена и как возвращусь в отечество, печалила меня более всего»[466].

Батюшков хотел отправиться в Италию до наступления холодов, в течение сентября, но, понятное дело, задержался. Прибыв из Одессы в Москву в самом конце августа, он провел там три недели, после чего уехал в Хантоново, чтобы проститься с сестрами и отдать последние распоряжения по имению, продажу которого теперь решил отложить. Ну и, конечно, взять оброчные деньги, которые были необходимы как никогда, потому что предстояли огромные траты — Батюшков собирался покинуть Россию на четыре года по крайней мере. В середине октября он был уже в Петербурге, где, конечно, заболел, потому что холодная и слякотная осень, которой он так хотел избежать, уже наступила.

В прощальном письме Д. Н. Блудову Батюшков делает смотр арзамасскому сообществу, уже значительно рассеянному по лицу

земли. Среди прочих имен упомянут и младший Пушкин: «Сверчок начинает третью песню поэмы своей. Талант чудесный, редкий! вкус, остроумие, изобретение, веселость. Ариост в девятнадцать лет не мог бы писать лучше»[467]. По-прежнему сравнение с одним из первых итальянских поэтов для Батюшкова — самое авторитетное. Впоследствии имя Ариоста как-то привязывается в его сознании к Пушкину. «Просите Пушкина именем Ариоста выслать мне свою поэму, исполненную красот и — надежды…»[468] — напишет он через полгода из Неаполя. Но отношение к итальянской словесности начинает катастрофически расходиться в его сознании с отношением к Италии как таковой. В дальнейшем это расхождение только усилится.

19 ноября 1818 года в Царском Селе близкие друзья и родные простились с Батюшковым. А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Вчера проводили мы Батюшкова в Италию. Во втором часу, перед обедом, К. Ф. Муравьева с сыном и племянницею, Жуковский, Пушкин, Гнедич, Лунин, барон Шиллинг и я отправились в Царское Село, где ожидал нас хороший обед и батарея шампанского. Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили. Пушкин написал impromptu, которого послать нельзя, и в девять часов вечера усадили своего милого вояжера и с чувством долгой разлуки обняли его и надолго простились. Он поминал о тебе и велел тебе кланяться. Через Варшаву он не поедет. Жаль за тебя и за него»[469].

IV
«…Не в Италии живут сердцем»

С самого начала этого путешествия начались некоторые странности, которым трудно найти объяснение. Очевидно, они были связаны с постепенно ухудшающимся нервным состоянием Батюшкова, хотя до поры до времени эти странности не выходили за рамки общечеловеческих. На одну из них указывает Тургенев. Незадолго до отъезда из России Батюшков планировал навестить Вяземского в Варшаве, собираясь быть там проездом, просил «приготовить ему конурку»[470], но потом, видимо, отказался от этой мысли, решив спрямить путь. Вяземский жаловался Тургеневу: «Отчего же этот Батюшков не едет через Варшаву? Тут уже не Варшава на карте, а я. Неужели я не стою каких-нибудь верст?»[471] Возможно, эти обстоятельства стали причиной размолвки между друзьями, следствием которой явилось полнейшее молчание Батюшкова — из Италии он ни одного письма Вяземскому не написал. Или письма эти до нас не дошли.

По дороге в Италию Батюшков задержался на пару недель в

Вене, где познакомился с графом Каподистрия, сыгравшим столь важную роль в его назначении. «Из речей его я заметил, что Карамзины ему говорили обо мне с желанием быть мне полезными, что очень мне было приятно»[472]. Это замечание неслучайно. Воспоминания о семействе Карамзиных — теперь одни из самых дорогих для Батюшкова. Все последнее время в Петербурге он жил с ними под одной крышей и стал совершенно домашним человеком. «Историю» Карамзина Батюшков не выпускал из рук до самого своего отъезда и отзывался о ней с высочайшими похвалами. Екатерине Андреевне Карамзиной он подобрал и послал в подарок из-за границы соломенную шляпку, о доставке которой в срок чрезвычайно заботился. Маем 1819 года датируется его теплое, почти родственное письмо Карамзину, в котором поэт признается: «…Не в Италии живут сердцем. Я угадывал это, покидая Россию и все, что имею драгоценного, и потому-то мне было так грустно с Вами расставаться»[473]. Карамзин живо откликнулся на эти сердечные строки: «Любезнейший Константин Николаевич, хотя и поздно, но тем не менее искренно благодарю вас за ваше дружеское письмо, которое мы, друзья ваши, несколько раз читали с живейшим удовольствием. Мыслим, чувствуем и наслаждаемся с вами. <… > Чем мы ближе к старости, тем более любим старину, тем красноречивее беседуем с нею, видя далее взад, нежели вперед. А вас люблю еще более старины, и всех памятников, между которыми вы гуляете телом и душею…»[474] Далее Карамзин переходил к делам творческим и высказывал надежду на очередные плоды поэтического гения Батюшкова, предрекая ему новый расцвет: «Зрейте, укрепляйтесь чувством, которое выше разума, хотя и любезного в любезных: оно есть душа души; светить и греть в самую глубокую осень жизни. Пишите, стихами ли, прозою ли, только с чувством: все будет ново и сильно. Надеюсь, что теперь уже замолкли ваши жалобы на здоровье; что оно уже цветет, а плодом будет милое дитя с венком лавровым для родителя: поэма, какой не бывало на святой Руси! Так ли, мой добрый поэт? Говорю с улыбкою, но без шутки. Сохрани вас Бог еще хвалить лень, хотя бы и прекрасными стихами! Напишите мне… Батюшкова, чтобы я видел его как в зеркале, со всеми природными красотами души его, в целом, не в отрывках; чтобы потомство узнало вас, как я вас знаю, и полюбило вас, как вас люблю. В таком случае соглашаюсь долго, долго ждать ответа на это письмо. Спрошу: что делает Батюшков? — Зачем не пишет ко мне из Неаполя? И если невидимый Гений шепнет мне на ухо: Батюшков трудится над чем-то бессмертным; то скажу: пусть его молчит с друзьями, лишь бы говорил с веками»[475]. Пророчествам

Карамзина, несмотря на всю искренность его пожеланий, не суждено было сбыться. Батюшков не только не написал в Неаполе поэмы, «какой не бывало на святой Руси», но не сумел поправить даже своего здоровья. Ответом на это исполненное внимания и любви послание Карамзина было молчание. Больше Батюшков не написал своему другу и учителю ни одного слова.

В письмах Батюшкова 1819 года встречаются странности стилистического плана, которые явственно указывают на некоторые изменения в его мировосприятии. Описывая уже ставшее привычным для него состояние тоски, Батюшков сбивается в рассуждениях: «Грустно бывает, ибо далеко жить от вас, редко получать известия, не знать, что вы делаете, здоровы ли вы, Никита, Саша, сестра, сестры, маленький брат и все друзья и добрые люди, это грустно, грустно, грустно, вы согласитесь со мной, что это не весело. Притом же со мной спорить не можно, car j'ai l'honneur d'être toujours d'un avis différent avec ceux, qui me font l'honnuer de me parler[476]. Это заметили и здесь многие люди»[477]. Бросается в глаза, что грусть по поводу разлуки с близкими и чрезмерное упорство в споре никакой причинно-следственной связи между собой не имеют. Это высказывание своей алогичностью скорее напоминает ход мыслей героя ненаписанных тогда еще «Записок сумасшедшего» или абсурдные силлогизмы «Носа» Н. В. Гоголя. Далее Батюшков как будто спохватывается и продолжает развивать новую тему: «Я знаю, что я не всегда прав, но знаю и то, что все ошибаются, начиная с Николая Михайловича, который очень часто сбивается с логической прямой линии». Допустим, пример Карамзина здесь кстати, поскольку нам известно об особенном уважении, с которым Батюшков к нему относился. Но следующая фраза должна была не слишком приятно изумить Муравьеву, привыкшую к совсем иным высказываниям племянника. «Сам Никита ваш, — пишет Батюшков о своем кузене, — иногда городит такую чепуху, что больно слушать»[478]. Никогда раньше Батюшков не позволял себе не только таких резких, но и вообще никаких критических слов по отношению к Никите Муравьеву. Наоборот, в письмах тетушке всегда лейтмотивом звучала тема умнейшего, рассудительного, образованного Никиты, «душою римлянина», достойного наследника отца, гордости своей матери, будущей надежды всей России.

Однако пока все эти странности поведения и высказываний Батюшкова — только эпизоды, фрагменты мозаики, соединившиеся в единое целое два года спустя.

Первые впечатления Батюшкова от Италии были противоречивыми. Он попал туда в начале поста, в самые дни

карнавала, который застал еще в Венеции. О его пребывании в этом городе нам практически ничего не известно. Три недели он провел в Риме. Вечный город поразил его, как поражает каждого иностранца, уникальным сочетанием древности и современности, обилием памятников и руин. И как каждый посетитель Рима Батюшков «сперва бродил, как угорелый, спешил все увидеть, все проглотить…», а потом стал обозначать «места для будущего приезда»[479]. «Рим — книга: кто прочитает ее! Рим похож на сии гиероглифы, которыми исписаны его обелиски. Можно угадать нечто, всего не прочитаешь» — в этой характеристике есть и признание необычайного исторического и культурного богатства той земли, в которой он оказался, и одновременно ощущение недостаточности собственных сил для освоения этого наследия. Но за первыми восторженными отзывами о Риме без всякого перерыва следовали другие, своей тональностью напоминавшие известную строчку Батюшкова: «Минутны странники, мы ходим по гробам». «Мы здесь ходим посреди развалин и на развалинах. Самый карнавал есть развалина сатурналий. <…> Здесь зло ходит об руку с добром. Здесь все состарилось: и ум, и сердце, и душа человеческая»[480]. Или еще более выразительно: «Чудесный, единственный город в мире, он есть кладбище вселенной»[481]. В Риме Батюшков исполнил одно из поручений Оленина, ставшего с 1817 года президентом Академии художеств, — он встретился с ее воспитанниками, жившими в Риме на пенсионе. Среди них были О. А. Кипренский, давний знакомый Батюшкова и член оленинского кружка, и С. Ф. Щедрин, художник-пейзажист, с которым Батюшков особенно тесно сошелся в Италии. Бедственное материальное положение русских художников в Италии поразило его: «…Плата, им положенная, так мала, так ничтожна, что едва они могут содержать себя на приличной ноге. Здесь лакей, камердинер получает более. Художник не должен быть в изобилии, но и нищета ему опасна»[482]. Со своей стороны, Батюшков пытается поддержать тех, кто ему особенно небезразличен: Щедрину он заказал картину с видом собора Сан-Джованни в Латерано. Несколько заказов при посредстве Батюшкова поступило и от великого князя Михаила Павловича, в это время находившегося в Риме и приблизившего к себе поэта.

В марте Батюшков был уже в Неаполе. Напомним, что именно Неаполь представлялся ему из России самой желанной точкой во всей Италии, именно в неаполитанскую миссию он просился на службу. Теперь Неаполь вовсе не нравится Батюшкову: город «длинен и неопрятен», с утра до вечера наполнен беспрерывным шумом и движением, с которыми Батюшков не может свыкнуться. Вместе с этим в Неаполе почти нет русских, и одиночество

начинает терзать его по вечерам, когда он остается один в своей комнате. Батюшков поселился на набережной Санта-Лючия, неподалеку от главного неаполитанского театра — Сан-Карло, здание которого отличалось необыкновенной пышностью. Хозяйка-француженка содержала квартиру в чистоте, но само место Батюшкову не нравилось: «…У окон моих вечная ярмонка, стук, и вопли, и крики, а в полдень (когда все улицы здесь пустые, как у нас в полночь) плескание волн и ветер. Напротив меня множество трактиров и купания морские. На улице едят и пьют, так как у вас на Крестовском, с тою только разницею, что если сложить шум всего Петербурга с шумом всей Москвы, то и тут еще это все ничего в сравнении со здешним»[483]. Недовольство городом, в который Батюшков так стремился, связывается и с местным климатом, оказавшимся не столь благоприятным для его здоровья: «Неаполь добыча всех ветров, и потому иногда бывает неприятен»[484].

Жалобы на недомогание появляются в его письмах практически сразу по прибытии в Италию, но не всегда понятно, что Батюшков имеет в виду — идет ли речь только о «распухшем горле» и лихорадке или он уже чувствует признаки приближающейся душевной болезни. Во всяком случае, с лета 1819 года в своих письмах он часто упоминает нервные заболевания, которым подвержены жители Неаполя. Батюшков несколько раз цитирует Торквато, который сказал, что в Неаполе жить весело. Цитирует, чтобы оспорить это утверждение: «Не всегда весело! Не могу привыкнуть к шуму на улице, к уединению в комнате. Днем весело бродить по набережной, осененной померанцами в цвету, но ввечеру не худо посидеть с друзьями у доброго огня и говорить все, что на сердце. В некоторые лета это может быть нуждою для образованного, мыслящего существа»[485]. Это ощущение не только не покинуло Батюшкова со временем, но еще более усилилось. Через два месяца он сообщал Уварову: «Какая земля! Верьте, она выше всех описаний — для того, кто любит историю, природу и поэзию; для того даже, кто жаден к грубым, чувственным наслаждениям, земля сия — рай небесный. Но ум, требующий пищи в настоящем, ум деятельный, здесь скоро завянет и погибнет. Сердце, живущее дружбой, замрет. Общество бесплодно, пусто»[486].

В июне в Неаполь перебрался Сильвестр Щедрин, которому великий князь заказал несколько картин с неаполитанскими видами. По приглашению Батюшкова Щедрин поселился в его квартире. Поэт, страдавший от одиночества, конечно, должен был обрадоваться такому соседству. Появился собеседник — соотечественник, человек искусства, понимающий его мысли,

умеющий глубоко чувствовать. Но в июльских письмах Батюшкова жалобы остаются неизменными: «В Неаполе, говорят, весело. Я давно веселья не знаю и в глаза. Одно удовольствие — книги. Но чтение меня утомляет, я уже не имею того внимания, с каким в старину мог читать даже и глупости. Осталась во мне какая-то жажда все знать, жажда, которую не в силах утолить. Все меня мучит, даже мое закоренелое невежество. Сколько времени потерянного! Но вечера здесь для меня очень бывают скучны. Общество здесь не по мне вовсе. Не с кем обменяться мыслями, не только чувствами»[487].

А что же красота неаполитанского пейзажа или разбросанные на каждом шагу свидетельства древней истории, неужели и для них Батюшков остается недоступен? Не совсем так. Но в его восприятии и под его пером все это приобретает странный оттенок. Дважды Батюшков взбирался на Везувий, который в это время проявлял некоторую активность, посетил Помпеи. И то и другое произвело на него сильное впечатление. Но и красоты итальянской природы, и «красноречивый прах» Помпеи Батюшков описывает амбивалентно: за выражениями восторга сразу следует интонация сожаления, разочарования, а то и зловещего ожидания. «…Везувий, наш сосед, готовится к извержению; говорят, в Портичи и в окрестных местах колодцы начинают высыхать: знак, по словам наблюдателей, что вулкан станет работать. Прелестная земля! Здесь бывают землетрясения, наводнения, извержение Везувия, с горящей лавой и с пеплом; здесь бывают притом пожары, повальные болезни, горячка. Целые горы срываются в море и горы выходят из моря; другие вдруг превращаются в огнедышащие. Здесь от болот или испарений земли волканический воздух заражается и рождает заразу: люди умирают — как мухи. Но зато здесь солнце вечное, пламенное, луна тихая и кроткая, и самый воздух, в котором таится смерть, благовонен и сладок!»[488] В планах Батюшкова было написать прозаическое произведение «Записки о древностях Неаполя», и, судя по всему, труд этот был начат, но никаких следов его до нас не дошло, равно как и римских записок, о которых Батюшков упоминал в первых своих письмах.

Батюшков посещает окрестности Неаполя. Так, чувствуя ухудшение здоровья, он отправился искать облегчения на остров Искию, где находились целебные минеральные источники. Оттуда Батюшков написал последнее письмо Жуковскому, полное поэтических ассоциаций: «…Передо мною в отдалении Сорренто — колыбель того человека, которому я обязан лучшими наслаждениями в жизни; потом Везувий, который ночью извергает тихое пламя, подобное факелу; высоты Неаполя,

увенчанные замками; потом Кумы, где странствовал Эней, или Вергилий; Байя, теперь печальная, некогда роскошная; Мизена, Пуццоли и в конце горизонта — гряды гор, отделяющих Кампанию от Абруцо и Апулии»[489]. Ниже Батюшков помешает строки, которые — осторожно выскажем это предположение — могли подать Жуковскому мысль к созданию одного из его стихотворных шедевров, отрывка «Невыразимое»: «Такие картины пристыдили бы твое воображение. Природа — великий поэт, и я радуюсь, что нахожу в сердце моем чувство для сих великих зрелищ; к несчастию, никогда не найду сил выразить то, что чувствую: для этого нужен ваш талант»[490]. Учтем при этом, что письмо Батюшкова датировано 1 августа, а «Невыразимое» Жуковский написал во второй половине того же месяца 1819 года:

Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью…
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..

Тема молчания, невозможности выразить окружающую красоту силой слова, вероятно, появилась в письме Батюшкова по личным причинам. Жуковскому он признается с горечью: «Посреди сих чудес, удивись перемене, которая во мне сделалась, я вовсе не могу писать стихов»[491]. Это было не совсем так. Как раз к 1819 году относятся два коротких стихотворения Батюшкова, которые теперь воспринимаются как шедевры его поэтического дара. Чудом сохранившиеся (Батюшков уничтожил многое из написанного им за границей), они могут свидетельствовать о том профессиональном уровне, которого достиг в Италии русский поэт. Одно из них посвящено полузатопленным руинам древнегреческого курортного города Байя Домиция, которые Батюшков посетил весной 1819 года и о которых упомянул в цитированном выше письме Жуковскому. Главная тональность этого стихотворения та же, что и других текстов Батюшкова об Италии — «кладбище вселенной»:

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы

При появлении Авроpиных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод.

В июле или августе Батюшков, как традиционно считается, сделал довольно точный перевод 178-й строфы 4-й песни «Паломничества Чайльд Гарольда» Байрона. 4-я песнь вышла по-английски в 1818 году и к августу 1819-го была переведена на итальянский. Вероятно, Батюшков воспользовался итальянским переводом[492]:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов
И как молчать об них — не знаю.

Этот отрывок был напечатан в 1828 году в журнале «Северные цветы». Справедливости ради надо заметить, что редактура, проведенная арзамасскими друзьями поэта (в том числе, очевидно, и Пушкиным), оказалась довольно значительной, так что окончательное совершенство текста нельзя отнести только на счет Батюшкова[493].

В июне в Неаполь прибыл глава миссии граф Штакельберг. Густав Оттович Штакельберг (или, как называет его Батюшков, Стакельберг) был потомственным и опытным дипломатом, его отец сделал дипломатическую карьеру при Екатерине Великой. С 1818 по 1835 год Г. О. Штакельберг занимал пост чрезвычайного посланника и полномочного министра в Неаполе. Так получилось, что Батюшков на несколько месяцев оказался чуть ли не единственным сотрудником канцелярии и был привязан к месту, даже намерение его поехать на остров Искию для

поправления здоровья встретило противодействие графа Штакельберга. Кроме того, властный и жесткий характер начальника привел Батюшкова в крайне раздраженное состояние. Одним словом, помимо глубоко личных переживаний Батюшкова добавились еще неблагоприятные внешние обстоятельства. На службе ему до сих пор везло. Все его начальники были людьми в высшей степени благожелательными по отношению к нему, и всех их он мог вспоминать с живой благодарностью. Штакельберг же был склонен строго исполнять свой долг и того же требовал от подчиненных. Кроме того, в Неаполе было неспокойно, и, возможно, он сам переживал не лучшие времена. В любом случае, поэт довольно скоро стал просить его об отпуске. Впоследствии историю взаимоотношений со Штакельбергом Батюшков подробно изложил в служебной записке К. В. Нессельроде: «Ряд тяжелых недомоганий, перенесенных мной во время моего продолжительного пребывания в Неаполе, вынудил меня многократно просить у моего начальника господина графа Стакельберга разрешения отправиться на воды в Германию. Но господин граф Стакельберг не пожелал дать мне такое разрешение, прежде чем, как он сказал, не будет иметь в своем распоряжении сотрудника, который возьмет на себя мои функции копииста. В то же время, поскольку состояние моего здоровья ухудшалось день ото дня, я был вынужден повторно заметить своему начальнику, что необходимость быть его единственным сотрудником при столь болезненном состоянии заставляет меня желать увольнения от службы. Граф Стакельберг тогда дал мне понять, что в существующих обстоятельствах подобная просьба будет сочтена неуместной в министерстве Его Императорского Величества, и мне пришлось предаться моей судьбе»[494].

Было ли это только недовольство начальником и страстное желание освободиться от его власти и одновременно — от полученной с таким трудом службы, странное для любого чиновника, делающего карьеру, и вполне характерное для Батюшкова? Или же действительно здоровье поэта ухудшалось не по дням, а по часам и он как за соломинку хватался за отпуск или отставку? Очевидно, нужно предположить второе.

Жалобы на болезни стали появляться в письмах Батюшкова, начиная с первых дней его пребывания в Риме: «…лихорадке было угодно остановить меня»[495]. В Неаполе продолжается то же самое, несмотря на весну и теплый климат: «Болезнь меня удерживает дома и здесь не покидает!»[496]; «Хвораю. Надеюсь, что лето избавит меня от этой простуды, а бани теплые в Искии с купаньем в морской воде… укрепят меня немного»[497]. Летом ситуация не улучшается: «…три недели сидел между четырех стен

с раздутым горлом»[498]. К концу лета Батюшков отчаялся поправить здоровье, состояние которого внушает ему опять только печальные мысли: «…Здоровье мое ветшает беспрестанно: ни солнце, ни воды минеральные, ни самая строгая диэта, ничто его не может исправить: оно, кажется, для меня погибло невозвратно. И грудь моя, которая меня до сих пор очень редко мучила, совершенно отказывается. Италия мне не помогает: здесь умираю от холоду, что же со мною будет на севере? Не смею и думать о возвращении»[499]. К августу Батюшкову становится совершенно ясно, что его план не удался. Италия не стала для него идеальным местом для поправления здоровья. Впрочем, мы видели, что Италия вообще разочаровала Батюшкова практически по всем статьям. Даже итальянский язык, который он знал и страстно любил за гармоническое звучание, оказывается не совсем таким, как он ожидал: «Этот язык один из труднейших в Европе: он удивительно богат, ибо может беспрестанно обогащаться латинским. Я перестал говорить на нем с тех пор, как я в Италии, хотя учусь беспрестанно. Не говорю, потому что совестно говорить худо, а говорить худо очень легко…»[500] Однако и возвращение в Россию представляется ему невозможным: «…здесь умираю от холоду, что же со мною будет на севере?» Ощущение полнейшей бесприютности, потери ориентиров, отсутствие жизненной перспективы, а, главное, может быть, — трагическое переживание собственной слабости, физической и творческой, — таково состояние Батюшкова в Италии, начиная с первых месяцев. Добавим сюда тоску по близким и друзьям, отчасти вынужденное, отчасти выбранное им самим одиночество, резкое расхождение с прямым начальником, редкие письма с родины. Осенью 1820 года С. Щедрин, деливший с Батюшковым кров, съезжает на другую квартиру. Родителям он сообщает: «Теперь я живу один, необходимость заставила меня оставить К. Н. Батюшкова, у которого мне нет хорошей комнаты для работы, а только что для спанья, и та была столь тесна, что негде было поместить моего скарбу. <…> Квартира сия хоть и довольно велика, но расположена по-итальянски, то есть все во двор, а на лицо только две небольшие комнаты, которые он сам занимает, да и те на солнце» [501]. Однако надо заметить, что Щедрин прожил в таких условиях с Батюшковым больше года и только теперь вдруг осознал, что они невозможны для работы. Очевидно, была и другая причина, о которой художник умалчивает. Скорее всего — изменившееся душевное состояние Батюшкова, ощутившего, что он забыт, что все прежние связи распались и остается только родственная нить, соединяющая его с сестрой Александрой и тетушкой Екатериной Федоровной. В

октябре 1819 года впервые в его письмах появляется упоминание о нервных болезнях, касающееся не вообще жителей Неаполя, а его самого. И одновременно — возникают настойчивые просьбы о скорейшей высылке денег. До сих пор Батюшков чувствовал, что в Италии он вполне обеспечен; в мае 1819 года он просил Е. Ф. Муравьеву положить на его имя некоторую сумму в банк из доходов с имения, «чтобы в случае нужды иметь всегда деньги»[502], но при этом замечал — «я не имею нужды в деньгах нимало». Однако через год ситуация в корне изменилась: «… Спешу написать к Вам несколько строк, любезная и почтенная тетушка, и возобновить мою просьбу о присылке мне 3000 р. оброчных денег за март. Вы меня этим чувствительно обязать изволите, ибо я начинаю чувствовать нужду в деньгах»[503]. Потребность в деньгах возникла, видимо, тогда, когда Батюшков осознал необходимость лечения. Неслучайно в своей служебной записке Нессельроде он упоминал о том, что просил у Штакельберга отпуск для поездки в Германию на воды. Пока же Батюшков получает только разрешение на перевод в Рим. 2 декабря 1820 года он адресует А. Я. Италинскому, главе римской миссии, прошение о продолжении службы под его началом и получает ласковое согласие. На время это развеивает его тягостное настроение, и он после долгого перерыва пишет Муравьевой: «Я переведен из Неаполя в Рим и был бы очень доволен моим положением, как доволен моим новым начальником, если бы здоровье мое исправилось. Но дурное его состояние мне докучает необыкновенным образом»[504]. Можно не сомневаться, что в начале 1821 года Батюшков имеет в виду уже не столько простудные, сколько нервные недуги, которые всё больше и больше дают о себе знать. Несмотря на то, что Италинский был как раз тем человеком, который мог пригреть и успокоить Батюшкова после его жестких разногласий со Штакельбергом, в Риме поэт не задержался. Весной он попросил отставки, но вместо нее пришел указ императора о повышении его жалованья. Раньше Батюшков, вероятно, обрадовался бы такому исходу, но теперь ему было не до материальных соображений — он чувствовал, что сходит с ума. В конце весны он самовольно покинул службу и отправился в Германию. Путь его лежал в чешско-немецкий город Теплиц, который с XV века славился своими минеральными фторовыми источниками. Теплицкие курорты специализировались на лечении нервных заболеваний. Батюшков провел там около трех месяцев. По свидетельству Блудова, встретившегося с ним летом 1821 года, он лечился ожесточенно, принимая по две ванны в день (температура воды в источниках достигала 40–45 градусов!),

всеми силами пытался победить болезнь.

Тем же летом Батюшков, видимо, почувствовавший временное улучшение, стал пересматривать стихотворный том «Опытов в стихах и прозе», обдумывая его переиздание. Он вычеркнул некоторые тексты, а на свободных листах вписал новые, созданные, видимо, тогда же. Это цикл из шести коротких пронумерованных стихотворений, получивших общее заглавие «Подражания древним» и как будто продолжающих тему греческой антологии. Среди них есть тексты, посвященные стойкости и самоотвержению человека (3; 5), призывающие к терпению и мужеству в преодолении треволнений бытия (6), есть даже стихи о вечно желанной и вечно недоступной любви (2), есть, конечно, и мысли о неотвратимости смерти и бренности земного счастья (1). Все эти темы решаются в спокойном духе рационального стоицизма:

Ты хочешь меду, сын? — так жала не страшись;
Венца победы? — смело к бою!
Ты перлов жаждешь? — так спустись
На дно, где крокодил зияет под водою.
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец,
Лишь смелым перлы, мед, иль гибель… иль венец.

Особняком стоит только одно стихотворение в этом цикле, которое выделяется из общего контекста нетрадиционной образностью, резкой трагической тональностью, приобретающей оттенок безысходности и отчаяния, и вместе с тем — необычайным мастерством стиха, делающим его настоящим шедевром батюшковской лирики. Это четвертый из шести фрагментов, входящих в «Подражания древним»:

Когда в страдании девица отойдет
И труп синеющий остынет, —
Напрасно на него любовь и амвру льет,
И облаком цветов окинет.
Бледна, как лилия в лазури васильков,
Как восковое изваянье;
Нет радости в цветах для вянущих перстов,
И суетно благоуханье.

Здесь нет ничего, что могло бы примирить со смертью, как, скажем, в первом фрагменте «Подражаний»:

Без смерти жизнь не жизнь: и что она? сосуд.
Где капля меду средь полыни…

Героиня стихотворения умирает «в страдании», ее тело автор называет страшно и просто — «синеющим трупом», подразумевая процесс естественного разложения. Единственное эстетически привлекательное сравнение умершей — с цветами, которыми близкие пытаются украсить ее тело, оказывается обманчивым. «Вянущие персты» (то есть подверженные разложению пальцы) не ощущают радости от цветов, которым тоже скоро предстоит увять. Целый комплекс ассоциаций порождается метафорой «девушка-цветок», столь характерной для батюшковской поэзии. Умершая сравнивается с белой лилией «в лазури васильков» (траурное сочетание, еще раз заставляющее читателя вспомнить о «синеющем трупе») и с «восковым изваяньем» (страшным кукольным подобием жизни). Сорванная лилия увядает моментально, точь-в-точь как подкошенная болезнью девушка. Полна отчаяния финальная строка о «суетности благоуханья» цветов, которое вскоре обернется смрадом разлагающейся плоти.

Вероятно, это страшное восьмистишие Батюшкова, написанное в уже несколько смещенной поэтике, выражает реальное авторское отношение к жизни и смерти в начале 1820-х годов. Батюшков сдался: его попытки повлиять через прекрасную поэзию на жизнь, сделать ее столь же гармоничной, как гармоничен язык его стихов, преодолеть с помощью возвышенных образов страх смерти потерпели неудачу. Эта неудача наиболее чувствительно сказалась на нем самом и его собственном восприятии мира.

«…Это как будто преддверие поэзии начала XX века…»[505] — заметил В. А. Кошелев о приведенном тексте. Нам бы, в свою очередь, хотелось отметить типологическую близость между стихотворением «Когда в страдании девица отойдет…» и заключительной сценой романа Ф. М. Достоевского «Идиот». Рогожин, убивший Настасью Филипповну, рассуждает о том, как избавиться от трупного смрада: «…Есть у матери горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух; думал перенести, да Пафнутьевна догадается… Купить разве, пукетами и цветами всю обложить? Да думаю, жалко будет, друг, в цветах-то!»[506] Замутненное страстями рогожинское сознание, ставшее предметом художественного изображения только через полвека, оказалось родственным и «певцу радости» Батюшкову.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I
Б<атюшко>в из Рима

Гроза разразилась в середине июля 1821 года. Повод для нее был ничтожный. В февральском номере журнала «Сын Отечества» за 1821 год, издаваемого Н. И. Гречем и А. Ф. Воейковым, появилось стихотворение без подписи, но с красноречивым названием «Б…в из Рима». Номер журнала был услужливо предложен Батюшкову одним из его русских знакомых в Теплице. От имени Батюшкова неизвестный автор обращался к читателям:

Напрасно — ветреный поэт —
Я вас покинул, други,
Забыв утехи юных лет
И милые заслуги!
Напрасно из страны отцов
Летел мечтой крылатой
В отчизну пламенных певцов
Петрарки и Торквато!
Напрасно по лугам брожу
Авзонии прелестной
И в сердце радости бужу,
Смотря на свод небесный!
Ах, неба чуждого красы
Для странника не милы,
Не веселы забав часы
И радости унылы!
Я слышу нежный звук речей
И милые приветы,
Я вижу голубых очей
Знакомые обеты:
Напрасно нега и любовь
Сулят мне упоенья —
Хладеет пламенная кровь
И вянут наслажденья.
Веселья и любви певец,
Я позабыл забавы;
Я снял свой миртовый венец
И дни влачу без славы.
Порой на Тибр склонивши взор,

Иль встретив Капитолий,
Я слышу дружеский укор,
Стыжусь забвенной доли…
Забьется сердце для войны,
Для прежней славной жизни,
И я из дальней стороны
Лечу в края отчизны!
Когда я возвращуся к вам,
Отечески Пенаты,
И снова жрец ваш, фимиам
Зажгу средь низкой хаты?
Храните меч забвенный мой
С цевницей одинокой!
Я весь дышу еще войной
И жизнию высокой.
А вы, о милые друзья,
Простите ли поэта?
Он видит чуждые поля
И бродит без привета.
Как петь ему в стране чужой?
Узрит поля родные —
И тронет в радости немой
Он струны золотые[507].

Как видим, незатейливый текст этого стихотворения состоит почти сплошь из тщательно подобранных цитат из поэзии Батюшкова, благодаря чему автор добивается кое-где итальянского звучания и легкости стиля, сравнимой с ранними опытами Батюшкова. Автором стихотворения был начинающий поэт П. А. Плетнев, друг Пушкина и будущий издатель «Евгения Онегина», адресат знаменитого «Посвящения». Батюшков не только не был с ним лично знаком, но, похоже, даже не знал о его существовании. Пером Плетнева двигало прежде всего стремление напомнить читателям о Батюшкове, молчавшем со времени своего отъезда из России. Однако отсутствие под стихотворением подписи давало читающей публике возможность приписать его самому Батюшкову. И хотя текст задумывался как своего рода панегирик, поэт без колебаний воспринял его как пасквиль.

Прочитав стихотворение Плетнева, Батюшков впервые с мая 1819 года написал письмо Гнедичу, начал его без всякого приветствия со слов, настолько странных и резких, что Гнедич, не зная подоплеки событий, должно быть, пришел в ужас: «Если бы

меня закидали эпиграммами при появлении моей книги, если бы явно напали на нее, даже на меня лично, то я, как автор, как гражданин, не столько бы был вправе негодовать. Негодую, ибо вижу систему зла и способ вредить верный, ибо он под личиною»[508]. Несомненно, что в этих строках содержится уже весь будущий диагноз Батюшкова — мания преследования, но, очевидно также, что Гнедичу это еще было совсем неясно.

Негодование Батюшкова обрушивается на издателей журнала «Сын Отечества», с которыми он был хорошо и близко знаком, но главной его мишенью остается неизвестный, но страстно ненавидимый им Плетнев, которого в полемическом порыве Батюшков презрительно называет Плетаевым. Причиной негодования Батюшкова было не столько качество текста[509][510], сколько его содержание. «Скажи им, — пишет он в возмущении Гнедичу, — что *мой прадед был не Анакреон*, а бригадир при Петре Первом, человек нрава крутого и твердый духом. Я родился не на берегах Двины, *и Плетаев, мой Плутарх, кажется, сам не из Афин.* <…> Скажи, Бога ради, зачем не пишет он биографии Державина? Он перевел Анакреона — следственно, он — прелюбодей; он славил вино, следственно — пьяница; он хвалил борцов и кулачные бои, ergo — буян; он написал оду „Бог“, ergo — безбожник. Такой способ очень легок. Фундамент прочный, и всякое дело мастера боится»[511].

Как видим, Батюшкова прежде всего бесит сам ракурс, который избирает Плетнев для изображения своего героя. Уже само определение поэта как «певца веселья и любви» должно было возмутить Батюшкова. Ведь его последние произведения, включенные в «Опыты…», как мы имели случай убедиться, были призваны доказать читателям, что он автор не только «безделок», но и серьезных философских стихов, по своей проблематике и стилистике далеких от легкой поэзии. И вдруг незнакомый поэту молодой стихотворец беззастенчиво изображает его именно «ветреным певцом» радости и любви. Причем пытается воспроизвести для этого собственно батюшковскую стилистику, используя его оригинальные поэтические формулы и образы, сохраняя характерное для творчества Батюшкова противопоставление бесплодной роскоши (в данном случае природы) и счастливой бедности. Более того, упоминает еще несколько характерных признаков, по которым читатели, откинув последние сомнения, должны узнать, кто перед ними: герой мечтал о родине Петрарки и Торквато, участвовал в войнах, воспел «Отечески Пенаты»… Зачем Плетнев это писал? Да очень просто — он пытался применить на практике излюбленный метод самого Батюшкова — средствами поэзии преобразовать мир,

пробудить уснувшего на авзонийских лугах гения. Но адресат уже утратил веру в живительную силу поэтического слова.

Вторая причина, по которой Батюшков так рассердился на Плетнева, — это способ публикации стихотворения. «Бестактность состояла именно в том, что стихи, написанные от имени живого автора, были напечатаны анонимно», — замечает Н. Н. Зубков[512]. «Стихотворение явилось в печати без подписи Плетнева, против его желания, по уловке Воейкова, который не прочь был ввести читателей в заблуждение и дать им повод думать, что пьеса написана Батюшковым, обещавшим „Сыну Отечества“ свое сотрудничество»[513], — писал Л. Н. Майков. Так или иначе, но Плетнев писал от лица Батюшкова так, как сам Батюшков мог писать от лица Горация или Тибулла. И в этом смещении (современный живой поэт воспринимался как древний классик) не было желания оскорбить, скорее в нем содержалось восхищение перед Батюшковым, сравнявшимся гением с древними. Вскоре Плетнев, извиняясь за вольность издателей, поместил в «Сыне Отечества» еще одно свое стихотворение — «Надпись к портрету Батюшкова», которое содержало ту же мысль и было написано тем же методом — компилированием цитат из поэзии Батюшкова:

> Потомок древнего Анакреона,
> Ошибкой жизнь прияв на берегах Двины,
> Под небом сумрачным отеческой страны
> Наследственного он не потерял закона:
> Ни вьюги, ни снега, ни жмущий воды лед
> Не охладили в нем огня воображенья —
> И сладостны его живые песнопенья.
> Как Ольмия благоуханный мед[514].

Он еще не мог знать о впечатлении, произведенном его первым стихотворением, и продолжал, как ему казалось, удачно найденную тему. «Надпись» начиналась с уже отработанного приема: Плетнев возводил поэтическую биографию Батюшкова прямо к Анакреону — как раз та точка, которая взбесила Батюшкова в первый раз. Тогда Батюшков послал через Гнедича резкое по тону опровержение, которое издатели «Сына Отечества» не поместили в своем журнале. Опровержение это содержало следующую угрозу: «Оставляю поле словесности не без признательности к тем соотечественникам, кои, единственно в надежде лучшего, удостоили ободрить мои слабые начинания. Обещаю даже не читать критики на мою книгу: она мне бесполезна, ибо я совершенно и, вероятно, навсегда покинул перо

автора»[515]. После получения журнала с «Надписью» Плетнева Батюшков буквально вышел из себя. Свое негодование он излил в письме Гнедичу, вероятно, чувствительнее всех друзей испытавшему на себе первые признаки душевной болезни Батюшкова: «Делаю два предположения: 1-е совершенно в пользу Плетаева. Он написал сии стихи — скажут мне те, кои захотят надо мною издеваться, — из усердия к вам, и в доказательство покажут мне еще надпись к моему портрету, им недавно соплетенную. Он писал ее как будто от лица Виона, Мимнерма, Мосха, Тибулла… Но сии господа умерли назад тому около двух тысяч лет или более! А писать от лица живого, писать к друзьям (если есть друзья), к людям живым… Напрасно привожу на память все случаи иностранных литератур: подобного не знаю. Нет ничего глупее и злее. Вижу ясно злость, недоброжелательство, одно лукавое недоброжелательство! Вот мое 2-е предположение, и от него не отступаюсь». Даже по стилю письма заметно, в каком бешенстве находится его автор. Он неколебимо убежден в злом умысле и свое «1-е предположение» делает только для того, чтобы еще раз обозначить вину Плетнева. А чего стоит взятое в скобки замечание «если есть друзья», которое представляет одиночество Батюшкова почти вселенским! Следствие нанесенной обиды, изложенное Батюшковым ниже, тоже несколько чрезмерное: «Нет, не нахожу выражения для моего негодования: оно умрет в моем сердце, когда я умру. Но удар нанесен. Вот следствие: я отныне писать ничего не буду и сдержу слово». Но на этом страшном обещании Батюшков не останавливается. Его как будто несет волна гнева: «Этого мало: обруганный хвалами, решился не возвращаться в Россию, ибо страшусь людей, которые, не взирая на то, что я проливал мою кровь на поле чести, что и теперь служу мною обожаемому монарху, вредят мне заочно столь недостойным и низким средством»[516].

К слову заметим, что Плетнев, несмотря на обидные упреки и мрачные подозрения, которые адресовал ему Батюшков, остался верен своему восхищению перед ним и в 1824 году писал о Батюшкове: «Он создал для нас ту элегию, которая Тибулла и Проперция сделала истолкователями языка фаций. У него каждый стих дышит чувством. Его гений в сердце. Оно внушило ему свой язык, который нежен и сладок, как чистая любовь. Игривость Парни и задумчивость Мильвуа, выражаемые какими-то *италианскими* звуками, дают только понятие об искусстве Батюшкова. Он в одно время и убеждает ум, и пленяет сердце, и рисует воображению»[517].

В середине сентября Батюшков переехал из Теплица в

Дрезден, после большого перерыва в письмах сообщив тетушке, что лечение водами не принесло ему очевидной пользы. Дальнейшие его планы были связаны с поездкой в Париж, где он хотел провести зиму. Кроме редких писем Е. Ф. Муравьевой он больше не пишет никому, в том числе и любимой сестре Александре. Она узнает новости о брате от третьих лиц. Он больше не интересуется жизнью близких и друзей, не задает никаких вопросов, не передает приветов. Во всех его письмах остается только один навязчивый вопрос о судьбе сестры Юлии и брата Помпея. Ответственность перед ними до последнего сознательного момента жизни была его главной заботой.

Вести о душевном расстройстве Батюшкова дошли до Петербурга — их привез Блудов. Карамзин сообщал Вяземскому: «Между тем знаете ли вы, что наш поэт Батюшков ссорится и с потомством и с современниками, не хочет ничего писать, ни служить, ни быть в отставке, ни путешествовать, ни возвращаться в Россию, то есть он в гипохондрии, по рассказам Блудова. Жалко и больно…»[518] Неизвестно, насколько Блудов оценил серьезность положения Батюшкова. Но зато ее в полной мере осознал Жуковский, который 4 ноября 1821 года встретился с Батюшковым под Дрезденом. Впрочем, время не стояло на месте и, вероятно, состояние Батюшкова с лета заметно ухудшилось. Жуковский записал в дневнике: «С Батюшковым в Плаун: хочу заключения. Раздрание писанного; надобно, чтобы что-нибудь со мною случилось: Тасс, Брут, Вечный Жид, Описание Неаполя»[519]. О «раздрании писанного» свидетельствует и А. И. Тургенев, который передавал Вяземскому впечатления Жуковского: «Вчера Жуковский возвратился; видел Батюшкова в Дрездене, слышал прекрасные стихи, которые он все истребил»[520]. Во время этой встречи Батюшков вписал в альбом Жуковского восьмистишие, шесть строк которого представляют вариации на тему последнего стихотворения Державина «Река времен в своем стремленьи…», а последние две травестируют серьезное рассуждение о смерти и бессмертии, превращая его в арзамасскую шутку. В этом тексте нет ничего безумного, кроме разве последнего стиха — Плетнев угодил в общество Мешковых, Хлыстовых и Шутовских[521] в общем-то совершенно случайно:

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..

А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

II
Таврида

Батюшков, уехавший в Германию без официального разрешения, все это время пытался получить отставку. Он просил своего прямого начальника Италинского хлопотать за него, и тот, вполне войдя в положение Батюшкова, писал о нем управляющему иностранной коллегией Нессельроде[522], но из Петербурга ответа не было. 12 декабря 1821 года Батюшков потерял терпение и сам написал два письма. Одно из них было адресовано Нессельроде, его мы уже цитировали выше. В письме содержалась подробная история его службы в Неаполе и Риме и звучала настойчивая просьба об отставке, связанная с ухудшением здоровья. Второе письмо, гораздо более короткое, предназначалось для императора Александра: «В начале 1818 года моя всеподданнейшая просьба о принятии меня в службу по дипломатической части была удостоена Высокого внимания Вашего Императорского Величества; осмеливаюсь ныне повергнуть к стопам Вашим, Государь Всемилостивейший, усерднейшую молитву об увольнении меня в отставку по причине болезни, которой ниже самое время не принесло очевидной пользы»[523]. Этот марш-бросок не остался без внимания — уже 14 января Батюшков получил от Нессельроде разрешение вернуться на родину, а 29 апреля император подписал чрезвычайно милостивый указ об отставке: Батюшков был уволен «в Россию» бессрочно, с сохранением должности и жалованья!

Проведя зиму в Дрездене — до Парижа Батюшков так и не добрался, — он в середине марта вернулся в Петербург, никому о своем возвращении заранее не сообщив, и остановился не в доме Муравьевой на Фонтанке, а в гостинице — Демутовом трактире на углу Большой Конюшенной улицы и набережной Мойки. Слух о его возвращении постепенно пополз по Петербургу. «Батюшков приехал четвертого дня, — сообщал А. И. Тургенев Вяземскому, — на третий день только явился к К. Ф. Муравьевой и в Кол<легию>; по-видимому, гораздо здоровее физически, но морально что-то странен. Мы еще его не видели. Не хотел и к Карамзину зайти от Муравьевой»[524]. Поскольку никаких визитов в Петербурге Батюшков не делал, то к нему в Демутов трактир стали приходить друзья: Карамзин, Тургенев, Жуковский, Блудов, Гнедич. Батюшков находился в состоянии мрачном и

подавленном, изредка читал свои новые стихи, беседовал, но день на день не приходился. В это время с ним встретился петербургский издатель и литератор Н. И. Греч и попытался убедить в невиновности Плетнева: «В последний раз виделся я с ним, встретившись в Большой Морской. Я стал убеждать его, просил, чтоб он пораздумал о мнении Плетнева. Куда! — и слышать не хотел. Мы расстались на углу Исаакиевской площади. Он пошел далее на площадь, а я остановился и смотрел вслед за ним с чувством глубокого уныния. И теперь вижу его субтильную фигурку, как он шел, потупив глаза в землю. Ветер поднимал фалды его фрака…»[525] Несомненно, веские подозрения в помешательстве Батюшкова у его друзей уже были, но они питали надежды на улучшение. Эти надежды даже увеличились, когда, испросив предварительно разрешения у Нессельроде, в мае 1822 года Батюшков уехал из Петербурга на Кавказ и в Тавриду, чтобы лечиться там термальными водами и морскими купаниями. «Странный и жалкой меланхолик Батюшков едет на Кавказ…»[526] — констатировал Н. М. Карамзин.

Вполне естественно в этой ситуации, что никому из близких он не писал и никаких вестей о себе не подавал. Однако о нем не забывали. Печальные вести о состоянии Батюшкова к середине лета достигли находившегося в Кишиневе А. С. Пушкина. Поскольку Пушкин виделся с Батюшковым последний раз перед его отъездом в Италию и сам, заброшенный на Кавказ и в Тавриду в 1820 году, был оторван от столичных новостей, сообщение о болезни Батюшкова выглядело для него полной неожиданностью. Брата Л. С. Пушкина он спрашивал: «Мне писали, что Батюшков помешался: быть нельзя; уничтожь это вранье»[527]. Однако это было не вранье, а чистейшая правда. Все лето 1822 года Батюшков путешествовал по югу России. Достоверно известно, что в августе он оказался в Симферополе, где обратился за помощью к знаменитому местному врачу Ф. К. Мильгаузену, который, по легенде, лечил Пушкина, когда тот в сентябре 1820 года больным прибыл в Симферополь. Мильгаузен не был психиатром, но опыт и обширные знания по медицинской части позволяли ему лечить и больных, страдающих психическими недугами. Собственно, Мильгаузен был первым врачом, который поставил Батюшкову диагноз: из предположений и страхов родилась печальная уверенность в том, что Батюшков страдал наследственным недугом — сумасшествием на почве мании преследования.

С осени 1822 года, когда диагноз доктора Мильгаузена стал известен друзьям и близким поэта, между ними устанавливается регулярная переписка, в которую были включены Карамзин,

Жуковский, Вяземский, А. И. Тургенев, Е. Ф. Муравьева, ее сын Н. М. Муравьев, зять Батюшкова П. А. Шипилов. «Худые вести о Батюшкове, — пишет Карамзин Вяземскому, — он хочет непременно лишить себя жизни. Послал эстафету к губернатору, чтобы он нашел хороший способ доставить его сюда. Государь взял участие в судьбе несчастного; но, может быть, все уже поздно»[528]. Всем было ясно, что первым делом нужно вывезти больного из Крыма и доставить в столицу, обсуждали, кто и как сумеет сделать это наиболее эффективно. В феврале 1823 года в Крым выехал П. А. Шипилов, который нашел Батюшкова в лучшем состоянии, чем ожидал. Поэт узнал его и расспрашивал обо всем семействе, но ехать с ним в Петербург категорически отказался. Не помог убедить и фиктивный вызов на службу, посланный по просьбе Е. Ф. Муравьевой в Крым Нессельроде: «Полагая, что Кавказские воды принесли некоторую пользу вашему здоровью, и желая, чтоб вы снова деятельным образом служили в нашем министерстве, я приглашаю вас возвратиться в С. Петербург, где я не премину дать вам занятие, приличное вашим достоинствам и усердию к службе Его императорского величества»[529]. Шипилов уехал ни с чем, а между тем положение Батюшкова было к этому времени совершенно критическим. Наиболее выразительно его описывает старый знакомый Батюшкова Н. В. Сушков, служивший в это время в Симферополе: «Константин Николаевич несколько месяцев гостил в Крыму. Вначале не видно было в нем большой перемены. Только пуще, нежели прежде, он дичился незнакомых людей и убегал всякого общества. Мы видались почти каждый день. Он охотно беседовал о былом, любил говорить о Жуковском, об А. И. Тургеневе, о Карамзине, Муравьевых, Крылове, вспоминал разные своего времени стихотворения, всего чаще читал нараспев:

О, ветер, ветер, что ты вьешься?
Ты не от милого ль несешься?

Однажды застаю я его играющим с кошкою. — Знаете ли, какова эта кошка — сказал он мне — препонятливая! я учу ее писать стихи — декламирует уже преизрядно!.. Ласковая кошка между тем мурлычит свою песню, то зорко взглядывая и поталкиваясь головою, то скрывая и выпуская когти, то извиваясь с боку на бок и помавая пушистым хвостом. Несколько дней позже стал он жаловаться на хозяина единственной тогда в городе гостиницы, что будто бы тот наполняет горницу и постель его тарантулами, сороконожками и сколопандрами. Недели через полторы вздумалось ему сжечь дорожную библиотеку — полный,

колясочный, сундук прекраснейших изданий на французском и итальянском языках. Оставил из них только две книги, вероятно по каким-нибудь воспоминаниям, и какие же? „Павел и Виргиния“ да „Атала и Рене“. Он подарил их мне. Вскоре после этого болезнь его развилась, и в припадках уныния он три раза посягал на свою жизнь. В первый пытался перерезать себе горло бритвою, но рана была не глубока и ее скоро заживили. Во второй пробовал застрелиться, зарядил ружье, взвел курок, подвязал к замку платок и, стоя, потянул петлю коленкой — заряд ударился в стену. Наконец, он отказался от пищи и недели две, если не больше, оставался тверд в своей печальной решимости. Природа однако же взяла свое: голод победил упорство»[530].

Первая попытка самоубийства была произведена Батюшковым почти сразу после отъезда в Петербург П. А. Шипилова. Таврический губернатор Н. И. Перовский, который находился в Симферополе и волей-неволей был вовлечен в жизнь Батюшкова, прилагал все усилия для того, чтобы спасти поэта от него самого. Он регулярно информировал Нессельроде о состоянии больного. Но чем дальше шло время, тем сложнее становилась ситуация и тем отчаяннее звучали эти отчеты. 3 апреля А. И. Тургенев сообщал Вяземскому: «Третьего дня граф Нессельроде получил от Перовского извещение, что Батюшкову хуже. Он уже покушался зарезаться, и у него отняли все орудия и приставили бессменных сторожей за ним»[531]. Вяземский близко к сердцу принял эти сведения. «Известие твое о Батюшкове меня сокрушает, — отвечал он Тургеневу. — Оно тем больнее, что душевно убежден уверением, что попечительность друзей могла бы спасти его или, по крайней мере, развлечь. Мы все рождены под каким-то бедственным созвездием. Не только общественное благо, но и частное не дается нам. Чорт знает, как живем, к чему живем! На плахе какой-то роковой необходимости приносим на жертву друзей своих, себя, бытие наше. Бедный Батюшков, один, в Симферополе, в трактире, брошенный на съедение мрачным мечтам расстроенного воображения — есть событие, достойное русского быта и нашего времени»[532]. Несмотря на очевидные симптомы безумия, Вяземский продолжал надеяться на исцеление: «Мне все что-то говорит, что Батюшков n’est pas insensé[533]. Нравственное расстройство — дело другое. Припадки души, или духовные, так разнообразны в своих явлениях, так загадочны, что трудно примениться к ним. Я все стою в том, что Батюшкова можно привести в порядочное состояние. <…>»[534]. Больше всего его волновала и возмущала бездеятельность друзей, не сумевших предотвратить крымских несчастий: «Должно сказать с растерзанною душою: „Друзья выдали Батюшкова

бедственной судьбе“. Как можно было выпустить его из Петербурга одного, в том положении, в каком он находился? Мы только сетовали, как бабы, а нужно было давно действовать! Все, что с тех пор делаемо было в его пользу, было неполно и поверхностно»[535]. В отличие от Вяземского губернатор Перовский видел воочию, как неуклонно ухудшалось состояние больного, и в конце концов решился на отчаянный поступок: практически силой он усадил Батюшкова в дорожный экипаж и в сопровождении инспектора Таврической врачебной управы доктора П. И. Ланга отправил в Петербург. 5 мая больной был доставлен в столицу.

III
Зонненштейн

В Петербурге Батюшков прожил еще год. Его часто навещали друзья, которых он преимущественно не хотел видеть, делая исключение для одного Жуковского. Но зная о страхах, которые преследовали Батюшкова в Крыму, и о его склонности к самоубийству, друзья старались не оставлять его в одиночестве. А. И. Тургенев бывал у него почти ежедневно и отправлял регулярные отчеты Вяземскому, лейтмотивом которых была фраза «Батюшков все таков же». Вот некоторые из этих отчетов — они позволят составить представление о Батюшкове в начале его душевной болезни, когда минуты просветления еще случались.

«Третьего дня, в семь часов утра, привезли сюда Батюшкова прямо к К. Ф. Муравьевой, которая поместила его в кабинете своего сына и приняла с материнской нежностью. Он обнял ее, несколько раз говорил о своей к ней привязанности и, познакомившись с ее невесткою, сказал ей, между прочим, чтобы она не удивлялась его обращению с Катериной Федоровной: „Ведь она мать моя“. С Никитой, также и с сестрой своей, очень хорош и нежнее прежнего. В тот же день после обеда был у него Блудов; поутру Карамзин и Оленин. Он говорил и порядочно, но более вздору; уверял, что за ним присмотр, что он привезен под стражей. <…> Беспрерывно показывает свою рану, еще не совсем зажившую[536]. В разговоре с Блудовым о болезни физической и нравственной, когда Блудов сказал, что от последней лучшее лекарство: l’amitié, l’amitié, l’amitié[537], Батюшков прибавил: „Vous avez oublié la mort“[538], показывая на свою рану. С Олениным также несколько раз заговаривал о болезни и о ране своей. С Никитой менее скрывает себя и беспрестанно говорит вздор, но при матери его почти всегда благоразумен. Сказал им, que tout le monde lui en impose[539],

даже ребенок, что не надобно оставлять его одного, что в Симферополе даже кошка наводила на него некоторое опасение и держала его в должном порядке. С тех пор мы решились не оставлять его и быть с ним попеременно. Вчера ввечеру, поздно, и я пришел к нему и нашел у него Дашкова и Блудова, принял меня и обнял довольно нежно, лучше, нежели в последний раз. Мы много шутили. Я был необыкновенно весел и притворялся прежним веселым Тургеневым. Блудов заставил нас смеяться и его также. Доходило и до журналов, и он вмешался в разговор, но конвульсии на лице продолжались беспрерывно. Вид его в сии минуты точно необыкновенно отвратителен: моргает часто и сжимает зубы, но смех прежний, когда он не конвульсивный. Мы пробыли с ним до двенадцатого часа вечера»[540].

«Батюшков вчера был очень хорош. Я просидел у него до двенадцатого часа один с К. Ф. Муравьевой»[541].

«Батюшков опять сильно хандрит. Вчера ввечеру поручал Жуковскому своего брата и издание своих сочинений. Но после до первого часа мы у него сидели, и шутки Блудова оживили его и его остроумие. Он шутил с нами и на счет литераторов и сам цитировал стихи»[542].

«Батюшков все таков же. Третьего дня был у него Нессельроде, и это имело хорошее действие. Он заставил его переехать на дачу с Муравьевой, куда он никак не хотел переезжать. Теперь решился — из повиновения начальству, как он говорит. Все еще говорит о смерти по издании сочинений с Жуковским, к которому показывает более доверенности, но и Жуковский третьего дня переехал в Павловск»[543].

«Батюшков все таков же, если не хуже; возненавидел все семейство Муравьевых: не едет к ним на дачу, а нанимает свою. Отдал сестре 1000 рублей на свои похороны, а между тем два раза ездил один к графу Нессельроде на дачу, отвез ему работу, ему порученную и сделанную прекрасно; но и она во вред, ибо днем сидит один с своими мыслями, а ночью — за делом. Он хотел нанять дачу подле Северина, но по сие время еще в городе, один и с несчастной сестрой, от которой требует, чтобы не переезжала к Муравьевой и его оставила»[544]. Об этих же печальных обстоятельствах свидетельствует Н. И. Греч: «Он возненавидел род Муравьевых, гнушался Никитою, проклинал его мать, называя ее по фамилии отца Колокольцовою…»[545] Родственные связи, столь важные и дорогие для Батюшкова в недавнем прошлом, перестали существовать.

На лето Е. Ф. Муравьева переселилась на дачу на Карповке; согласие Батюшкова на переезд наконец было получено, и ему наняли отдельную квартиру на другом берегу речки, в доме

госпожи Адлер. Л. Н. Майков рассказывает об этом так: «У него был там небольшой садик, в котором он любил гулять, но всегда один. Он не желал видеть ни Екатерины Федоровны, ни сестры, и Александра Николаевна решалась посмотреть на брата только с балкона в квартире самой хозяйки. Иногда он занимался рисованием, а на стенах и окнах чертил надписи, и в числе их две были следующие: „Ombra adorata!“[546] и „Есть жизнь и за могилой“»[547]. В июне 1823 года в Петербург приехал Вяземский и поспешил навестить больного друга. Впоследствии он вспоминал об этом, не называя себя: «Болезнь Батюшкова уже начинала развиваться. Он тогда жил в Петербурге, летом, на даче близ Карповки. Приезжий приятель его, давно с ним не видавшийся, посетил его. Он ему обрадовался и оказал ему ласковый и нежный прием. Но вскоре болезненное и мрачное настроение пересилило минутное светлое впечатление. Желая отвлечь его и пробудить, приятель обратил разговор на поэзию и спросил его, не написал ли он чего нового? „Что писать мне и что говорить о стихах моих! отвечал он; я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы и разбился вдребезги. Поди, узнай теперь, что в нем было!“»[548]. Как тут не вспомнить слова, которые Батюшков в 1817 году написал о помешательстве Торквато Тассо: «Тасс, к дополнению несчастия, не был совершенно сумасшедший и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горесть своего положения».

Как в начале лета друзья с трудом уговорили Батюшкова переехать на дачу, так в конце его не могли уговорить вернуться в Петербург. В самом конце августа Тургенев писал: «Вчера мы сделали неудачную попытку с Батюшковым. Реман (врач. — *А. С.-К.)* хотел заставить его переехать в город, где нанята ему у Рибаса в доме квартира и для сестры (теперь она с ним). Но он воспротивился и не послушался. Ввечеру я был у него; он все уверял, что не переедет и кончит жизнь на даче. Ему хуже. К сему присоединилась и болезнь физическая. Он бродил недавно всю ночь по дождю; едва не утопился в Неве, по крайней мере сам так говорит; стращал меня беспрестанно скорою смертью своею; пристал к Захаржевской, урожденной Самойловой, приняв ее за женщину, о которой все бредит»[549].

В сентябре Батюшкова все же удалось перевезти в Петербург и доктора начали регулярное лечение, хотя сами, видимо, не были убеждены в его эффективности. Лечение затруднялось тем, что сам больной активно ему сопротивлялся, докторам приходилось прибегать к силе. Однако Батюшков не всегда вел себя как помешанный, минуты просветления всё еще случались.

Его высказывания и поступки, которые напоминали друзьям прежнего Батюшкова, передавались из уст в уста. Один из таких поздних эпизодов описан А. И. Тургеневым: «На сих днях Батюшков читал новое издание Жуковского сочинений, и когда он пришел к нему, то он сказал, что и сам написал стихи. Вот они:

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Записка о нем готова. Мы надеемся скоро отправить его в Зонненштейн. С ним поедет и нежная сестра»[550]. Приведенное в этом письме стихотворение — последнее произведение Батюшкова, написанное «в здравом рассудке», то есть еще до того, как тьма безумия окончательно накрыла его, — горестный итог прожитого.

Зонненштейн — замок в городе Пирны, в Саксонии, лечебница для излечимых душевнобольных. Это название появилось в обиходе друзей Батюшкова осенью 1823 года, когда врачи решили, что вылечить больного в Петербурге невозможно, и посоветовали родным отправить его в лучшую клинику Германии. Тем не менее выполнять это предписание не торопились. Надеялись на улучшение? Вероятно. Может быть, обманывали моменты кратковременного возвращения к нормальной жизни. Думалось, что родная почва со временем исцелит Батюшкова лучше чужбины, на которой он и так провел последние безотрадные годы. Новое состояние мыслей в ноябре 1823 года зафиксировал Карамзин: «Я видел Батюшкова в бороде и в самом несчастном расположении духа; говорит вздор о своей болезни и ни о чем другом не хочет слышать. Не имею надежды»[551].

Все решилось само собой весной 1824 года, когда Батюшков отправил императору Александру еще одно письмо: «Поставляю долгом прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству с всеподданнейшею просьбою, которая заключается в том, чтобы Вы, Государь Император, позволили мне немедленно удалиться в монастырь на Бело-Озеро или в Соловецкий. В день моего вступления за пределы мира я желаю быть посвящен в сан монашеский, и на то прошу Всеподданнейше Ваше Императорское Величество дать благоизволение Ваше»[552]. На это письмо

Александр Павлович, после консультации с Жуковским, ответил высочайшим рескриптом от 8 мая 1824 года:

«1. Объявить, что прежде изъявления согласия на пострижение, государю угодно, чтоб он ехал лечиться в Дерпт, а может быть, и далее.

2. Выдать В. А. Жуковскому пожалованные 500 червонцев на путевые издержки Батюшкова.

3. Назначить для сопровождения курьера, который возвратится из Дерпта, если Батюшков там останется, или проводит его до Зонненштейна в противном случае.

4. Выдать паспорты для Батюшкова, сестры его и курьера»[553].

Так Зонненштейн стал реальностью. 10 мая 1824 года в сопровождении Жуковского Батюшков выехал из Петербурга в Дерпт, где сначала предполагалось оставить его на попечение доктора И.-Фр. Эрдмана. В Дерпте Батюшков неожиданно сбежал: «Он ушел, и всю ночь его найти не могли; наконец, поутру на другой день проезжий сказал молодому Плещееву, что видел верст за 12 от города человека, сидящего на дороге. По описанию, это был Батюшков; Жуковский с Плещеевым поехали и нашли его спящего. Едва уговорили возвратиться с ними в Дерпт»[554]. В Дерпте оставить Батюшкова не удалось, и было решено препроводить его в Зонненштейн. Там он был помещен не в казенную больницу, а в частное психиатрическое заведение доктора Пирница, директора дома умалишенных. Лечение Батюшкова в этом заведении продолжалось в целом четыре года. Вслед за братом в Зонненштейн выехала А. Н. Батюшкова. Она поселилась неподалеку, в Пирне, и изредка навещала больного — часто это делать было невозможно. Страшно представить себе, что пережила сестра Батюшкова с момента его возвращения из-за границы, когда мучительные догадки постепенно получали подтверждение, когда возникали и скоро рушились самые робкие надежды, когда она не имела даже возможности общаться с больным, потому что видеть ее, как и остальных родственников, Батюшков категорически не хотел. В Пирну из Дрездена, по просьбе Жуковского и по велению собственного сердца, вскоре переехала давняя знакомая Батюшкова Е. Г. Пушкина, которая приняла в его судьбе живейшее участие. В основном из сообщений этих двух женщин друзья получали информацию о состоянии здоровья Батюшкова. Так, в начале апреля 1826 года Е. Г. Пушкина сообщала Жуковскому, с которым всё это время поддерживала дружескую переписку: «<…> Мне не дозволяют более видеть Батюшкова. Пока надеялись, что свидания наши могут приносить пользу, я ездила в Зонненштейн. Я даже была в переписке с несчастным, но ни свидания со мною, ни письма мои

не произвели того, чего от них ожидали»[555].

6 августа 1825 года в Зонненштейне побывал А. И. Тургенев. Об этом посещении сохранилась красноречивая запись в его дневнике: «В 8 часов утра приехали мы в Пирну и, оставив здесь коляску, пошли в Зонненштейн по крутой каменной лестнице, в горе вделанной. Нам указали вход в гофшпиталь, и первый, кого мы издали увидели, был Батюшков. Он прохаживался по аллее, вероятно, и он заметил нас, но мы тотчас вышли из аллеи и обошли ее другой дорогой. Нас привели прямо к доктору Пирницу, а жена его, урожденная француженка, нас ласково встретила. Мы отдали ей письма Жук<овского> и Кат<ерины> Фед<оровны> для доставления Ал<ександре> Ник<олаевне>, и она рассказала нам о состоянии болезни Батюшкова. Потом пришел и Пирниц, физиономия его тотчас понравилась, обращение еще больше. <…> Но сколь ни внимательно слушали мы доктора, с нетерпением ожидал я извещения о Батюшкове. Он не полагает его безнадежным. Теперь он принимает лекарства, но не иначе как в присутствии доктора; сердится на Ханыкова, полагая, что он произвольно держит его в Зонненштейне, писал к нему два раза и требовал освобождения. Доктор находит, что он имеет einen festen Sinn[556], характер или упрямство, которое преодолеть трудно. <…>»[557]. После этого состоялась встреча с А. Н. Батюшковой, которая квартировала у Пирница и сделалась в его доме совершенно своим человеком: «Она вся задрожала, когда нас увидела, едва в силах была говорить и успокоилась не скоро. Первое слово ее было о брате. Она спросила нас: дает ли нам надежду доктор? Я старался уверить и успокоить ее и со слезами смотрел на эту жертву братской любви. Нельзя без почтения, без уважения видеть ее! Она так трогательна и внушает, однако же, не сожаление, а высокое уважение к ее горячему чувству. Все и всех оставила — и поселилась между незнакомыми, в виду почти безнадежных страдальцев; к счастию, в религии нашла опору, в любви своей к брату — силу, а в докторе и жене его — человеколюбие и сострадание. <…> Она видела только один раз брата, провела с ним целый день, но он сердился на нее, полагая, что и она причиною его заточения. Он два раза писал ко мне, но Ал<ександра> Ник<олаевна> изорвала письма. Если я не ошибаюсь, то он, кажется, писал ко мне о позволении ему жениться. Жук<овского> любит. Да и кто более доказал ему, что истинная дружба не в словах, а в забвении себя для друга. Он был нежнейшим попечителем его и сопровождал его до Дерпта и теперь печется более всех родных по крови, ибо чувствует родство свое по таланту»[558].

Жуковский действительно сделал для Батюшкова немало.

Оставив его в Зонненштейне, он не терял контактов с А. Н. Батюшковой, пересылал ей письма из России, регулярно отправлял жалованье брата, исполнял ее поручения. Благодаря ему А. Н. Батюшкова не осталась одна в своем горе — за границей ее сопровождала и поддерживала трогательная забота Е. Г. Пушкиной. И, конечно, Жуковскому дольше всех остальных удавалось сохранить с Батюшковым хоть какой-то контакт. В перевернутом мире, в котором теперь жил больной, ему по-прежнему выделялась роль друга, хотя все остальные друзья были зачислены в стан врагов и объявлены участниками зловещего заговора. Если Батюшков хотел кого-то видеть из своей прошлой жизни, то это был, несомненно, Жуковский. В августе 1826 года Жуковский приехал в Зонненштейн, виделся с А. Н. Батюшковой. Очевидно, к этому времени относится записка больного поэта, адресованная Жуковскому: «Выбитый по щекам, замученный и проклятый вместе с Мартином Лютером на машине Зонненштейна безумным Нессельродом, имею одно утешение в Боге и дружбе таких людей, как ты, Жуковский. <…> Утешь своим посещением: ожидаю тебя нетерпеливо на сей каторге, где погибает ежедневно Батюшков»[559]. Вообще все исходящие от Батюшкова впечатления, связанные с его лечением и пребыванием в Зонненштейне, — резко отрицательные. Ему казалось, что он заключен в тюрьму, где его держат насильно и подвергают всевозможным унижениям и физическим мучениям. Сохранилось его письмо Е. Г. Пушкиной, написанное по-французски. Батюшков отвечал на ее осторожные советы подчиняться распоряжениям врачей и принимать лечение, от которого он упрямо отказывался: «Ваше письмо было продиктовано моими палачами и шарлатанами, и я не придаю ему никакого значения. <…> Здешние ванны — пытки, лекарство — яд, врачи — преступники. Я говорил это вам, мадам, много раз. Во всяком случае не вам теперь давать мне советы. Я подчиняюсь только Императору, к которому обратился, и господину Ханыкову, нашему посланнику в Дрездене. Весь этот мелкий и отвратительный заговор не может обладать надо мной никакой властью»[560]. Особенно интересны последние строки, в которых появляется тема, упомянутая в дневнике А. И. Тургенева. Без всякого перехода, по сути, обвинив Е. Г. Пушкину в причастности к «мелкому и отвратительному заговору», Батюшков вдруг объявляет: «Ваша дочь будет моей женой…» Видимо, так и не реализовавшаяся мысль о женитьбе преследовала Батюшкова в его шизофреническом бреду. Постоянного объекта, на который эта мысль была направлена, конечно, не существовало. Хотя у Е. Г. Пушкиной было четыре

дочери, вряд ли стоит говорить об увлечении Батюшкова одной из них. Вспомним слова Тургенева о том, как Батюшков «пристал к Захаржевской, урожденной Самойловой, приняв ее за женщину, о которой все бредит».

В 1827 году болезнь Батюшкова была признана врачами неизлечимой. Оставаться дальше в Зонненштейне не имело никакого смысла, и в начале июля 1828 года Батюшков выехал на родину. Его сопровождал доктор Антон Дитрих, который сыграл в его жизни немаловажную роль. Дитрих наблюдал больного с февраля и был уже хорошо знаком и с его характером, и с особенностями его заболевания. Еще в Зонненштейне доктор вел дневник состояния своего пациента, а впоследствии составил пространную записку о течении болезни Батюшкова. Читая эти жутковатые документы, нужно помнить, что Дитрих увлекался литературой, прекрасно понимал, кого он лечит, ценил в Батюшкове его погибший талант, даже специально учил русский язык, чтобы в подлиннике читать его произведения, перевел на немецкий «Мои пенаты» и некоторые стихотворения Жуковского и Вяземского, с которыми был лично знаком. Мы приведем здесь страницы дневника А. Дитриха, посвященные путешествию в Россию, которое он проделал вместе с Батюшковым в одной карете. Из этих записей ясно, насколько тяжела была болезнь Батюшкова, как трагически он воспринимал мир, как нелегко было людям, окружающим его, не только ухаживать за больным, но и просто находиться рядом. Дитрих фиксирует некоторые моменты болезненной рефлексии Батюшкова, которые словно восстанавливают порвавшуюся связь времен — былые увлечения, пристрастия и интересы Батюшкова воскресают в этих записках. Кроме того, они дают возможность заглянуть во внутренний мир больного, который больше не питался внешними впечатлениями и оставался неизменным на протяжении нескольких десятилетий.

Путешествие из Зонненштейна в Москву[561]

Больной был передан мне 4 июля 1828 года в Зонненштейне в состоянии крайней взволнованности. Уже в течение нескольких дней в своей комнате он ужасно кричал и буйствовал, так что я охотно отложил бы отъезд. Однако это было не в моей власти. Было решено не отказываться от поездки, а сознательно готовить его к предстоящему возвращению в его отечество.

Мы боялись, что он может проявить недоверие и оказать нашим намерениям серьезное сопротивление. С бурной порывистостью воспринял он известие, что карета стоит перед

дверьми, готовая к отъезду. Со словами: «Зачем это? Я здесь уже четыре года!» — больной поспешно вскочил со своего места, судорожно бросился на землю перед иконой Иисуса, которую он нарисовал углем на стене своей комнаты, и некоторое время оставался лежать без движения, растянувшись на полу. Потом быстро поднялся, быстро взошел в карету и с громкими проклятиями, не обнаруживая никакой радости, покинул Зонненштейн, хотя именно теперь исполнялось его сокровенное желание.

Первый день путешествия он вел себя очень спокойно, почти не разговаривал, был серьезен, но не угрюм. При этом его, казалось, не занимало изменение его положения. Выражение лица и движения его выдавали более отсутствие мыслей. В Теплице, где мы переночевали, он пожаловался на головную боль и отказался от пищи. На следующее утро завтрак он охотно разделил со мной. Через час пути, после того как мы покинули Теплиц, он внезапно болезненно скривил лицо, повернулся в карете, стал охать и стенать. Мой вопрос оказался для него некстати и остался без ответа. Он потребовал, чтобы его выпустили из кареты. Выйдя, сделал несколько шагов, а затем вытянулся на траве. Сознание постепенно полностью покинуло его, он стал болезненно метаться туда-сюда, руки задрожали — кровь сильнейшим образом бурлила. Быстро и энергично он прижал руки к области сердца, которое казалось схваченным сильным спазмом. При этом он говорил по-русски и в высшей степени пугано. Он то плакал и причитал, то его голос звучал тихо и загадочно, а временами — резко и угрожающе. Казалось, в его воображении пестрейшим образом сменялись разные картины и сцены. Все указывало на то, что надо ожидать приступа буйного помешательства.

Я приложил все старания, чтобы привести его назад в карету и еще до начала предстоящего урагана добраться до ближайшей почтовой станции. Я просил и умолял его — все напрасно. Необычайная раздражительность больного и страх, возникший в самом начале пути, могли помешать в будущем влиять на него. Это соображение удержало меня от того, чтобы немедленно применить силовое воздействие. Однако его экстатическое состояние постепенно переходило в горячечность. Он то медленно шел, то останавливался, то ускорял шаг, как будто хотел совсем сбежать от меня. При этом он громко кричал, называя себя святым и братом императора Франца, и несколько раз пытался растянуться во весь рост на влажной земле. Принесли смирительную рубашку. Сначала он сопротивлялся и ударил меня и моих спутников сжатым кулаком в лицо. Но как только он почувствовал, что мы превосходим его в силе, то сдался и

терпеливо позволил поднять себя в карету, где снова стал непрерывно говорить и кричать.

Он считал себя жертвой, которую заковали в кандалы. Временами он выкрикивал: «Развяжите мне руки! Мои страдания ужасны!» Он говорил со святыми и утверждал, что они были также смиренны, как и он, но ни один из них не страдал, как он. Так мимо толпы любопытных мы въехали в Билин, где больной был отведен в гостиницу. Здесь он тоже некоторое время ужасно бушевал, топал ногами и выкрикивал отдельные слова, постоянно повторяя их. То бормоча, то пронзительно крича, отчаянно двигал языком во рту, пытался стать на колени и, молясь, прикоснуться лбом к земле.

Наконец он лег на канапе, где ему между тем была приготовлена удобная постель, и постепенно задремал. После многочасового, часто прерывавшегося сна он проснулся в легком поту, кряхтя и вздыхая, и пожаловался на боль во всех членах. Он был спокоен, но очень изможден, так что сам даже не мог идти — его приходилось вести. Смирительную рубашку снова натянули на него, и поездка продолжилась. Теперь болезнь приняла религиозный оборот. Если он видел на дороге икону или крест, то непременно хотел выйти из кареты и, молясь, пасть перед ними ниц. В карете он тоже постоянно бросался на колени и старался прижать голову глубоко под фартук. Молитвам и крестным знамениям не было конца. Он не вкушал ни одного куска пищи, над которым прежде не сотворил бы знака креста. Некоторое время он играл роль кающегося грешника и все время просил меня во имя Божьей Матери вырвать у него зуб. У людей, с которыми до того он никогда не встречался, больной просил прощения, на случай если когда-то их обидел. Его молитвы состояли только из нескольких не связанных друг с другом слов, которые он быстро повторял и произносил без всякого истинного внутреннего чувства. Например: «Аллилуйя! Теперь я достоин! Кирие Элейсон! Аве, Мария! Христос воскресе! Иисус Христос, Бог!» Посреди ночи он встал с постели и начал, притоптывая, быстро шагать по комнате и рычать какие-то слова. Скорее всего, это тоже была молитва. Крики его изредка успокаивались нашими утешительными уговорами, но в течение одной ночи многократно повторялись снова. Временами, особенно в утренние часы, он находился в состоянии полного экстаза, тогда он оживленно декламировал, высовывая из кареты руки и делая ими витиеватые жесты. Казалось, он видел какие-то образы, которые его завораживали. Он посылал им воздушные поцелуи, протягивал руки и обращался к ним стихами на русском, итальянском или французском языке. Он выбрасывал им из кареты хлеб и другие вещи, которые прежде осенял знаком креста.

Временами он жестикулировал молча.

Чрезвычайно искусен он был на изобретение новых выходок, которые делали необходимым самый суровый надзор над ним. То он внезапно вставал в карете в полный рост и наполовину высовывался наружу, то в мгновение ока забрасывал ноги на фартук, то, стоя на коленях, клал голову на сиденье. Одним словом, то одно, то другое. Но в целом он был достаточно послушен и не сопротивлялся, когда его удерживали от опрометчивых движений. Хотя больной подвергался самому нежному обращению и каждое мелкое желание свое незамедлительно видел исполненным, но он все равно отчетливо чувствовал, что одновременно с этим его держат в определенном принуждении.

Как бы в ответ на это он часто повторял: «Несчастны те, кому много позволено» — и, бросив на меня взгляд, переделывал фразу: «Несчастны те, кому позволено все». <…>

Вначале погода необычайно благоприятствовала нашей поездке. Дорога проходила через чарующие местности Богемии и Моравии. Вид ясного синего неба, разнообразнейшей череды долин и холмов, утопающих в чудной зелени, ощутимо влиял на душевное состояние больного и пробуждал в нем поэтические настроения, которые находили иногда поразительное выражение. Однажды он заговорил по-итальянски с самим собой, не то прозой, не то короткими рифмованными стихами, но совершенно бессвязно, и сказал среди прочего кротким, трогательным голосом и с выражением страстной тоски в лице, не сводя глаз с неба: «О родина Данте, родина Ариосто, родина Тассо! О, дорогая моя родина!» Последние слова он произнес с таким благороднейшим выражением чувства собственного достоинства, что я был потрясен до глубины души. Тоска и скука по отношению к жизни обычно сопровождали такие его настроения; казалось, он чувствует, что в этом мире нет ничего, на что он мог бы надеяться.

Однажды, увидев по пути красивую, всю усеянную листвой липу, он сказал мне: «Оставьте меня в тени под этим деревом». Я спросил его, что он там собирается делать. «Немного поспать на земле», — отвечал он кротким голосом, а затем печально добавил: «Спать вечно». В другой раз он попросил меня позволить ему выйти из кареты, чтобы погулять в лесу, — по левую сторону от нашей дороги была небольшая березовая роща. Я дал ему понять, что мы торопимся, путь наш долог и промедление нежелательно для него самого, поскольку мы едем на его родину. «Моя родина», — медленно повторил он и указал рукой на небо.

Его живое восприятие прелестей природы проявлялось

многообразно и при других обстоятельствах. Так, в то время пока в деревнях меняли лошадей, он располагался обычно на таком месте, с которого мог наслаждаться открытым пейзажем, а также почти всегда возвращался с букетами цветов в руках, если, выйдя из кареты, находил их у дороги. Были моменты, когда казалось, что он полностью вырвался из круга не связанных с реальностью мыслей, но это были лишь короткие перемены в его обычном состоянии. Они объяснялись даже не моментами просветления, а, скорее, старыми воспоминаниями, повторениями и отзвуками однажды испытанных чувств, вызванных случайным сходством с прошлым внешних обстоятельств и преобразованных болезнью.

Он говорил по-итальянски и вызывал в своем воображении некоторые прекрасные эпизоды «Освобожденного Иерусалима» Тассо, о которых он громко и вслух рассуждал сам с собой, несомненно потому, что ясная синева неба и очаровательные окрестности переносили его мысленно во времена его пребывания в Италии и к тогдашним его занятиям и удовольствиям. Он говорил о каком-то святом отце, об Энгельсбурге и о многом другом, что само по себе было далеко от действительности. Однако, по моему мнению, это позволяет апостериорно судить о его прежнем расположении духа, при котором, возможно, протекала его духовная жизнь в Италии, когда серьезно начала развиваться болезнь. Свое истинное состояние он никогда не умел трезво оценить, только, кажется, чувствовал, что ход его жизни отклоняется от обычного, естественного, поэтому он сказал однажды о своей жизни: «Это басня басней о басне». С ним было невозможно вступить в беседу, завести разговор. Если случалось, что в тот момент, когда он вслух говорил с самим собой и был живо увлечен своим миром образов, его прерывали вопросом, касавшимся какого-либо предмета повседневной жизни, то он давал краткий и совершенно разумный ответ, как ответил бы человек, отрешенный от внешнего мира волшебством гармонии музыки, которому назойливый спрашивающий докучает и мешает наслаждаться. Однако как ни мало ясности и логической связности было в быстрой смене мыслей и погоне за образами, образовывавшими в его душе постоянный круговорот, подробности, которые он иногда излагал, были весьма разумны. И, чего никак нельзя было ожидать при состоянии почти полной бессознательности, его остроты много раз поражали меня. Так, он говорил о Шатобриане, которого называл святым и имя которого часто и с большим почтением — однако почему-то всегда в странном сочетании с лордом Байроном — упоминал: «Не Шатобриан должен он зваться, а Шатобрильянт»[562]*. Сказав это,*

он взглядывал на ясное небо, как будто искал там этот сияющий замок. Мое поведение по отношению к больному было настолько простым и непринужденным, насколько это позволяли обстоятельства. Когда представлялся удобный случай, я оказывал ему любезность, но никогда не делал этого нарочно и вообще в исполнении своих служебных обязанностей придерживался благоразумной меры, чтобы не возбудить против себя его чрезвычайное недоверие, которое заставляло его повсюду видеть лишь преследователей и врагов. Несмотря на то, что в начале поездки я был представлен ему как врач (а он выражал глубочайшее отвращение ко всему, что связано с врачеванием), мне все же удалось завоевать его полное доверие. Он вполне вразумительно уверял меня в своей любви, и не проходило и дня, чтобы он ни разу не обнял и не поцеловал меня. Он был вежлив и любезен, разделял со мной трапезы и почти всегда безропотно подчинялся моей воле. Так же мало он питал злобы к обоим нашим сопровождающим. Когда в Лемберге посреди ночи из-за его ужасного буйства мы были вынуждены надеть на него смирительную рубашку, он продолжал благословлять нас, но локтями, так как руки его были несвободны.

Несмотря на это, я никогда не был защищен в карете от его ударов, пинков и прочих мелких физических жестокостей, ибо он часто бывал столь погружен в себя, что совершенно не осознавал своих действий. Однажды, когда он ударил меня кулаком в лоб, я спросил его мягким, укоризненным тоном, почему он это сделал. Он молчал; я тщетно повторил свой вопрос, а затем протянул ему руку в знак примирения; он быстро осенил себя крестным знамением и тотчас же протянул мне свою. Мой вопрос застал его в мире грез, где он уже не мог отдавать себе отчет в том, что делает. <…>

Мы были уже на русской земле, ясные дни сменились на хмурые и дождливые, и нигде взор не находил места, на котором можно было бы с удовольствием задержаться. Больной мало-помалу снова обретал силы и постепенно приходил в свое обычное состояние. Ночами он вел себя спокойно, переставал постоянно, как это было прежде, возносить молитвы, и с привычной силой снова начинало проявляться уже знакомое мне непоколебимое упрямство. Если ранее он внушал всем, кто его видел, сострадание, то ныне вызывал у окружающих страх и отвращение. Без какой-либо причины, которая могла бы послужить поводом к изменению наших отношений, однажды в карете он взглянул на меня горящими от бешенства глазами и с выражением жгучей ярости, не проговорив ни слова, плюнул мне в лицо. А на первом же постоялом дворе (приблизительно в 20 верстах от Киева) он

вдруг, смеясь, покинул карету со словами: «Я тоже буду». Затем стал ходить широким шагом взад и вперед, называя нас дьяволами и мертвецами, и все его действия сопровождались таким неистовством, что я вынужден был решиться приказать связать ему руки и ноги. Он настойчиво защищался, раздавал удары направо и налево, разбил фонарь, плевал в лицо стоящим вокруг любопытствующим и сдался лишь тогда, когда силы его исчерпались. При этом он очень много говорил, несколько раз даже русскими стихами. Стемнело, когда мы тронулись дальше. Он глядел на небо, и ему казалось, что он видит всех ангелов, поющих в один голос. <…> С этого момента он никогда больше не выказывал ни к кому чувства любви и участия; лишь проклятья, угрозы и слова ненависти слетали с его уст. Даже вслед безобидно проходящим мимо и любезно приветствующим нас людям он посылал плевки. Он горячо и непрерывно требовал ехать далее. Напрасны были всякие уговоры, напрасно указывали ему на поврежденные места и необходимость починки нашей весьма ветхой дорожной кареты, — он не воспринимал простейших причин и простейших доказательств. Полное непонимание всех мирских забот и постоянное общение с Богом постепенно зародили в нем заблуждение, что сам он божественное создание и что с ним не может приключиться никакого несчастья. Даже то обстоятельство, что однажды карета съехала со скользкой дороги и, к счастью, не причинив увечья никому из путешествующих, перевернулась, ничего не изменило, кроме того, что он стал чрезвычайно пуглив. Как только такая опасность повторялась, он, рыча, всю свою ярость обращал против меня, которого якобы Бог хотел покарать за прегрешения. Однажды он сказал мне и больничному служителю, будучи в более доброжелательном настроении, что ему очень неприятно ехать вместе с людьми, которые не исповедуют христианство и не молятся Богу. Мы, лютеране, отказались соблюдать внешние символические обычаи греческой церкви; в этом, вероятно, заключалась причина его недоверия и ненависти к нам. Он смешивал культ с религией, форму с содержанием, вполне согласно природе своей ужасной болезни, при которой все еще деятельное моральное и религиозное чувство таким или подобным образом обычно выражается.

4 августа, то есть по прошествии полного месяца, достигли мы наконец Москвы, цели, к которой больной стремился с возрастающей ежечасно тоской, и остановились в предназначенном для нас жилище, находящемся в довольно глухой части города. В первое время нашего пребывания здесь он был еще очень вспыльчив. Неизгладимым останется потрясшее меня впечатление, которое произвел он на меня однажды вечером, когда вдруг разразился

пронзительным, слышимым далеко хохотом и стал посылать чудовищные проклятья отцу, матери и сестрам.

Еще во время поездки он чувствовал иной раз мучительную скуку, но не хотел ничем занять себя, а только требовал, чтобы во всю мочь ехали дальше. Когда же его спрашивали, куда он хочет, он, не имея определенной цели, отвечал: «На небеса, к моему Отцу», — подразумевая, конечно, Бога.

Впоследствии я отметил, что во время нашего путешествия он, совершенно по своей воле, соблюдал строжайший пост; лишь один раз вкушал он мясо и приблизительно четыре раза рыбу. Его обычная пища состояла из фруктов, хлеба, булок, сухарей, чая, воды и вина, и лишь в вине он, дай ему волю, часто превышал бы меру. В Бродах он воздерживался целый день от всякой пищи и постоянно молился, то есть, стоя на коленях, бил поклоны и осенял себя крестным знамением. <…>…Он спрашивал сам себя несколько раз во время путешествия, глядя на меня с насмешливой улыбкой и делая рукой движение, как будто бы он достает часы из кармана: «Который час?» — и сам отвечал себе: «Вечность».

IV
Москва

В Москве для Батюшкова был нанят маленький дом в Грузинах, где с ним неотлучно проживал доктор Дитрих. «Как установил недавно исследователь московской старины С. К. Романюк, здание, в котором Батюшков прожил с июля 1828 по 1833 год и где навещал его А. С. Пушкин, сохранилось доныне — сейчас это левая пристройка о четырех окнах к дому № 17 по Б. Грузинской улице»[563]. Вскоре после переезда в Москву Батюшкова посетил Д. В. Дашков, который оставил эпистолярное свидетельство «встречи» со старым другом: «Вчера я видел Батюшкова. Не могу описать тебе того ужасного впечатления, которое произвел во мне искаженный болезнию вид его. С полчаса смотрел я на него сквозь воротную щель: он сидел посреди маленького своего дворика неподвижно, временем улыбаясь, но так странно, что сердце содрогалось. Лекарь его Дидрих, предобродушный немец, не решился пустить меня повидаться с ним; говорит, что теперь находится он в раздраженном состоянии. С начала путешествия был очень покоен, часто смотрел на солнце и досадовал, когда облака закрывали его. С синего, безоблачного неба не сводил глаз и повторял ежеминутно: „Patria di Dante, patria d'Ariosto, patria del Tasso, o cara patria mia, son pittore anche io!“[564] Когда проезжали мимо какого-нибудь развесистого дерева, он просил, чтобы

пустили его отдохнуть под тению его: „Hier will ich schlafen, ewig schlafen“[565]. При перемене лошадей он беспрестанно понуждал, чтобы скорее запрягали, и не иначе называл коляску, как колесницею, воображая, что поднимается на небо, говоря: „Dahin, dahin, dort ist mein Vaterland!“[566] Едва только въехали в пограничную заставу, он тотчас попросил черного хлеба у казаков, тут стоявших, взял ломоть, отломил два куска, один дал Дидриху, другой взял себе, перекрестил оба, съел свой и заставил съесть лекаря, остальное бросил. Но с этой поры очень был беспокоен, бранился и дрался, так что несколько станций принуждены были везти его в рубашке с длинными рукавами. Возненавидел Дидриха, который должен был уже ехать в особой повозке. Дотащили его сюда кой-как, с большим трудом. Он знает, что находится в Москве, но беспрестанно велит запрягать, ибо все хочет ехать. Лучше нельзя было сыскать человека, как этот Дидрих: предобрейший человек, ангельское терпение и знает свое дело. Он был у меня раза два и многое рассказывал о Батюшкове: он любит его, а за это не заплатишь деньгами. <…> К этому несчастному Батюшкову столько приковано воспоминаний, что я не мог довольно наглядеться на него, не мог довольно наплакаться об нем»[567].

После печальных событий, последовавших за 14 декабря 1825 года, Е. Ф. Муравьева переселилась в Москву и взяла на себя попечение о племяннике. К 1828 году она уже пережила семейную катастрофу и, как могла, смирилась с потерей двух сыновей, осужденных по делу декабристов. Никита был приговорен к пятнадцати годам каторги по конфирмации (I разряд), Александр — к восьми годам (IV разряд), оба уже полтора года отбывали наказание в Сибири, и матери было не суждено больше их увидеть. А. Н. Батюшкова, вернувшись вслед за братом из Зонненштейна, поселилась у тетушки, скрашивая ее одинокое существование. Батюшков никого из друзей и близких не узнавал и видеть не хотел, не исключая тетушку и сестру, которые старались незаметным образом устраивать его быт, получали отчеты от доктора Дитриха и таким образом участвовали в его повседневной жизни. В конце лета Александра Николаевна собралась в Вологду, чтобы повидаться с сестрами и племянниками, с которыми много лет уже была в разлуке, а также позаботиться о найме дома для больного брата — мысль о необходимости перевезти его из Москвы в Вологду возникла у родственников поэта еще в Саксонии. Больше она в Москву не вернулась и с братом никогда не виделась, потому что в 1829 году ее настигла та же самая родовая болезнь, с которой так долго и безуспешно боролся Батюшков. Его переезд в Вологду

откладывался.

Еще в 1828 году доктор Дитрих сделал впоследствии оправдавшийся прогноз, предсказав помешательство Александры Николаевны[568]. Д. В. Дашков зафиксировал этот факт: «…но что всего ужаснее: Дитрих говорит (и это между нами), что сестра его также наклонна к сему состоянию и что он заметил некоторые признаки. Сохрани ее, Боже!»[569] Как уже было сказано, сестра поэта жила вместе с Е. Ф. Муравьевой, обе, очевидно, надеялись поддерживать друг друга в переживании их двойного горя. Но дом Муравьевой после катастрофы 14 декабря стал местом неутихающего плача. Туда приходили матери и супруги сосланных в Сибирь декабристов из близких Муравьевым семей, и разговоры о дорогих каторжниках продолжались далеко за полночь. Эта атмосфера пагубно действовала на расстроенные нервы А. Н. Батюшковой. Дитрих писал, что она «побледнела, исхудала, ослабела, и нервные рыдания, прежде изредка случавшиеся с нею, стали повторяться с особенною силою»[570]. Очевидно, зная о прогнозе Дитриха, друзья, и в особенности Жуковский, постарались удалить на время А. Н. Батюшкову из Москвы, дать отдых ее расстроенным нервам. Последние письма А. Н. Батюшковой датируются апрелем 1829 года, по ним невозможно угадать, насколько серьезно уже затронула ее сознание душевная болезнь. Александра Николаевна прожила в состоянии помешательства 12 лет. Эти годы она провела не в близком ее сердцу Хантонове, а в селе Юрьевском Пошехонского уезда Ярославской губернии, в доме родственников по материнской линии Соколовых, которые, вероятно, уже осознали бесполезность лечения наследственного недуга на примере Батюшкова и полагали, что домашняя обстановка, деревенский воздух, внимание и уход могут облегчить страдания больной лучше всякой медицины. А. Н. Батюшкова умерла 19 апреля 1841 года. Как протекала ее болезнь, отчего наступила кончина, знал ли Батюшков о смерти своей любимой сестры, — неизвестно. Осталось сказать только, что ее короткая и печальная жизнь была удивительным примером любви, самопожертвования и отречения, не оставшихся бесплодными. Многие документы брата, его портрет, автографы, письма и книги она хранила как реликвии и, сама того не зная, сделала доступными для потомков. О болезни сестры Батюшкову, конечно, не сообщили, и он еще долгое время думал, что Александра рядом с ним, и передавал ей свои мелкие распоряжения.

Жизнь Батюшкова в Москве описывать практически невозможно, потому что в ней не было никаких событий. По свидетельству доктора Дитриха, он стал спокойнее, приступов

гнева почти не случалось, бывали дни и даже недели, когда Батюшков не произносил ни одного слова, но зато много гулял по саду, который примыкал к его домику. В своей мании преследования он чаще всего поминал Штакельберга, Нессельроде и Александра I, которых считал виновными в происшедшей с ним трагедии. Их присутствие чудилось ему повсюду, они угрожали его спокойствию даже из печки, которую он не разрешал топить. Религиозность Батюшкова перешла в какую-то новую стадию, теперь он ощущал себя сыном Божьим и называл себя «Константин Бог». По ночам ему виделись кошмары, их участниками были ближайшие его друзья и родственники. Бытовые вопросы, не касавшиеся круга его болезненных представлений, он решал всегда просто, как и любой нормальный человек. Три раза в день он пил чай с сухарями или ломтиками хлеба, от всякой другой пищи упорно отказывался, сильно исхудал. Большую часть дня Батюшков проводил на кушетке, предаваясь своим болезненным фантазиям, по вечерам часто лепил из воска, что у него получалось довольно хорошо. Еще в Зонненштейне он вылепил портрет отца, фигурку Тассо; в Москве его больше занимали религиозные образы. Близкие люди поражались тому, что часто самые бессмысленные высказывания Батюшков произносил с достоинством и самообладанием совершенно здорового человека. Взгляд его оставался ясным, и ничего безумного в нем не было заметно. Батюшков редко бывал приветлив и даже вежлив, чаще всего на лице его отражались мрачность и недружелюбие, особенно когда в его жизнь вторгалось что-то новое, выпадающее из привычной колеи. Так, Батюшков негодовал, когда однажды Вяземский привел в его дом композитора А. Н. Верстовского и тот играл на фортепиано в соседней комнате. Никого из друзей видеть он не желал, в том числе и Жуковского, считая, что вместе с Вяземским они записывают все его высказывания, намереваясь передать их врагам.

В феврале 1830 года Батюшков простудился, заболел и стал умирать. Ухудшение его состояния было настолько разительным, что почти никто из близких не сомневался в скором конце. 22 марта в его доме, по желанию Е. Ф. Муравьевой, была отслужена всенощная, на которую собрались многие его друзья. В частности, на ней присутствовал А. С. Пушкин, который после окончания службы зашел в комнату Батюшкова и стал что-то оживленно ему говорить. Больной лежал неподвижно на кушетке с закрытыми глазами. Он не шелохнулся и не подал даже знака, что слышит. Это был первый и единственный раз, когда Пушкин встретился с Батюшковым после 1818 года. Встреча произвела на него сильное

впечатление и не прошла даром для русской поэзии — Пушкин написал стихотворение, по всей вероятности, связанное с полученным тогда тяжелым впечатлением:

Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Образ романтического безумца уступил место страшной реальности в сознании Пушкина, может быть, как раз в тот самый вечер, когда он попытался заговорить с сумасшедшим Батюшковым, которого помнил еще совершенно здоровым и который теперь стал неподвижным полутрупом, разорвавшим всякие связи с внешним миром[571]. Примерно тогда же Батюшкова видел через окно М. П. Погодин. В своем дневнике он записал: «… в роковые idus Martii к нему с Дитрихом. Через окно. Лежит почти неподвижный. Дикие взгляды. Взмахнет иногда рукою, мнет

воск… И так лежит он два месяца. Боже мой! Где ум и чувство? Одно тело чуть живое. Страшно!»[572]

Состояние Батюшкова все ухудшалось, он уже не принимал пишу и практически не пил воды. 13 апреля Жуковский сообщал в письме П. Д. Северину: «О Батюшкове, который и теперь в Москве, куда уже два года, как перевезен из Зонненштейна, — весьма худые вести: он почти при конце жизни и надобно желать, чтобы эта жизнь кончилась, чтобы его высокая душа вырвалась из тех цепей, которые так страшно обременяли ее; надежды излечения для него нет никакой»[573]. Однако, вопреки всем ожиданиям, Батюшков не умер; к концу апреля ему стало лучше, а в мае он совершенно выздоровел, пополнел и стал выходить на улицу, хотя с точки зрения душевной болезни ситуация осталась неизменной. Вскоре после выздоровления Батюшкова доктор Дитрих решился его покинуть и возвратился на родину. Прогноз, который он сделал перед отъездом, был в высшей степени неутешительным. «Эту связанную душу, — писал Дитрих, — мог бы освободить от оков только Спаситель Мира, который исполнит поэтические мечты больного воображения в том краю, где, как говорит Тургенев, нет больше надежд». И далее, рассуждая о полнейшей невозможности выздоровления, добавлял: «Гораздо более вероятно, что вскоре наступит ухудшение или что он сам перед полным распадом насильственно окончит свое жалкое земное существование. <…> Что же остается? Как филантроп я должен желать того, чему должен препятствовать как врач»[574]. Однако случилось иначе — прогноз доктора Дитриха не оправдался.

V
Вологда

В 1825 году опекуном над имениями Батюшкова, которые к этому времени состояли из двух сел (Воздвиженское и Межки), восемнадцати деревень и примерно семисот душ мужского и женского пола, стал его зять П. А. Шипилов. Поскольку Шипилов уже давно исполнял обязанности управляющего этими имениями, то ему было нетрудно вести дела и ежегодно отчитываться перед Вологодской дворянской опекой. Надо сказать, что хозяйствовал он довольно успешно и освободил имения своего шурина от тяготевших над ними многие годы долгов. Однако в 1829 году Шипилов переехал в Петербург и больше исполнять обязанности опекуна вологодских имений Батюшкова не мог. В 1833 году эти обязанности принял на себя сын давно умершей сестры Батюшкова Анны Николаевны — Григорий Абрамович Гревенс. С этого момента жизнь самого Батюшкова приняла новый оборот.

Во-первых, последовало увольнение со службы по Министерству иностранных дел, на которой Батюшков, несмотря на свое неизлечимое заболевание, числился, получая жалованье. Благодаря усилиям Жуковского император распорядился выдать Батюшкову пожизненный пенсион в две тысячи рублей. Во-вторых, родные Батюшкова все-таки решили увезти его из Москвы. В 1833 году он покинул старую столицу и отправился в родной город Вологду, где ему суждено было прожить еще 22 года, до самой смерти. Наймом квартиры для Батюшкова и ее обустройством в Вологде занимался его племянник и опекун Григорий Гревенс, который с тех пор стал для больного дяди самым близким родственником.

К тому моменту, когда Г. А. Гревенс принял на себя обязанности опекуна, ему было уже 30 лет. Он родился в имении А. Н. Батюшковой на Вологодчине в 1803 году, но совсем маленьким ребенком был перевезен в Петербург, там рано лишился матери, а потом, видимо, неизвестных нам братьев и сестер[575]. Когда ему было десять лет, Гриша был определен в Морской кадетский корпус, после окончания которого семь лет служил во флоте, был в нескольких походах в северных морях и к 1827 году получил чин лейтенанта флота. Он вышел в отставку, похоронил своего отца А. И. Гревенса и в 1830 году женился на Е. П. Брянчаниновой, представительнице старого дворянского рода и одной из лучших вологодских фамилий. Видимо, тогда же Г. А. Гревенс с молодой женой переехал в Вологду. Там было легче, чем в Петербурге, делать карьеру, но также там было ближе к имению жены, а кроме того, это была земля и его предков — Бердяевых и Батюшковых, и отъезд в Вологду Гревенс мог воспринимать как возвращение к корням. Собственно тот факт, что Гревенс постоянно жил в Вологде, стал одним из решающих аргументов в пользу его опекунства. 13 января 1833 года на заседании Вологодской дворянской опеки рассматривался вопрос о назначении Г. А. Гревенса опекуном Батюшкова в связи с прошением Шипилова о прекращении его обязанностей. Вопрос этот был решен положительно.

Гревенс нанял для Батюшкова дом, принадлежавший вологодскому священнику П. В. Васильевскому, в котором Батюшков прожил с 1833 по 1844 год. Этот дом в Вологде сохранился[576], он представляет собой двухэтажный деревянный особняк с антресолями, квартира Батюшкова находилась на втором этаже. Планировка ее обычна для ампирного времени: анфилада из трех парадных покоев располагалась по главному фасаду здания, угловые печи, балкон, сад над рекой, комнаты для прислуги и компаньона штаб-ротмистра Львова, который

исполнял обязанности сиделки и одновременно скрашивал одиночество Батюшкова в первые десять лет его вологодской жизни. Конечно, оказавшись в Вологде, Батюшков выпал из жизненной орбиты его друзей. Ни Вяземский, ни Жуковский, ни Блудов, ни Дашков, ни Тургенев больше никогда не видели его и не говорили с ним. Однако сохранились воспоминания людей их круга, которым довелось встречаться с Батюшковым в Вологде. Одно из них принадлежит знаменитому впоследствии цензору, а в то время профессору Санкт-Петербургского университета А. В. Никитенко, в юности страстному поклоннику поэзии Батюшкова, хранившему в памяти его самые известные стихотворения. «Мы буквально упивались их музыкой и заучивали наизусть целые пьесы, например: „Мои Пенаты“, „Умирающий Тасс“…» — вспоминал он[577]. В июле 1834 года Никитенко отправился в поездку по северным губерниям России — Олонецкой, Архангельской и Вологодской с инспекцией учебных заведений. Посещение больного Батюшкова совершенно не входило в его планы, тем более что Никитенко не был с ним знаком. В дом поэта его пригласил родственник Батюшкова, «жандармский полковник» П. А. Соколов. Встреча состоялась 15 августа 1834 года: «Заехал утром к жандармскому полковнику, и мы вместе отправились к несчастному поэту.

Когда ему объявили о моем прибытии, он сказал:

— Очень хорошо: с ним и дева Мария придет ко мне.

Дух этого человека в совершенном упадке. Я прочел ему несколько стихов из его собственного „Умирающего Тассо“: он их не понял. Их удивительная гармония не отозвалась в душе, некогда создавшей их.

Он говорил страшный вздор о том, что у него заключен какой-то союз с Англией, Европой, Азией и Америкой; что он где-то видел, как кто-то влачил в пыли Карамзина и русский язык; вспоминал о какой-то Екатерине Карамзиной и все заключил неприличной выходкой против англичан. Затем он быстро вскочил и побежал в сад. Мы последовали за ним, но он уже больше ничего не говорил: был угрюм и молчалив. Его содержат хорошо. Комнаты его меблированы отлично, и сам он одет опрятно и даже нарядно — в синем шелковом халате и ермолке на голове. Он закидывал конец халата на плечо, в виде римской тоги, и все время старался принять важный, трагический вид. Ужасное впечатление произвел он на меня: я долго не мог от него оправиться»[578]. Стоит отметить, что важнейшими впечатлениями, оставшимися в сознании больного, была самая актуальная проблематика эпохи: борьба за новый слог, роль Карамзина, влияние античной культуры на русскую. Влияние личности

Карамзина и его близких на свою жизнь Батюшков ощущал, пусть в виде смутных воспоминаний, и в самые мрачные годы своего помешательства.

Через семь лет после А. В. Никитенко, 23 августа 1841 года, с Батюшковым встретился М. П. Погодин, проезжавший через Вологду. В своем дорожном дневнике он записал: «Отправился к Батюшкову, по вызову священника, в чьем доме он живет. Прекрасные комнаты… Константин Николаевич провел ночь нехорошо. Священник и г. П. советовали мне встретиться с ним на прогулке, в саду над рекою, куда он сейчас должен идти. Получив сведения от них об его состоянии и несколько рисунков его работы, я отправился в сад. Через час я вижу и Батюшкова. Он совершенно здоров физически, но поседел, ходит быстро и беспрестанно делает жесты твердые и решительные; встретился с ним два раза, а более боялся, чтоб не возбудить в нем подозрения»[579].

В апреле 1842 года опекун и племянник Батюшкова Г. А. Гревенс был утвержден управляющим Вологодской конторой уделов и получил казенную квартиру в доме Удельного ведомства, куда и переехал вместе со своей уже сильно разросшейся семьей. Дом удельной конторы находился в самом центре города в прекрасном месте[580], окна его выходили на Архиерейский двор и Вологодский кремль, квартира была просторная и удобная. Изменилось и состояние Батюшкова: болезненные пароксизмы и нервные припадки, которые после переезда в Вологду были частым явлением, уже давно не повторялись, и Гревенс решил перевезти дядю в свою семью. Это произошло в феврале 1845 года. Именно тогда из годовых отчетов опекуна поэта исчезла запись «за наем дома» и прекратилась плата компаньону[581]. Жизнь Батюшкова снова поменяла свой ход, и теперь, несомненно, в лучшую сторону. Он оказался среди родных и близких людей, в теплой атмосфере семьи, в которой были дети.

В 1847 году Вологду посетил С. П. Шевырев, оставивший свое свидетельство о встрече с Батюшковым, которая происходила уже в доме Гревенса: «А. В. Башинский[582] повез меня к начальнику удельной конторы Г. А. Г<ревен>су, в доме которого живет Константин Николаевич Батюшков, окруженный нежными заботами своих родных. Болезненное состояние его перешло в более спокойное и не опасное ни для кого. Небольшого росту человек, сухой комплекции, с головкой почти совсем седою, с глазами, ни на чем не остановленными, но беспрерывно разбегающимися, со странными движениями, особенно в плечах, с голосом раздраженным и хрипливо-тонким, предстал передо

мною. Подвижное лицо его свидетельствовало о нервической его раздражительности. На вид ему лет 50 или более. Так как мне сказали, что он любит итальянский язык и читает иногда на нем книги, то я начал с ним говорить по-итальянски, но проба моя была неудачна. Он ни слова не отвечал мне, рассердился и быстрыми шагами вышел из комнаты. Через полчаса однако успокоился, — и мы вместе с ним обедали. Но, кажется, все связи его с прошедшим уже разорваны. Друзей своих он не признает. За обедом, в разговоре, он сослался на свои „Опыты в прозе“, но в такой мысли, которой там вовсе нет. Говорят, что попытка читать перед ним стихи из „Умирающего Тасса“ была так же неудачна, как и моя проба говорить с ним по-итальянски. Я упомянул, что в Риме, на пиацца Поли, русские помнят дом, в котором он жил, и указывают на его окна. Казалось, это было для него не совсем неприятно. Также прочли ему когда-то статью об нем, напечатанную в „Энциклопедическом Лексиконе“: она доставила ему удовольствие. Как будто любовь к славе не совсем чужда еще чувствам поэта, при его умственном расстройстве!

Батюшков очень набожен. В день своих имянин и рожденья он всегда просит отслужить молебен, но никогда не даст попу за то денег, а подарит ему розу или апельсин. Вкус его к прекрасному сохранился в любви к цветам. Нередко смотрит он на них и улыбается. Любит детей, играет с ними, никогда ни в чем не откажет ребенку, и дети его любят. К женщинам питает особенное уважение: не сумеет отказать женской просьбе. Полное влияние имеет на него родственница его Елизавета П<етров>на Г<ревенс>. Для нее нет отказа ни в чем. Нередко гуляет. Охотно слушает чтение и стихи. Дома любимое его занятие — живопись. Он пишет ландшафты. Содержание ландшафта почти всегда одно и то же. Это элегия или баллада в красках: конь, привязанный к колодцу, луна, дерево, более ель, иногда могильный крест, иногда церковь. Ландшафты писаны очень грубо и нескладно. Их дарит Батюшков тем, кого особенно любит, всего более детям. Дурная погода раздражает его. Бывают иногда капризы и внезапные желания. В числе несвязных мыслей, которые выражал Батюшков в разговоре с директором гимназии, была одна, достойная человека вполне разумного, что свобода наша должна быть основана на евангельском законе»[583].

Ландшафты Батюшкова, о которых упоминает Шевырев, сохранились. Они не столько «грубы и нескладны», сколько просто не соответствуют представлениям о высоком искусстве, а скорее напоминают рисунки детей. Техника, которую применял Батюшков, была чрезвычайно разнообразной и замысловатой, но тоже в рамках детского творчества: блестящая бумага,

аппликация, бордюры, яркие однотонные краски. А. С. Власов, живой свидетель последних лет Батюшкова, писал об этом так: «Содержание его рисунков состояло из цветов, плодов, птиц, животных, а иногда пейзажи. Картины его по содержанию и исполнению представляли что-то странное, даже иногда ребяческое; он выполнял их всеми возможными способами — вырезывал фигуры птиц и животных из бумаги и, раскрасив, наклеивал их на цветной фон, давал предметам совершенно неестественный колорит и пестрил свои акварели золотою и серебряною бумагою»[584].

Вместе с Шевыревым в Вологду приезжал художник Н. В. Берг, тоже оставивший свои воспоминания о Батюшкове и его карандашный портрет — спиной к зрителю. Сначала Батюшков принял появление Берга с неудовольствием, он не любил, когда приходят смотреть на него: «Я вошел тихо. Дверь, ведущая в залу, была немного отворена, и когда я взглянул туда: мне мелькнула какая-то белая фигура, ходившая из угла в угол по комнате. Я вгляделся: это был старичок, небольшого росту, в белом полотняном сюртуке; на голове у него была бархатная темно-малиновая ермолка; в руках белый платок и серебряная табакерка; на ногах черные спальные сапоги. <…> Он сейчас услыхал шум в передней, подошел к двери, взглянул на меня и, быстро повернувшись, ушел. Я вошел в залу: там не было никого. Посередине стоял круглый стол. В простенках между окнами, которые глядели на улицу, было два зеркала. По стене стояли стулья. Я сел на один, дожидаясь, что кто-нибудь войдет. Направо как раз напротив одного зеркала была отворенная дверь, которая, как мне казалось, вела в коридор. Немного погодя, по этому коридору раздались шаги, и в залу вошел тот же беленький старичок. Не глядя на меня, он подошел прямо к зеркалу; я увидел там его лицо и страшные глаза, дико сверкавшие из-под густых бровей; он также увидел меня; два раза окинул меня глазами; потом взглянул опять в зеркало, снял ермолку, взъерошил волосы, совершенно белые и низко подстриженные, надел опять ермолку, быстро повернулся и скорыми шагами вышел, или, можно сказать, выбежал вон». Через некоторое время Батюшков успокоился, был приглашен к утреннему чаю, за которым собралась вся семья, и Берг мог пристально рассмотреть его лицо: «Оно тогда было совершенно спокойно. Темно-серые глаза его, быстрые и выразительные, смотрели тихо и кротко. Густые, черные с проседью брови не опускались и не сдвигались. Лоб разгладился от морщин. В это время он нисколько не походил на сумасшедшего. Как ни вглядывался я, никакого следа безумия не находил на его смирном, благородном лице.

Напротив, оно было в ту минуту очень умно. Скажу здесь и обо всей его голове: она не так велика; лоб у него открытый, большой; нос маленький, с горбом; губы тонкие и сухие; все лицо худощаво, несколько морщиновато; особенно замечательно своею необыкновенною подвижностью; это совершенная молния; переходы от спокойствия к беспокойству, от улыбки к суровому выражению — чрезвычайно быстры. И весь вообще он очень жив и даже вертляв. Все, что ни делает, делает скоро. Ходит также скоро и широкими шагами. <…> Когда он допил чашку, его спросили, — не хочет ли он еще? Но он сказал отрывисто: нет! кофею! — Потом встал и ушел в переднюю. Говорят, это его любимое место. Иногда он сидит там по целому часу. Немного погодя, он вышел из передней и стал ходить по комнате. Часто подходил к окну, останавливался перед ним, заложив руки назад или скрестивши их на груди, и смотрел на улицу. Потом опять начинал ходить. Он уже совершенно забыл про меня. Лицо его было спокойно, только брови иногда немного насупливались. Никто из домашних не обращал на него никакого внимания. Дети бегали по комнате, и это его не беспокоило. Один ребенок вдруг подбежал к нему и стал его затрогивать; он нагнулся, ласково потрепал дитя по щеке, взял за подбородок и улыбнулся; трудно сказать, как много было приятности в этой улыбке… может быть, потому, что не ждешь ее на этом постоянно суровом и, если не сердитом, то задумчивом лице… Потом он опять подошел к окну и стал глядеть на улицу; <…> иногда поднимал плечи вверх; что-то шептал и говорил; его неопределенный, странный шепот был несколько похож на скорую, отрывистую молитву. И может быть, он в самом деле молился, потому что иногда закидывал назад голову и, как мне показалось, смотрел на небо; даже мне однажды послышалось, что он сказал шепотом: „Господи!..“ В одну из таких минут, когда он стоял таким образом у окна, мне пришло в голову срисовать его сзади. Я подумал: это будет Батюшков без лица, обращенный к нам спиной, — и я, вынув карандаш и бумагу, принялся как можно скорее чертить его фигуру; но он скоро заметил это и начал меня ловить, кидая из-за плеча беспокойные и сердитые взгляды. Безумие опять заиграло в его глазах, и я должен был бросить работу»[585]. Еще один портрет Батюшкова — сначала акварельный, а потом и масляный был написан в начале 1850-х годов, имя художника неизвестно, но сохранилась память об обстоятельствах, при которых поэт согласился позировать. Он потребовал, чтобы в петлицу его сюртука вставили цветок «анютины глазки», с этим цветком в петлице Батюшков и изображен на портрете.

П. А. Шипилов, любимый зять Батюшкова, в 1847 году вышел

в отставку и снова переехал из Петербурга в Вологду. Здесь он навещал своего шурина, и впечатления у него были тоже вполне оптимистичные: «Он нередко бывает ныне покоен и молчалив, а едва начнет говорить, то странные суждения его о людях и предметах тотчас обнаруживаются. Заметно лишь в нем, что ныне не только он опрятен, но более щеголеват и бережлив в одежде; разумеется, что в лице он постарел, но, пользуясь физическим здоровьем, он сохранил благовидную наружность. Память из прошедшего бывает у него верна. Напри<мер>, в бытность его у нас, увидя портрет сестры Александры карандашом в профиль, он тотчас узнал свою работу…»[586] Удивительно замечание Шипилова о «физическом здоровье» Батюшкова — мы помним, как он умирал от воспаления легких в марте 1830 года, как мучился простудными заболеваниями, лихорадкой, слабой грудью, распухшим горлом, головными и страшными ревматическими болями в раненой ноге. Но, по всем признакам, психическая болезнь вытеснила из его организма все остальные. В Вологде он значительно окреп и физическое здоровье действительно вернулось к нему. Шипилов отмечает также верность воспоминаний Батюшкова. Это подтверждают и другие свидетельства. Когда в августе 1853 года умерла сестра Батюшкова Елизавета и Батюшков узнал, что похоронили ее не в Спасо-Прилуцком, а в Духовом монастыре, он заметил: «…ей в Прилуках не с кем было бы говорить по-французски»[587]. Когда-то давно Батюшков вел спор с сестрой о преимуществах латыни и немецкого перед французским языком. Но сестра, воспитанная в пансионе мадам Эклебен, упорно искала для сына Алеши преподавателя французского. Об этой ее слабости Батюшков помнил и в состоянии душевной болезни. «Вообще говоря, — пишет в своих заметках о последних годах Батюшкова директор училищ Вологодской губернии А. С. Власов[588], — он жил теми идеями и понятиями, которые вынес из сознательных годов своей жизни, и далее их не шел, ничего не заимствуя из современности, которой для него как будто не существовало. В течение этого долгого промежутка времени только один случай сблизил его с настоящим: он полюбил маленького сына Григория Абрамовича, Модеста, которого называл маленьким своим другом и любил проводить с ним время. В 1849 году малютка умер на шестом году своей жизни и был горько оплакан Константином Николаевичем, который сам избрал место для его могилы в Прилуцком монастыре, сочинил для него памятник и завещал, чтобы его похоронили подле внука[589]. Духовник Батюшкова, протоиерей Дмитриевской церкви В. А. Писарев оставил трогательные воспоминания об этом событии: „Когда у них в

доме умер самый маленький из детей, Модест, которого он любил более других, увидевши меня, он взял за руку, стал перед образом на колени и с жаром сердечным произнес ко мне: „Молись, ангелто наш отлетел на Небо, вот он там“, — глаза его при этом увлажнились слезами“»[590].

Батюшков заболел тифозной горячкой в июне 1855 года, в самый разгар Крымской войны, когда шла знаменитая осада Севастополя. До своей последней болезни и даже во время нее он проявлял неподдельный интерес к ходу войны, читал сообщения газет, интересовался картами военных действий. Казалось, безумие отступило… Батюшков умер 7 июля 1855 года в доме своего племянника Г. А. Гревенса. «Родственники его, не видавшие никогда, чтобы он носил на себе крест, на умершем нашли два креста, один весьма старинный, а другой — собственной его работы»[591].

В октябре 1855 года газета «Вологодские губернские ведомости» в двух номерах опубликовала пространный материал о Батюшкове, автором которого был внучатый племянник поэта П. Г. Гревенс. Первая часть включала факты биографии Батюшкова до его переезда в Вологду в 1833 году, вторая была целиком посвящена его вологодской жизни. Это важное свидетельство не просто очевидца, бросившего беглый взгляд на душевнобольного страдальца, а близкого человека, наблюдавшего Батюшкова изо дня в день:

«По приезде его в 1833 году К. Н. был почти неукротим и сильно страдал нервным раздражением; малейшая безделица приводила его в исступление; но постоянное кроткое, предупредительное обхождение постепенно смягчало старца. Душевное его расстройство было так велико, что он боялся зеркал, света свечи, а о том, чтобы увидеть кого-нибудь, не хотел и думать, и в эти печальные дни бывали с незабвенным К. Н. ужасные пароксизмы: он рвал на себе платье, не принимал никакой пищи, и только спасительный сон укрощал его возмущенный организм. Но лет десять тому назад начала в нем обнаруживаться значительная перемена к лучшему: он стал гораздо кротче, общительнее, начал заниматься чтением, и страсть его к чтению постоянно усиливалась до самой кончины. Любимыми авторами его были М. Н. Муравьев, Карамзин, Измайлов, Крылов, Капнист и Кантемир. Очень часто случалось, что он цитировал целые страницы Державина на память, которая ему не изменяла до последних дней. Говоря о своих походах, он всегда вспоминал о Денисе Васильевиче Давыдове, превозносил похвалами его историческую отвагу, с грустью говорил о бывших своих начальниках, генералах Бахметеве и Раевском, в

особенности о последнем. Из друзей своих чаще всего упоминал о Жуковском, Тургеневе и князе Вяземском и всегда с особенною любовью отзывался о Карамзине и обо всем его семействе, которое называл родным себе. Неизменный в любви своей к природе, он не переставал жить ею: собирание цветов и рисование их с натуры составляло любимейшее его занятие. Иногда выходили из-под его кисти и пейзажи; но что-то печальное отражалось на его рисунке и характеризовало его моральное состояние. Луна, крест и лошадь — вот непременные принадлежности его ландшафтов. Глубокое знание языков французского и итальянского не оставляло его никогда, и весьма часто, сидя один, цитировал он целые тирады из Тасса.

День его обыкновенно начинался очень рано. Вставал он часов в пять летом, зимою же часов в семь, затем кушал чай и садился читать или рисовать; в 10 часов подавали ему кофе, а в 12-ть он ложился отдыхать и спал до обеда, то есть часов до 4-х, опять рисовал или приказывал приводить к себе маленьких своих внуков, из которых одного чрезвычайно любил. <…> Живя летом в деревне, он одну ночь проводил дома, все прочее время постоянно гулял, и это движение много способствовало тому прекрасному состоянию его физического здоровья, которым он пользовался до последних дней своей жизни. Нынешние события чрезвычайно занимали К. Н. и, читая газеты, как русские, так и иностранные, из которых особенно любил *L'Independence Beige,* он часто разбирал политику нынешнего властителя Франции, называл ее вероломною и постыдною, а в особенности бранил турок, которые, по мнению его, возбудили нынешние кровопролития. Имея пред собой карту военных действий, К. Н. шаг за шагом разбирал все действия союзных армий. При этом он вспоминал свои походы в Финляндию и любил говорить о сражениях под Гейльсбергом и Лейпцигом. В первом из них он был ранен в ногу, во втором потерял своего друга, Петина.

Тифозная горячка, которая унесла в могилу К. Н., началась 27 июня; но никто из окружающих его не мог думать, чтобы она приняла такой печальный исход. В период времени от начала болезни до дня кончины К. Н. чувствовал облегчение, за два дня до смерти даже читал сам газеты, приказал подать себе бриться и был довольно весел; но на другой день страдания его усилились, пульс сделался чрезвычайно слаб и 7 июля он умер в 5 часов пополудни. Конец его был тих и спокоен. В последние часы его жизни племянник его Г. А. Гревениц стал убеждать его прибегнуть к утешениям веры; выслушав его слова, К. Николаевич крепко пожал ему руку и благоговейно перекрестился три раза. Вскоре после этого К. Н. уснул сном праведника. 10 июля он

погребен в Спасо-Прилуцком монастыре со всеми почестями, приличными его таланту и известности, и положен рядом с малюткою внуком, которого так нежно любил.

Вот, простой, безыскусственный рассказ некоторых подробностей о жизни К. Н., на которого мы с юности привыкли смотреть как на главу нашего семейства. Утрата его еще слишком свежа для нас, и это да послужит нам оправданием в глазах тех, кому интересно узнать о последних годах жизни и предсмертных минутах Батюшкова, о котором можно сказать, выражаясь его же словами: „Погиб певец, достойный лучшей доли“»[592].

ЭПИЛОГ

Через неделю после похорон Батюшкова в газете «Вологодские губернские ведомости» появился некролог, автор которого писал: «С лишком 30 лет прошло с тех пор, как умолкла лира Поэта. Несмотря на то, что в течение этого времени язык наш далеко ушел по пути к совершенству, сочинения Батюшкова и поныне читаются с тем же восторженным чувством, как и в былое время. Хотя предметами для своих вдохновений он избирал иногда иностранных писателей, преимущественно итальянских, но он владел даром такого глубокого чувства, так искусно умел воспроизводить их своим талантом и облекать написанное в такую изящную гармонию, что эти произведения носят печать самобытного его таланта. Вспомним, например, его элегию „Умирающий Тасс“, это истинно образцовое произведение»[593].

Удивительно, как органично читатели Батюшкова усвоили предложенное самим поэтом сопоставление его собственной судьбы с судьбой Торквато! А. В. Никитенко, чтобы пробудить сознание Батюшкова, стал читать ему отрывок из «Умирающего Тасса». П. Г. Гревенс закончил свои воспоминания о Батюшкове цитатой: «Погиб певец, достойный лучшей доли». Автор некролога в качестве примера образцового произведения Батюшкова выбрал ту же элегию. Безумие дополнило картину той трагической краской, которая в сознании русского общества довела сходство до полного совпадения. Различие состояло, пожалуй, только в том, что в моменты просветления Торквато продолжал писать лирические стихотворения и трактаты-диалоги о литературе и философии; Батюшков же, как справедливо замечает автор его некролога, замолчал более чем на 30 лет. Правда, судя по всему, он продолжал ощущать себя поэтом, помнил и о том, что был автором книги, любил, когда ему намекали на его известность. В состоянии душевной болезни Батюшков не утратил способности к стихосложению. Некоторые из его текстов, написанных в период между 1824 и 1855 годами, дошли до нас, некоторые даже публиковались, но над их восприятием всегда тяготело мнение, точно выраженное академиком М. П. Алексеевым: стихи эти в большей степени могут служить «материалом для медико-психологических экспериментов, чем для истории русской поэзии»[594]. Подобным же образом значительно раньше М. П. Алексеева высказывался и Д. Д. Благой: «…Всё, написанное им (Батюшковым. — *А. С.-К.)* за время болезни, представляя весьма любопытный материал для

психиатра, отчасти для литературоведа-исследователя, никакого художественного значения не имеет»[595]. Завороженные авторитетными запретами историки литературы всерьез к этим текстам и не обращались. Но поскольку разговор о художественном значении того или иного поэтического текста представляется нам всегда чрезвычайно субъективным, мы считаем возможным остановиться на двух стихотворениях, написанных Батюшковым во время болезни.

Первое из них называется «Подражание Горацию» и представляет собой традиционное для мировой поэзии переложение известной оды Горация «К Мельпомене» *(Exegi monumentum)*. Стихотворение было записано Батюшковым в альбом его внучатой племянницы Елизаветы Григорьевны Гревенс. Время создания этого текста предположительно — 1849 год, когда Батюшков упоминает о нем в письме: «Прошу Елисавету Петровну не показывать моих новых стихов „Подражание Горацию“ Александру Петровичу Брянчанинову, ибо он презирает мой бедный талант, обитая, яко Аполлон, посреди столь великих стихотворцев, в граде св. Петра»[596].

Я памятник воздвиг огромный и чудесный.
Прославя вас в стихах: не знает смерти он!
Как образ милый ваш и добрый, и прелестный
(И в том порукою наш друг Наполеон),
Не знаю смерти я. И все мои творенья,
От тлена убежав, в печати будут жить.
Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,
В которые могу вселенну заключить.
Так первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Елизы говорить,
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям громами возгласить.
Царицы, царствуйте, и ты, императрица!
Не царствуйте, цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты моя сестрица,
А Кесарь мой — святой косарь[597].

Очевидно, что стихотворение посвящено внучатой племяннице Елизавете (Елизе). Собственно благодаря тому, что поэт прославил ее в стихах, он и получил бессмертие — воздвиг себе памятник. Вслед за этим в стихотворении выстраивается целая цепочка тех, кто «не знает смерти» — «памятник огромный и чудесный», «образ милый ваш», Наполеон, Поэт и его творенья. Из поэтических образов выпадает только Наполеон, но он и

призывается только как свидетель бессмертия, а не его прямой участник[598]. Всё остальное вполне укладывается в рамки творчества. Почему за такую малость, как восхваление никому не известной, но милой и прелестной Елизы, Поэту даруется бессмертие? Ответ очень прост: потому что он сам принимает на себя функции бога вкуса и покровителя искусств Аполлона, властью которого бессмертие может быть даровано. Утверждая эту истину, Поэт бросает вызов предшествующей традиции — перефразируя соответствующие строки «Памятника» Державина, он вызывающе заменяет имя великой императрицы на имя своей очаровательной родственницы.

Ср. у Державина:

> Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
> О добродетелях Фелицы возгласить,
> В сердечной простоте беседовать о боге
> И истину царям с улыбкой говорить.

Как видим, третья строка этой державинской строфы переходит в стихотворение Батюшкова без изменений, а вот четвертая явственно перефразируется: если Поэт заменяет на Олимпе Аполлона и в его власти находится всё мироздание, то, конечно, истину царям логично возглашать громами. Масштаб его влияния на ход истории несравним с державинским. Другой мерой должна мериться и степень его свободы, одно из проявлений которой — вольная замена великой Фелицы на простую Елизу. Финал стихотворения очень многозначен: своей властью Поэт как хозяин вселенной (вспомним, к слову, записку доктора Дитриха, в которой он упоминал о том, как Батюшков называл себя «Константин Бог»[599]) разрешает царствовать царицам вообще и особенно — Императрице. О какой императрице идет речь? Очевидно, что племянница Елиза никакого отношения к императорской фамилии не имеет. В последней строфе образ Елизы начинает двоиться, если не троиться. Мы знаем, что Батюшков, по воспоминаниям очевидцев, часто уходил в прошлое и словно бы жил в том времени, которое оборвалось с наступлением его душевной болезни. По его мнению, не сообразующемуся с реальным ходом истории, царствующей императрицей по-прежнему была Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, которого Батюшков в своем помешательстве боялся и считал виновным в своей жизненной катастрофе. Благодаря этому становится понятной следующая строка — царям запрещается царствовать, более того — всякая политическая власть признается менее значимой, чем

поэтическая («я сам на Пинде царь»). Императрица Елизавета Алексеевна — прямая противоположность воспетой Державиным самовластной Фелице, она действительно добродетельна, милосердна, жертвенна — прекрасна. Есть большое искушение сказать, что Батюшков, возможно, был знаком со стихотворением А. С. Пушкина «К Н. Я. Плюсковой» (1818), где Елизавете Алексеевне посвящены следующие строки:

> Но, признаюсь, под Геликоном,
> Где Кастилийский ток шумел,
> Я, вдохновленный Аполлоном,
> Елисавету втайне пел.
> Небесного земной свидетель,
> Воспламененною душой
> Я пел на троне добродетель
> С ее приветною красой[600].

Обратим внимание на соседство в пушкинском тексте Аполлона с именем Елисаветы, которая воспевается как «добродетель на троне». «Ты», к которой адресовано следующее высказывание Батюшкова, — это уже в меньшей степени Елиза (Гревенс), к которой поэт обращался на «вы» в начале стихотворения, скорее это соименная ей императрица. Почему она вдруг оказывается «сестрицей» Поэта, наравне с Венерой, сестрой самого Аполлона? Потому что, с одной стороны, Поэт, заместивший и сместивший Аполлона, автоматически стал братом его сестры, а кроме того, у Батюшкова действительно была родная сестра с тем же именем — Елизавета Николаевна Шипилова. Заметим к слову, что сюда же примешивается и еще одна почитаемая Батюшковым родственница — Елизавета Петровна Гревенс (Брянчанинова), упомянутая в цитированном выше письме поэта. Это супруга Г. А. Гревенса и мать Елизы, которой посвящено стихотворение. Вспомним свидетельство С. П. Шевырева: «Полное влияние имеет на него родственница его Елизавета Петровна Гревенс: для нее нет отказа ни в чем»[601]. Последняя строка стихотворения настолько ясна, что не требует особенных комментариев. Она обращена целиком к текстам Евангелия и апеллирует к двум фрагментам. Первый — ответ Иисуса на вопрос, позволительно ли платить налоги. Иисус, указав на изображение кесаря и надпись на динарии, сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Второй — образ Господа как «Господина жатвы», который появляется в проповедях Иисуса ученикам в Евангелии от Матфея (9; 37–38). Говоря «Кесарь мой — святой косарь», Поэт раз и навсегда отказывается

от подчинения земной иерархии, Кесарь для него — не тот царь, которому он сам может запретить царствовать, а только один Господь. Божественные функции Поэт делит на двоих — оставляя себе роль бога искусств, и прежде всего — поэзии (очевидно, причиной этого было не покидающее Батюшкова ощущение собственной гениальности).

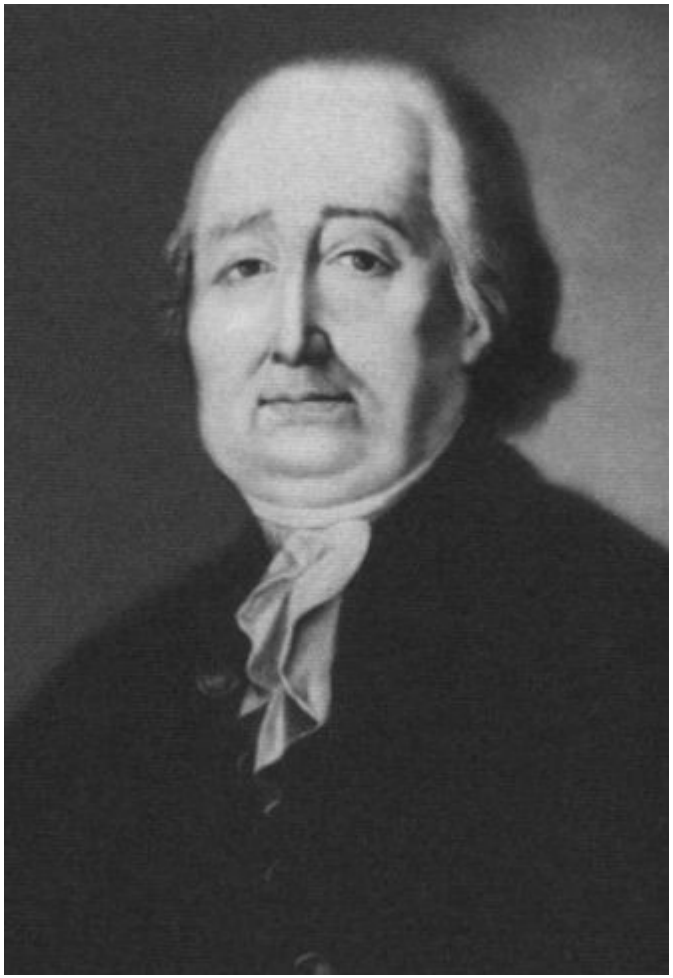
Интересно, что, декларирующий свою независимость и проводящий прямую линию между собой и Богом поэт был на деле чрезвычайно неуверен в себе. Недаром Батюшков передавал просьбу Елисавете Петровне не показывать этого стихотворения ее брату Александру Петровичу Брянчанинову, «ибо он презирает мой бедный талант, обитая, яко Аполлон, посреди столь великих стихотворцев, в граде св. Петра». В жизни функции Аполлона добровольно переданы Батюшковым совсем другому человеку, не имеющему прямого отношения к поэзии, а лишь обитающему среди великих итальянских поэтов и уже поэтому имеющему право судить его «бедный талант». Был ли в это время на самом деле А. П. Брянчанинов в Риме или это плод больного воображения Батюшкова, мы не можем пока установить.

Последнее стихотворение Батюшкова было написано 14 мая 1853 года и уже давно воспринимается как печальный итог его творчества и жизни. Этому короткому стихотворению поэт давал разные названия, общая суть которых — «надпись к портрету» — оставалась неизменной. Невидимыми нитями оно кажется связанным с текстом 1824 года «Изречение Мельхиседека», как если бы творческий путь Батюшкова не прерывался на десятилетия. Как и тогда, в самом начале болезни, поэт говорит о бессмысленности земного существования, о случайности смерти и рождения, об отсутствии благой воли в мироздании, вера в которую была временами так сильна в нем даже во время помешательства:

> Премудро создан я, могу на свет сослаться:
> Могу чихнуть, могу зевнуть;
> Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
> И сплю, чтоб вечно просыпаться[602].

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Лев Александрович Батюшков, дед поэта. Портрет работы неизвестного художника

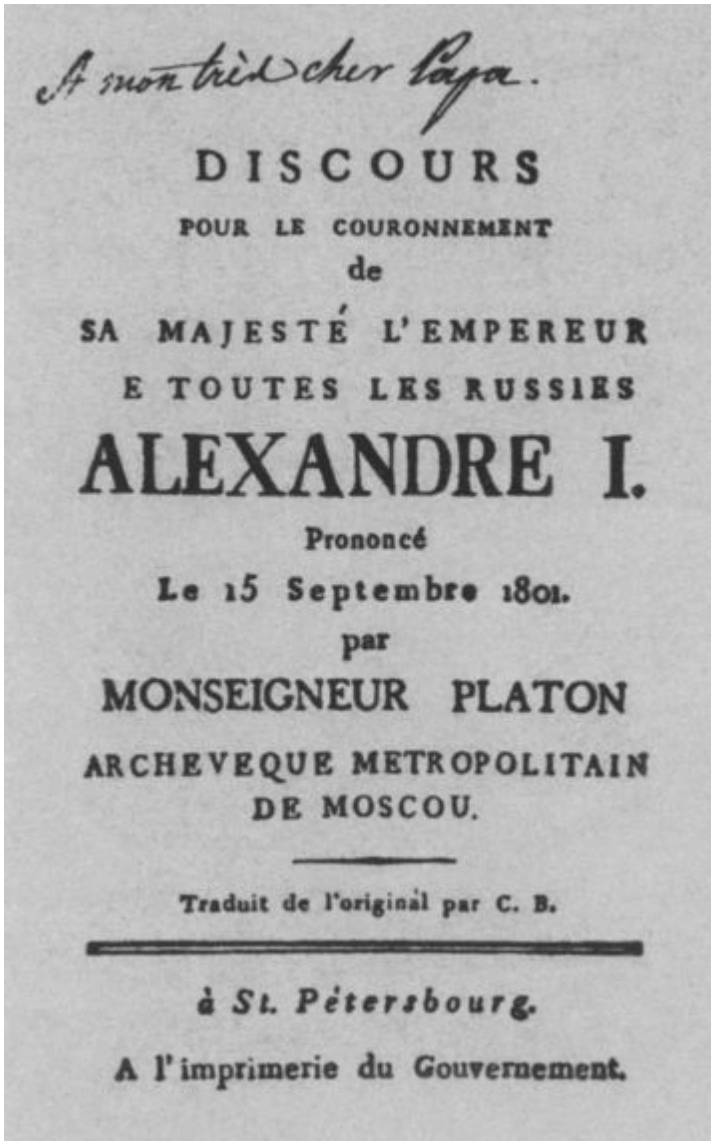


Николай Львович Батюшков. Портрет работы неизвестного художника

Церковь Святой великомученицы Екатерины, что на Фроловке, в Вологде, в которой был крещен К. Н. Батюшков

Надгробный памятник на могиле Александры Григорьевны Батюшковой в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге

Церковь Ильи Пророка в городе Великий Устюг, прихожанами которой А. Г. и Н. Л. Батюшковы были в 1782–1785 годах



Титульный лист перевода речи митрополита Платона на французский язык, сделанного К. Н. Батюшковым в 1810 году. Наверху — дарственная надпись отцу

Елизавета Николаевна Шипилова, урожденная Батюшкова, сестра поэта. Акварель А. И. Ягодникова. Конец 1840-х — начало 1850-х гг.

Варвара Николаевна Соколова, урожденная Батюшкова, сестра поэта. Акварель А. И. Ягодникова. Конец 1840-х — начало 1850-х гг.

Дом Батюшковых в Даниловском. Современное фото

Константин Николаевич Батюшков. Неизвестный художник. 1800-е гг.

Екатерина Федоровна Муравьева. Литография А. А. Васильевского с портрета П. Ф. Соколова. 1827 г.

Михаил Никитич Муравьев. Копия неизвестного художника с оригинала Ж.-Л. Монье. 1810-е гг.

Никита Михайлович Муравьев. Портрет П. Ф. Соколова. 1827 г.

Анна Алексеевна Оленина. О. А. Кипренский. 1828 г.

Николай Иванович Гнедич. Копия неизвестного художника с утраченного оригинала О. А. Кипренского

Предполагаемый портрет Ивана Александровича Петина. Рисунок К. Н. Батюшкова

Елизавета Марковна Оленина. Художник А. Г. Варнек. 1820-е гг.

Алексей Николаевич Оленин. Копия неизвестного художника с оригинала А. Г. Варнека. 1820-е

По указу ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО,
и прочая, и прочая, и прочая.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ВСЕМИЛОСТИВЪЙШАГО ГОСУДАРЯ

Паспорт, выданный К. Н. Батюшкову для проезда через Швецию в Россию в 1814 году

Автопортрет. 1807 г.

Рисунки Батюшкова. 1807–1810 гг.

К. Н. Батюшков. Гравюра В. В. Мате по автопортрету в зеркале

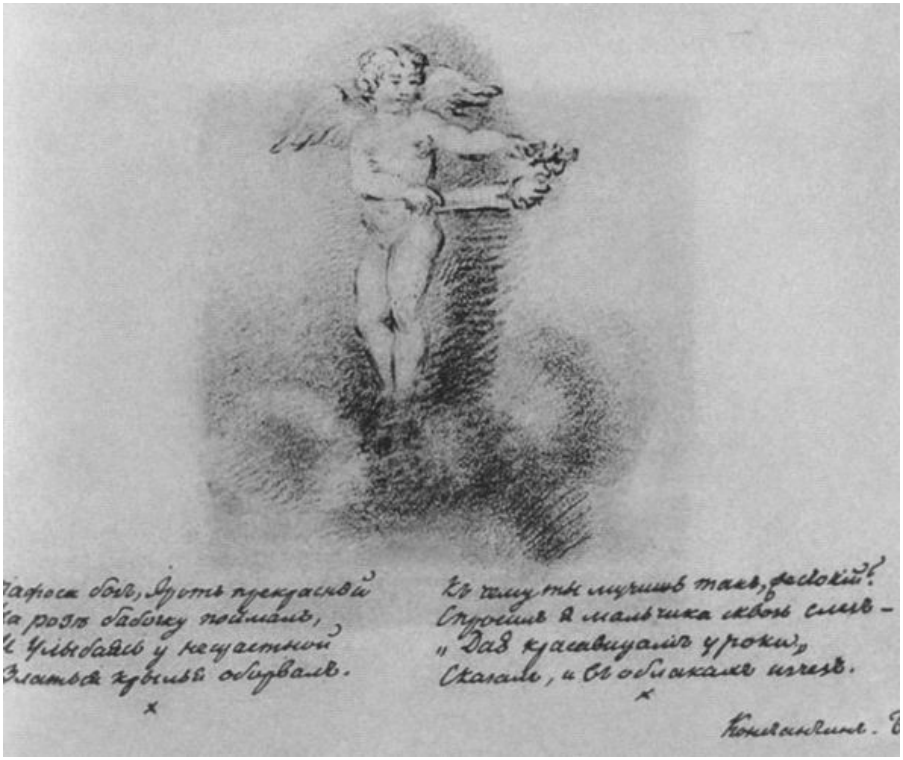
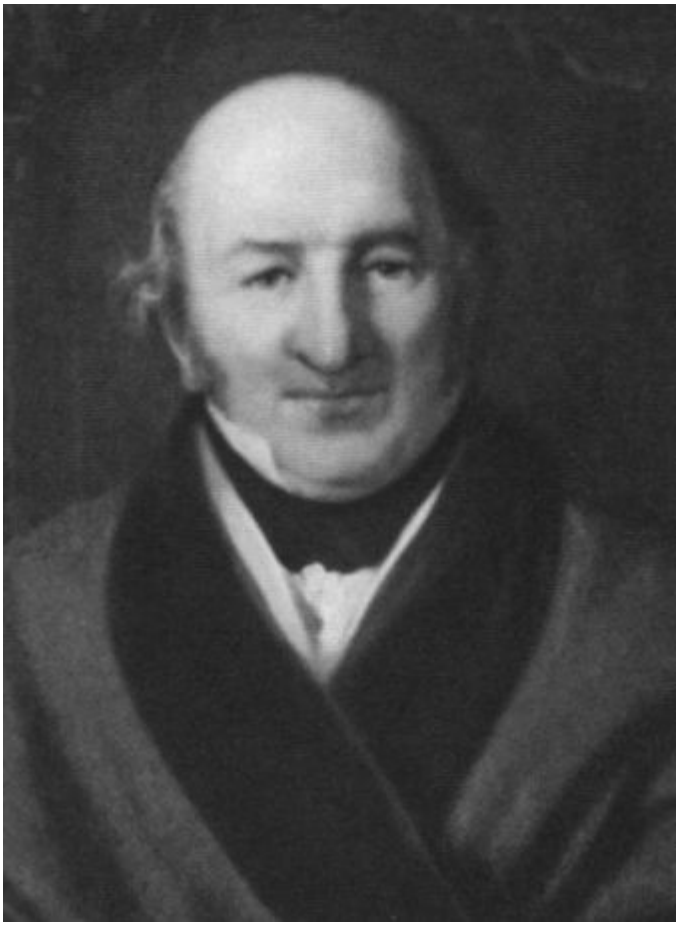

Пафоса бог, Эрот прекрасной
За розу бабочку поймавь,
И улыбаясь у несчастной
Златыя крылья оборвавь.
Кто тому так научит такъ, роскошь!
Спросишь и мальчика живо смекъ –
„Дав красавицам уроки,
Сказалъ, и бабочка исчезъ.

Иллюстрация Батюшкова к стихотворению «Пафоса бог, Эрот прекрасный…». 1809 г.



Александр Александрович Шаховской. Неизвестный художник

Николай Михайлович Карамзин. В. А. Тропинин. 1815 г.

Владислав Александрович Озеров. И. Ромбауэр. 1807 (?) г.

Екатерина Андреевна Карамзина. Неизвестный художник. Конец 1830-х гг.

Петр Андреевич Вяземский. Литография с рисунка И.-Е. Вивьена. 1820-е гг.

«Роскошный Батюшков…» Автопортрет. 1817–1819 гг.

Александр Сергеевич Пушкин. Автопортрет. 1817–1818 гг.

Василий Андреевич Жуковский. Рисунок Батюшкова. 1810 г.

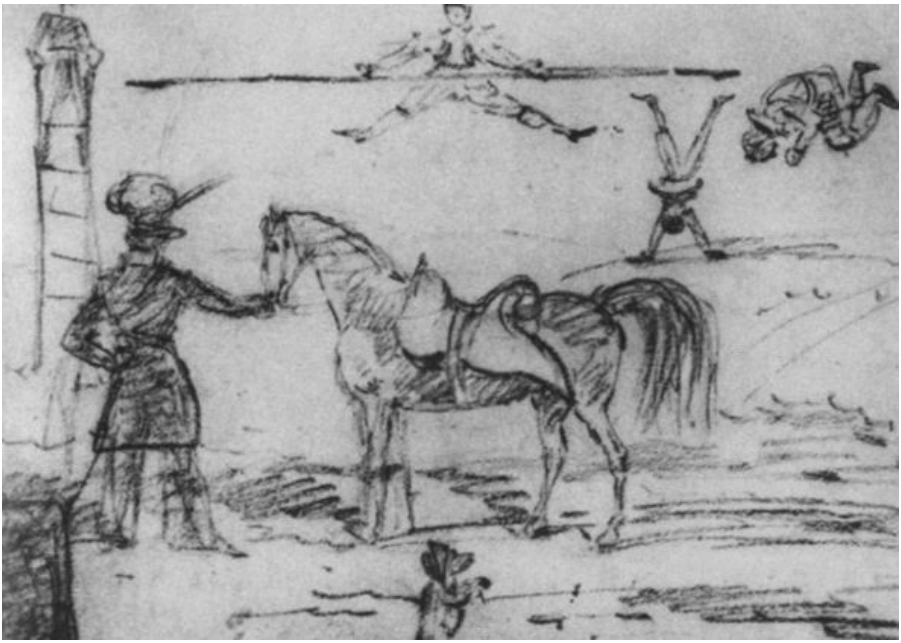
Василий Львович Пушкин. С портрета И.-Е. Вивьена. 1823 г.

Дмитрий Васильевич Дашков. С литографии К. Эргота. 1830-е

Ярмарка. Рисунок Батюшкова. 1818 г.

Сергей Семенович Уваров. Неизвестный художник. 1833 г.

Александр Иванович Тургенев. С портрета П. Ф. Соколова. 1816 г.



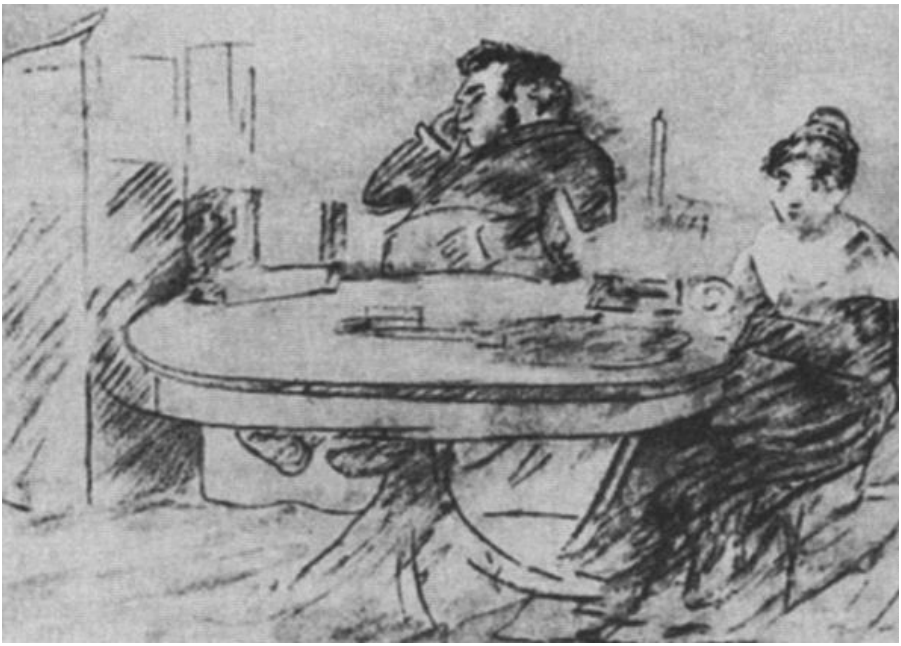
Бродячие акробаты. Рисунок Батюшкова. 1822 г.

Константин Николаевич Батюшков. Гравюра И. Ческого по оригиналу О. А. Кипренского. Первая четверть XIX в.

Константин Николаевич Батюшков. Неизвестный художник. Начало 1850-х гг.

Анна Федоровна Фурман. О. А. Кипренский. 1815–1816

Анна Федоровна Фурман. С рисунка К. К. Гампельна. 1810 г.



Иван Андреевич Крылов и Анна Фурман в Приютине, усадьбе А. Н. Оленина под Петербургом. Рисунок О. А. Кипренского

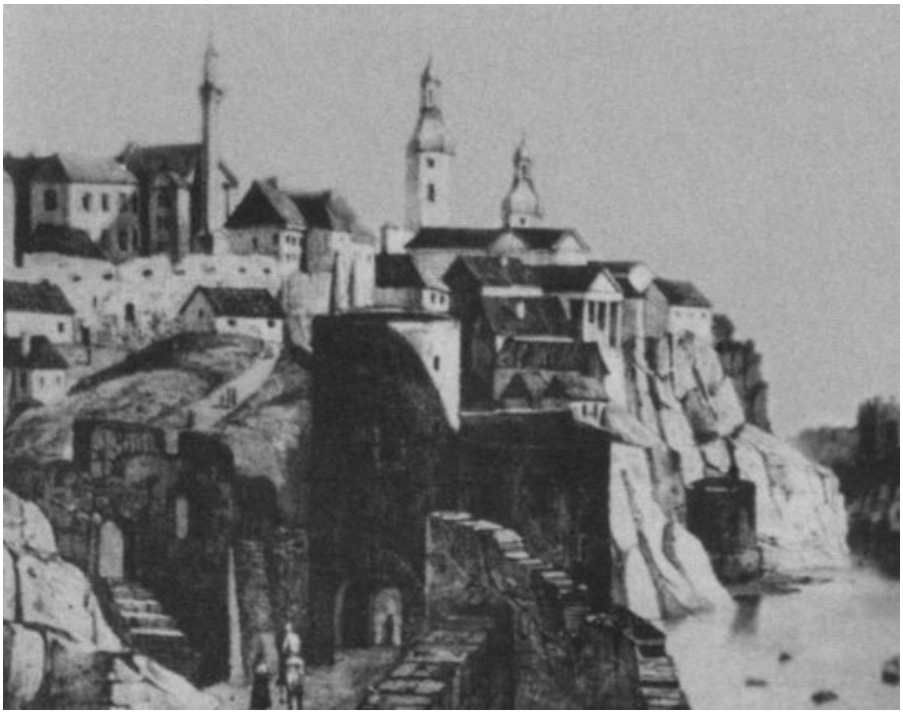
Константин Николаевич Батюшков. Неизвестный художник. 1810-е гг.

Наполеон. Рисунок Батюшкова. 1820-е гг.

Пожар в Москве в 1812 году. Картина Шмидта с оригинала Х. И. Олендорфа

Алексей Николаевич Бахметев. Литография И. Песоцкого с оригинала Д. Доу 1820-х гг.

Николай Николаевич Раевский. Неизвестный художник по оригиналу Д. Доу 1820-х гг.



Каменец-Подольский. Вид города

Титульные листы обоих томов «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова

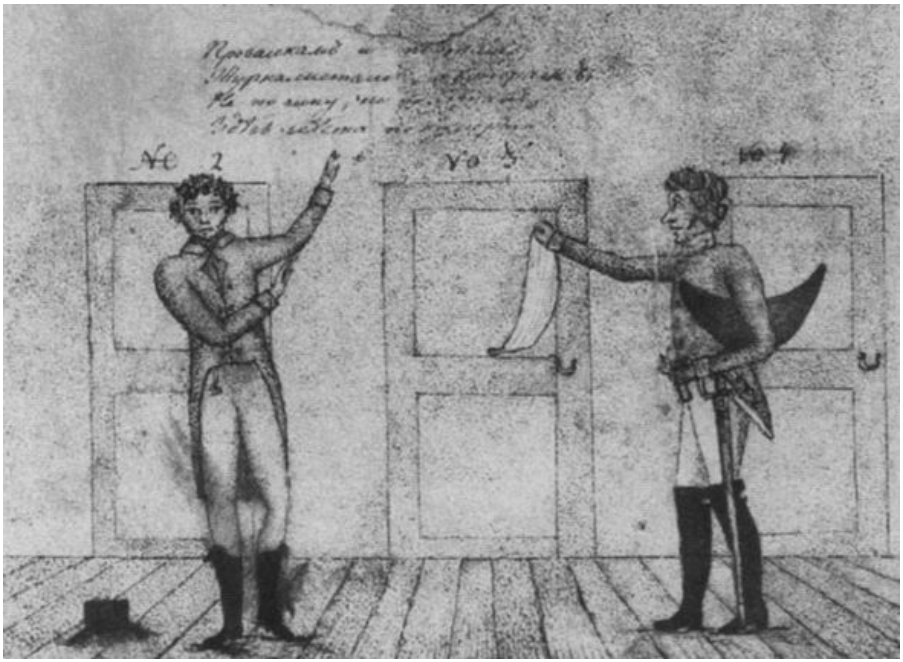
Одесса. Вид мола и берега моря у дворца Воронцовых.
М. Н. Воробьев. 1832 г.

Сильвестр Феодосиевич Щедрин. Автопортрет. 1817 г.

Развалины в Байях, близ Неаполя. С. Ф. Щедрин. 1819 г.

Батюшков. Автопортрет. 1830 г.

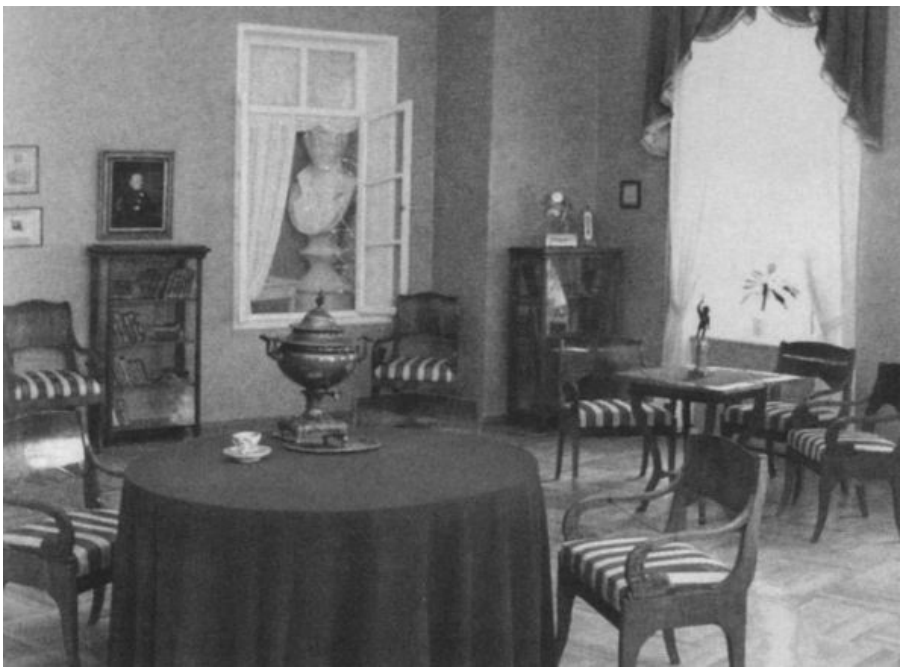
Иллюстрация Батюшкова к стихотворению «Явор к прохожему» (из «Подражаний древним»). 1817–1818 гг.



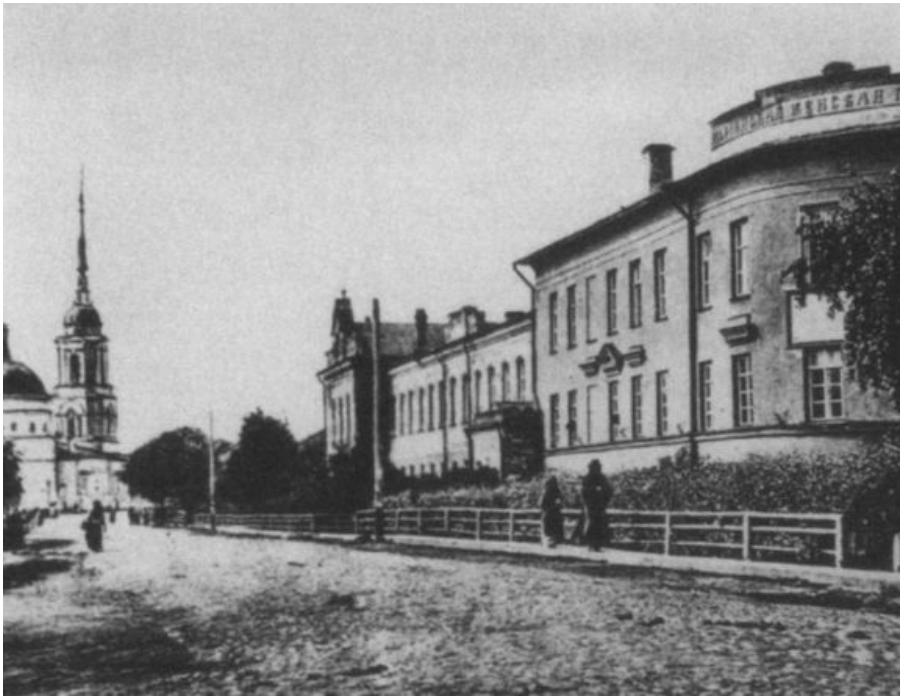
Иллюстрации Батюшкова к сатире А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших». 1814 г.

Пейзаж с домом. Рисунок Батюшкова. 1830-е гг.

Пейзаж с лошадьми. Рисунок Батюшкова. 1830-е гг



Интерьер гостиной в доме Гревенса в Вологде



Дом Гревенса, в котором Батюшков жил в 1845–1855 годах. С фото 1866 г.

Помпей Николаевич Батюшков, младший брат поэта

Портрет священника. Рисунок Батюшкова

К. Н. Батюшков в 1847 году. Рисунок карандашом Н. В. Берга

ВЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1855

Счетъ умершихъ. Мужеска.	Женска.	Мѣсяцъ и день.	Званіе, имя, отчество и фамилія умершаго.	Лѣта умершаго. Мужеска.	Женска.	Отъ чего умеръ
		Июлѣ.				
6.	..	7. 10.	Надворный Совѣтникъ Константинъ Николаевъ сынъ Батюшковъ	60.		Неизвѣстно
			Иерей..... Протоіер...			Пом...
			Діаконъ			Василій
			Полковой			

Метрики Вологодской градской Параскевинской церкви с записью о смерти и погребении Батюшкова. Государственный архив Вологодской области

Вологодская церковь Параскевы Пятницы, в которой отпевали

Батюшкова. Фото 1910 г.

Памятник К. Н. Батюшкову на Соборной горке в Вологде. Скульптор В. М. Клыков

Памятный знак в селе Даниловском

Могила Батюшкова в Спасо-Прилуцком монастыре. Современное фото

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА К. Н. БАТЮШКОВА [603]

1787, 18 мая — в Вологде, в семье надворного советника Николая Львовича Батюшкова и его супруги Александры Григорьевны, урожденной Бердяевой, родился четвертый ребенок, сын Константин.

1791*, 21 ноября* — в Вологде родилась младшая сестра Константина Варвара.

1792*, март — апрель* — семья переехала в Вятку в связи с новым назначением Н. Л. Батюшкова — вятским губернским прокурором.

1793*, лето* — заболела душевной болезнью мать К. Н. Батюшкова.

1794*, 24 мая* — семья Батюшковых отправилась из Вятки в Петербург для лечения заболевшей А. Г. Батюшковой.

1795*, 21 марта* — в Петербурге умерла мать К. Н. Батюшкова.

1795–1796 (1797) — К. Н. Батюшков живет со своим отцом в Петербурге. *1797 (1796)—1800* — пребывание в петербургском частном пансионе француза О. П. Жакино.

1801 — К. Н. Батюшков переведен в пансион итальянца И. А. Триполи.

Начало изучения итальянского языка. Батюшков выполняет перевод на французский язык Слова митрополита Платона по случаю коронации Александра I.

1802 — после окончания учебы Батюшков поселяется в доме двоюродного дяди М. Н. Муравьева.

Декабрь — начал служить в Министерстве народного просвещения.

1802–1805 — Батюшков сближается с коллегами по службе в министерстве (И. П. Пниным, Д. И. Языковым, Н. А. Радищевым, И. И. Мартыновым), знакомится с семейством А. Н. Оленина.

1803*, март* — знакомство с Н. И. Гнедичем, который тоже определился на службу в министерство. Гнедич подает идею Батюшкову переводить на русский язык эпопею («Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо).

1804*, июнь* — Батюшков переводится на должность секретаря при попечителе Московского учебного округа тайном советнике М. Н. Муравьеве.

1805 — первое выступление в печати. В январской книжке журнала «Новости русской литературы» напечатано «Послание к

стихам моим».

Апрель — май — Батюшков предпринимает попытку вступить в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, но принят в него не был. С этого года Батюшков начинает регулярно печататься, входит в литературные круги Петербурга.

1806 — вторичная женитьба отца Батюшкова на девице А. Н. Теглевой, дочери устюженского дворянина. Начало раздоров в семье.

***1807**, январь* — Батюшков определяется под начальство А. Н. Оленина письмоводителем в канцелярию генерала Н. А. Татищева, начальника милиционного войска.

22 февраля — назначен сотенным начальником в Петербургский милиционный батальон.

Март — май — участие в походе русских войск в Германию. Знакомство с И. А. Петиным.

29 мая — сражение при Гейльсберге, ранение Батюшкова.

Июнь — июль — Батюшков в Риге, лечится в семействе купца Мюгеля, увлечение девицей Мюгель.

Конец июля — отъезд из Риги.

29 июля — в Петербурге умер М. Н. Муравьев.

Август — сентябрь — пребывание Батюшкова в Даниловском, родовом имении отца, процесс раздела имущества с отцом, переселение с сестрами в материнское имение Хантоново.

Конец сентября — Батюшков возвращается в Петербург.

Октябрь — перевод в лейб-гвардии Егерский полк в чине прапорщика.

***1808**, май* — отъезд в вологодские имения для решения имущественных вопросов.

18 мая — Батюшкову исполняется 21 год, юридическое совершеннолетие.

20 мая — императорский рескрипт о награждении Батюшкова орденом Святой Анны третьей степени за сражения при Гейльсберге и Лаунау.

Май — в Петербурге умерла старшая сестра Батюшкова — Анна Николаевна Гревенс.

В «Драматическом вестнике», журнале А. А. Шаховского, напечатаны отрывок перевода Батюшкова I песни «Освобожденного Иерусалима», басня «Пастух и соловей».

Сентябрь — Батюшков отправляется в Финляндский поход.

15 октября — первая битва у кирки Иденсальми.

30 октября — вторая битва. Ранение И. А. Петина.

***1809**, март* — Батюшков участвует в ледовом марше на Аландские острова.

Апрель — май — живет в местечке Надендаль (близ Або).

Июнь — получает отставку.

1 июля — приезжает в Петербург и вскоре уезжает в Хантоново. *Июль — декабрь* — живет в Хантонове.

Осень — написано «Видение на берегах Леты».

25 декабря — по приглашению Е. Ф. Муравьевой приезжает в Москву.

***1810**, январь — конец мая* — живет в Москве, в доме Е. Ф. Муравьевой, встречается с Петиным, знакомится с В. А. Жуковским, П. А. Вяземским, Н. М. Карамзиным, В. Л. Пушкиным, М. Т. Каченовским, С. Н. Глинкой и др.

Июнь — июль — живет в Остафьеве с Карамзиными. Вяземским, Жуковским.

Начало июля — внезапно покидает Остафьево и уезжает в Хантоново. Здесь проживает (с заездом в Вологду) до января 1811 года. Переводит стихотворения Э. Парни, создает первые переводы-подражания Тибуллу.

***1811**, начало февраля* — приезжает из Вологды в Москву, где живет до июля.

21 февраля — открытие в Петербурге «Беседы любителей русского слова».

14 июля — приезжает в Хантоново, где остается до конца года. Здесь написаны послание «Мои Пенаты», стихотворение «Вакханка».

***1812**, вторая половина января — до августа* — живет в Петербурге.

8 февраля — принят в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Знакомится с Д. В. Дашковым, Д. Н. Блудовым, С. С. Уваровым и другими будущими членами «Арзамаса».

14 марта — Д. В. Дашков произносит речь против Д. И. Хвостова на заседании ВОЛСНХ. Дашков исключен из общества.

22 апреля — Батюшков принят на службу в Публичную библиотеку в должности помощника хранителя манускриптов.

16 мая — Батюшков официально выходит из состава ВОЛСНХ.

13 июня — начало войны с Наполеоном.

16 августа — Батюшков отправляется в Москву по вызову Е. Ф. Муравьевой: с 4 сентября сопровождает ее в Нижний Новгород. *Начало сентября* — находится во Владимире, встречается с Карамзиными, И. А. Петиным. В Нижнем Новгороде живет до конца года. Знакомится с раненным при Бородине генералом А. Н. Бахметевым, становится его адъютантом.

Октябрь — провожает А. Н. Оленина из Нижнего Новгорода

до Твери, по пути проезжает разоренную Москву.

Декабрь — едет в Вологду для свидания с родными и П. А. Вяземским.

***1813**, февраль* — приезжает из Нижнего Новгорода в Петербург, ждет назначения в действующую армию. Увлечение воспитанницей Олениных А. Ф. Фурман.

29 марта — официально зачислен в Рыльский пехотный полк штабс-капитаном с назначением в адъютанты к генералу Бахметеву.

Июль — получает разрешение отправиться к действующей армии.

24 июля — отъезд из Петербурга. Назначен адъютантом генерала Н. Н. Раевского.

5 августа — участвует в бою близ Теплица.

4–6 октября — лейпцигская Битва народов. В этом сражении убит Петин, ранен Раевский.

Октябрь — ноябрь — живет при Раевском в Веймаре, увлекается немецкой литературой и театром. Опубликовано послание «К Д<ашко>ву».

***1814**, январь* — вступление русских войск во Францию.

27 января — Батюшков награжден орденом Святой Анны второй степени за сражение под Лейпцигом.

Февраль — посещение в Лотарингии замка Сирэ (Сирей).

19 марта — Батюшков в составе своей воинской части вступает в Париж, посещает Лувр, заседание Французской академии.

17 мая — по приглашению Д. П. Северина выезжает в Лондон.

30 мая — из Харвича на пакетботе «Альбион» отбывает в Готенбург (Швеция), куда прибывает 6 июня.

Июнь — отъезд в Стокгольм, откуда Батюшков вместе с Д. Н. Блудовым выезжает через Финляндию в Петербург.

Осень или начало зимы — делает предложение А. Ф. Фурман.

***1815**, январь* — болезнь, нервное расстройство.

Март — окончательный разрыв с А. Ф. Фурман.

8–14 марта — поездка с Е. Ф. Муравьевой в Тихвин на богомолье.

Ранее 18 апреля — уезжает в вологодские имения.

8 июня — уезжает вслед за А. Н. Бахметевым к новому месту службы в Каменец-Подольский. Проживает в Каменце до 26 декабря.

14 октября — на первом заседании «Арзамаса» заочно избран в члены общества.

Пишет «каменецкие элегии» в духе Петрарки («Таврида», «Мой гений», «Разлука», «Пробуждение» и др.).

26 декабря — получив отставку, выезжает в Москву.

***1816**, январь* — по приезде в Москву получает перевод в гвардию, но упорно ожидает отставки.

Начало апреля — получает невыгодную отставку (в чине коллежского асессора).

Июль — тяжелая болезнь — последствия раны при Гейльсберге.

Август — предложение Н. И. Гнедича об издании сборника стихов и прозы.

Октябрь — готовит к печати первый, прозаический том «Опытов в стихах и прозе».

Декабрь — приезжает в Хантоново, где живет более полугола.

1817 — до конца июля в Хантонове занимается подготовкой к печати второго, стихотворного тома «Опытов…». Написаны элегии «Гезиод и Омир соперники», «Умирающий Тасс».

Август — уезжает в Петербург.

27 августа — впервые присутствует на заседании «Арзамаса».

Начало октября — изданы «Опыты в стихах и прозе».

18 ноября — Батюшков назначен почетным библиотекарем Публичной библиотеки.

Около 24 ноября — смерть отца, Н. Л. Батюшкова.

Декабрь — пребывание в Даниловском и Устюжне, хлопоты по имению отца и устройству малолетних брата и сестры — Помпея и Юлии.

***1818**, начало января* — возвращается в Петербург, где живет до мая. Хлопоты через А. И. Тургенева и Д. П. Северина о поступлении на дипломатическую службу. Делает переводы из греческой антологии.

Середина мая — получает отпуск в библиотеке для поездки в Крым. По пути посещает Москву, договаривается об устройстве в пансион брата Помпея.

Конец июня — выезжает через Полтаву в Одессу в сопровождении С. И. Муравьева-Апостола.

Июль — начало августа — пребывание в Одессе.

10 июля — посещение Ольвии.

16 июля — указ Александра I о причислении Батюшкова к неаполитанской миссии.

25 августа — Батюшков приезжает в Москву, где проводит месяц, после чего уезжает в Петербург.

19 ноября — отъезд в Италию, прощальный обед в Царском Селе.

Конец года — Батюшков в Вене, откуда отбывает в Италию.

***1819**, конец января* — Батюшков в Риме.

Февраль — пребывание в Венеции, где Батюшков наблюдает

за карнавальными праздниками. По заданию Оленина встречается с русскими художниками С. Ф. Щедриным, Ф. М. Матвеевым, О. И. Кипренским, С. И. Гальбергом; посещает мастерскую итальянского скульптора А. Кановы.

Конец февраля — начало марта — прибывает в Неаполь, к месту службы, причислен к неаполитанской миссии в должности сверхштатного секретаря при русском посольстве. Посещает Помпеи, Везувий, Байю.

Май — по приглашению Батюшкова в Неаполь прибыл и поселился вместе с ним на набережной Санта-Лючия художник С. Ф. Щедрин.

Июнь — начинаются столкновения между Батюшковым и главой миссии Г. О. Штакельбергом. Усиливается нервное, болезненное состояние Батюшкова.

Конец июля — начало сентября — Батюшков живет на острове Искии, близ Неаполя, пользуется местными водами. Написаны стихотворения «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы…», «Есть наслаждение и в дикости лесов…».

***1820**, май* — просит Е. Ф. Муравьеву перевести на его имя деньги, необходимые для лечения.

Июнь — снова едет на остров Искию. Набирает силу конфликт с посланником Г. О. Штакельбергом.

Июль — начало неаполитанской революции.

Август — Батюшков подает просьбу об отпуске на лечебные воды в Германию и получает отказ.

Осень — с квартиры Батюшкова съезжает художник С. Щедрин. *Октябрь* — первые упоминания о нервной болезни в письмах.

2 декабря — Батюшков переводится в русскую миссию в Рим под начальство А. Я. Италинского.

***1821**, ранее мая* — Батюшков живет в Риме на пиацца Поли.

Февраль — появление в журнале «Сын Отечества» элегии П. А. Плетнева «Б в из Рима».

26 апреля — Батюшков получает отпуск для лечения и 500 рублей прибавки к жалованью.

Май — сентябрь — лечение на водах в Теплице, потом переезд в Дрезден.

Июнь — в свой экземпляр книги «Опыты в стихах и прозе» Батюшков записывает шесть «Подражаний древним».

27 июля — письмо в редакцию «Сына Отечества» по поводу элегии Плетнева.

Сентябрь — первое прошение об отставке.

4 ноября — встреча в Дрездене с Жуковским. Батюшков уничтожает в депрессии произведения, написанные в Италии и

Германии. *12 декабря* — второе прошение об отставке, обращение к императору.

***1822**, 14 января* — получено разрешение от К. В. Нессельроде вернуться на родину.

14 марта — приезжает в Петербург, живет в Демутовом трактире.

29 апреля — указ об отставке с сохранением жалованья.

22 мая — уезжает на Кавказ и в Тавриду.

Август — приезжает в Симферополь. Развитие болезни. Обращение к доктору Мюльгаузену.

Осень — друзья узнают о диагнозе Батюшкова.

***1823**, февраль* — в Симферополь за Батюшковым выезжает П. А. Шипилов. Сразу после его отъезда Батюшков совершает попытку самоубийства.

4 апреля — Батюшков отправлен в Петербург в сопровождении инспектора Таврической врачебной управы П. И. Ланга.

6 *мая* — привезен в Петербург и помещен в доме Е. Ф. Муравьевой.

Май — июнь — друзья, которые навещают Батюшкова, видят, как постепенно ухудшается его состояние.

Середина июня — перевезен на дачу на реке Карповке.

Сентябрь — переезжает в Петербург, начинается регулярное лечение.

Осень — доктора соглашаются, что дальнейшее лечение Батюшкова неэффективно.

***1824**, январь — середина мая* — живет в Петербурге, под наблюдением родственников и друзей.

Апрель — Батюшков пишет письмо царю с просьбой «немедленно удалиться в монастырь».

8 мая — повеление императора об отправке Батюшкова на лечение за казенный счет.

10 мая — Жуковский сопровождает Батюшкова в Дерпт, откуда он отправлен в Зонненштейн и помещен в частный пансион доктора Пирница; туда же выехала сестра Александра Николаевна Батюшкова. Написано стихотворение «Ты знаешь, что изрек…».

1824–1828 — Батюшков лечится в Зонненштейне, где его посещают А. И. и Н. И. Тургеневы, Д. В. Дашков, В. А. Жуковский. Болезнь Батюшкова на консилиуме немецких психиатров объявлена неизлечимой. Принято решение перевезти его в Россию.

***1828**, 4 июля* — Батюшков отправлен из Зонненштейна в Москву и поселен в специально нанятом для него доме в

Грузинах, где живет под наблюдением доктора А. Дитриха.

1829 — сходит с ума А. Н. Батюшкова, старшая и самая близкая сестра поэта.

1830*, февраль* — тяжелая болезнь Батюшкова; близкие ожидают его смерти.

22 марта — всенощная в доме Батюшкова, на которой присутствуют многие его друзья, в том числе А. С. Пушкин.

Апрель — улучшение физического состояния Батюшкова.

Май — его окончательное выздоровление. Тогда же доктор А. Дитрих покидает Россию.

1833 — опекуном больного Батюшкова назначен его племянник, сын старшей сестры Анны, Г. А. Гревенс.

Март — Батюшков перевезен из Москвы в Вологду и помещен в доме священника Васильевского.

1833–1845 — пребывание в Вологде, в доме священника Васильевского вместе с компаньоном. За это время его посещают А. В. Никитенко и М. П. Погодин, оставившие свои воспоминания.

1842*, апрель* — Г. А. Гревенс назначен управляющим Вологодской конторой уделов и получает казенную квартиру в доме Удельного ведомства.

1845*, февраль* — Г. А. Гревенс перевозит больного дядю в свою семью.

1845–1855 — Батюшков живет в семье своего племянника. Состояние его становится спокойнее. Здесь его посещают в 1847 году С. П. Шевырев и Н. В. Берг, оставившие о нем воспоминания.

1855, 7 июля — Батюшков умер от тифозной горячки.

10 июля — похоронен на кладбище Спасо-Прилуцкого монастыря под Вологдой.

БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания сочинений К. Н. Батюшкова

Опыты в стихах и прозе К. Батюшкова. Ч. I–II. СПб., 1817.

Сочинения К. Н. Батюшкова, изданные П. Н. Батюшковым / Вступ. ст. Л. Н. Майкова; коммент. Л. Н. Майкова, В. И. Саитова. СПб., 1885–1887. Т. 1–3.

Батюшков К. Н. Стихотворения / Вступ. ст. Б. В. Томашевского. Л., 1936 (серия: Библиотека поэта: Малая серия).

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе/Вступ. ст., коммент. И. М. Семенко. М., 1977 (серия: Литературные памятники).

Батюшков К. Н. Избранные сочинения/Сост. А. Л. Зорина, А. М. Пескова; коммент. А. Л. Зорина, О. А. Проскурина. М., 1986.

Батюшков К. Н. Избранная проза / Сост., вступ. ст. и коммент. П. Г. Паламарчука. М., 1987.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах / Вступ. ст. и послесл. Е. А. Тоддеса; сост., коммент. Н. Г. Охотина. М., 1987.

Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т./Сост., вступ. ст. и коммент. А. Л. Зорина, В. А. Кошелева. М., 1989.

Мемуары и биографии

Вяземский П. А. Старая записная книжка. М., 2003.

Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000.

Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826) / Изд. подг. М. И. Гиллельсон. М.; Л., 1964.

Греч Н. И. Записки моей жизни. М., 1990.

Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни. М., 1998.

Власов А. С. Заметки о жизни К. Н. Батюшкова в Вологде // История в лицах: Историко-культурный альманах. Череповец, 1993. Вып. 1.

Бартенев П. И. К. Н. Батюшков. Его письма и очерки его жизни // Русский архив. 1867.

Бунаков Н. Ф. Батюшков: Критико-биографический очерк // Москвитянин. 1855. № 23–24.

Грот Я. К. Очерк личности и поэзии Батюшкова // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1887. Т. 43. № 1.

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. М., 2001.

Айхенвальд Ю. Батюшков // *Айхенвальд Ю.* Силуэты русских писателей. М., 1994.

Благой Д. Судьба Батюшкова // *Благой Д.* Три века. М., 1933.

Varese M. F. Batjuskov — un poeta tra Russia e Italia. Padova, 1970.

Ilya Z. Serman. Konstantin Batyushkov. N. York, 1974.

Кошелев В. А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. М., 1987.

Паламарчук П. Г. Москва Батюшкова // *Паламарчук П. Г.* Два московских сказания. М., 1987.

Паламарчук П. Г. Опыты в прозе и жизни // *Паламарчук П. Г.* Москва или Третий Рим. М., 1991.

Лазарчук Р. М. Батюшков и Вологодский край: Из архивных разысканий. Череповец, 1997.

Новиков Н. Н. К. Н. Батюшков под гнетом душевной болезни: Историко-литературный психологический очерк. Арзамас, 2005.

Зубков Н. Н. Наперегонки со смертью: К. Батюшков// Персональная история. М., 2007.

Исследования и статьи

Верховский Н. П. Батюшков// История русской литературы. М.; Л, 1941. Т. 5.

Томашевский Б. В. К. Н. Батюшков // *Батюшков К. Н.* Стихотворения. М., 1948.

Иваск Ю. Батюшков // Новый журнал. 1956. Кн. 46.

Гинзбург Л. Я. Школа гармонической точности // *Гинзбург Л. Я.* О лирике. М.; Л., 1964.

Фридман Н. В. Проза Батюшкова. М., 1965.

Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971.

Сандомирская В. Б. К. Н. Батюшков // История русской поэзии. Л., 1968. Т. 1.

Флейшман Л. С. Из истории элегии в пушкинскую эпоху // Пушкинский сборник. Рига, 1968.

Семенко И. М. Батюшков // *Семенко И. М.* Поэты пушкинской поры. Батюшков, Жуковский, Денис Давыдов, Вяземский, Кюхельбекер, Языков, Баратынский. М., 1970.

Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты» // *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе. М., 1978.

Лотман Ю. М. К. Н. Батюшков. «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы…» // *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста: Структура стиха. Д., 1972.

Серман И. З. К. Батюшков. «Мои пенаты. Послание к Жуковскому и Вяземскому» // Поэтический строй русской лирики. Л., 1973.

Манн Ю. В. «Странствователь и домосед» Батюшкова // *Манн Ю. В.* Поэтика русского романтизма. М., 1976.

Зубков Н. Н. Опыты на пути к славе // *Зорин А. Л., Немзер А. С., Зубков Н. Н.* Свой подвиг свершив. М., 1987.

Проскурин О. А. «Победитель всех гекторов халдейских»: К. Н. Батюшков в литературной борьбе начала XIX в. // Вопросы литературы. 1987. № 6.

Проскурин О. А. Батюшков и поэтическая школа Жуковского: (Опыт переосмысления проблемы) // Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацуро. М., 1995–1996.

Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999.

Проскурин О. А. «Не худое подражание»; Поминки по Бибрису // *Проскурин О. А.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000.

Зорин А. Л. К. Н. Батюшков в 1814–1815 гг. // Известия АН СССР: Серия литературы и языка. М., 1988. Т. 47. № 4.

Зорин А. Л. Батюшков и Германия //Arbor mundi — Мировое древо. М., 1997. Вып. 5.

Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа» / Российская Академия наук. Институт русской литературы (Пушкинский Дом). СПб., 1994.

Вацуро В. Э. Последняя элегия Батюшкова // *Вацуро В. Э.* Записки комментатора. СПб., 1994.

Сергеева-Клятис А. Ю. Русский ампир и поэзия К. Батюшкова. М., 2001.

Пильщиков И. А. Батюшков и литература Италии. М., 2003.

notes

Примечания

1

Стурдза А. С. Беседа любителей русского слова и Арзамас в царствование Александра I // Москвитянин. 1851. № 21. Кн. 1. С. 15.

2

Письмо Н. И. Гнедичу от июня 1808 // *Батюшков К. Н.* Сочинения: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 75.

3

Письмо сестрам от декабря 1808 // Там же. С. 82.

4

Письмо Н. И. Гнедичу от апреля 1809 // Там же. С. 87.

Письмо Н. И. Гнедичу от мая 1809 // Там же. С. 93.

Письмо Н. И. Гнедичу от сентября 1809 // Там же. С. 104.

Письмо Н. И. Гнедичу от ноября 1809 //Там же. С. 106–107.

8

Кошелев В. А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. М., 1987. С. 85.

Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты» // *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе: Серия «Литературные памятники». М., 1977. С. 435.

10

Письмо П. А. Вяземскому от августа 1814 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 300.

11

Письмо А. Н. Батюшковой от октября — ноября 1814//Там же. С. 306.

12

Письмо В. А. Жуковскому от декабря 1815 // Там же. С. 363.

Батюшков К. Н. Чужое: мое сокровище! // Там же. Т. 2. С. 31.

14

Дитрих Антон. О болезни русского императорского надворного советника и дворянина господина Константина Батюшкова // Жизнь Константина Батюшкова. М., 2001. С. 515.

15

Батюшков К. Н. Речь о влиянии легкой поэзии на язык // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 34.

16

Иваск Ю. П. Батюшков // Новый журнал. 1956. № 46. С. 71.

Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М., 1971. С. 252.

18

Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина: Статья третья // *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1957. Т. 7. С. 228.

Благодарю за неоценимую помощь в работе профессора Череповецкого государственного университета Р. М. Лазарчук.

20

Цит. по: *Лазарчук Р. М.* К. Н. Батюшков и Вологодский край: Из архивных разысканий. Череповец, 2007. С. 63.

21

Батюшков К. Н. Чужое: мое сокровище! // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 35.

Там же. С. 86.

23

Цит. по: *Лазарчук Р. М.* К. Н. Батюшков и Вологодский край. С. 25.

24

Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник Всероссийской империи. СПб., 1890. Ч. 1. С. 649.

Сейчас в усадьбе организован и открыт для посещения музей Батюшковых и А. И. Куприна.

26

Церковь сейчас снесена. Как указывает Р. М. Лазарчук, она располагалась на пересечении современных улиц Герцена и Предтеченской города Вологды.

27

Письмо Н. Л. Батюшкова сыну от 24 июня 1806 // Батюшков: Исследования и материалы. Череповец, 2002. С. 264–265.

28

Цит. по: *Лазарчук Р. М.* К. Н. Батюшков и Вологодский край. С. 79.

29

Письмо от 16 февраля 1816 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 374.

30

Письмо А. Н. Батюшковой от 26 ноября 1817 //Там же. С. 472–473.

31

Цит. по: *Кошелев В. А.* Константин Батюшков: Странствия и страсти. М., 1987. С. 256–257.

32

Письмо Н. Л. Батюшкова сыну от 26 июня 1812 // Батюшков: Исследования и материалы. С. 273.

33

Письмо Н. Л. Батюшкова сыну от 31 мая 1812 // Там же. С. 271.

34

Письмо Н. Л. Батюшкова сыну от 15 декабря 1809 // Там же. С. 268.

35

Обол — монета в Древней Греции.

36

Письмо Н. Л. Батюшкова сыну от 6 августа 1812 // Там же. С. 273.

37

Письмо Н. Л. Батюшкова сыну от 15 декабря 1809 // Там же. С. 268.

38

Письмо П. А. Шипилову от начала июня 1808 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 76.

39

Письмо А. Н. Батюшковой от 7 июня 1816 // Батюшков: Исследования и материалы. С. 390.

40

Письмо П. А. Шипилову от конца ноября 1817 // Там же. С. 474.

41

Письмо Н. Л. Батюшкову от 11 ноября 1801 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 62.

Батюшков К. Н. Ариост и Тасс // Там же. Т. 1. С. 122.

43

Письмо от 5 декабря 1811 // Там же. Т. 2. С. 197–198.

44

Принимая во внимание датировку О. А. Проскурина: *Проскурин О. А.* Пометы Пушкина на полях «Опытов в стихах» Батюшкова // Новое литературное обозрение. 2003. № 64.

Батюшков К. Н. Нечто о морали, основанной на философии и религии // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 152–153.

46

Письмо отцу от 17 февраля 1807 // Там же. Т. 2. С. 66.

Серман И. З. К. Н. Батюшков и М. Н. Муравьев: История одной загадки // Батюшков: Исследования и материалы. С. 7.

48

Небо, желающее мне счастья, вложило мне в сердце лень и беззаботность *(фр.)*.

49

Письмо Н. И. Гнедичу от декабря 1810 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 150.

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. М.,2001.С. 23–24.

51

О смысле этой цитаты и ее освоении Пушкиным через Батюшкова см. новейшее исследование: *Росси Л.* Комментарий к пушкинской строке, или Почему Онегин стоял, «опершися на гранит»? // Пушкинские чтения в Тарту. 4: Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария: Материалы международной конференции. Тарту: Tartu Ülikooli Kiijastus, 2007. С. 32–46; а также: *Архангельский А. Н.* «Как описал себя пиит…»: Структурообразующая роль цитаты из стихотворения М. Н. Муравьева «Богине Невы» в «Евгении Онегине» // Русская речь. 1999. № 3. С. 6–9.

52

Батюшков К. Н. Письмо к И. М. Муравьеву-Апостолу: О сочинениях г. Муравьева // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 63.

53

Письмо Н. И. Гнедичу от 13 марта 1811// Там же. Т. 2. С. 159.

См. об этом: *Серман И. З.* К. Н. Батюшков и М. Н. Муравьев: История одной загадки. С. 5–20.

Батюшков К. Н. Речь о влиянии легкой поэзии на язык // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 36.

Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии // Там же. Т. 1. С. 41.

Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты» // *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе: Серия «Литературные памятники». С. 461.

Речь идет прежде всего о книге, создавшей мифологический образ Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ), безоговорочно принятый советским литературоведением и существовавший в нем долгие годы: *Орлов В. Н.* Русские просветители 1790–1810-х годов. М., 1950.

59

Подробнее об этом см.: *Проскурин О. А.* «Не худое подражание» // *Проскурин О. А.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 47–81.

60

О едких комментариях Батюшкова на полях «Опытов лирических» А. Х. Востокова см.: *Альтшуллер* М. Г. Поэтическая традиция Радищева в литературной жизни начала XIX века // XVIII век. Сб. 12: А. Н. Радищев и литература его времени. Л., 1977. С. 128–129.

61

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений: В 12 т. СПб., 1883. Т. 8. С. 454.

Там же. С. 455.

63

Письмо Н. И. Гнедичу от 19 марта 1807 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 68.

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. С. 54–55.

Ilya Z. Sermon. Konstantin Batyushkov. New York, 1974. P. 27–28 (здесь и далее перевод с английского мой).

Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин // *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1969. С. 23–122.

«Древний славенский язык, повелитель многих народов, есть корень и начало Российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат…» (*Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803. С. 1).

Шишков А. С. Предуведомление к переводу двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика. СПб., 1808. С. XIII.

Батюшков К. Н. Речь о влиянии легкой поэзии на язык // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 34.

Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 2. С. 47.

Уваров С. С. Литературные воспоминания // Арзамас: Сборник. В 2 кн. Кн. 2. М., 1994. Т. 1.С. 40.

Каменская М. Ф. Воспоминания. М., 1991. С. 135.

73

О «беспечности» лирического героя Батюшкова см.: *Фридман Н. В.* Поэзия Батюшкова. С. 97–98.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 1. С. 299.

75

Письмо Н. Л. Батюшкову от 17 февраля 1807 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 66.

Там же. С. 67.

Там же. С. 66.

Письмо Н. И. Гнедичу от 19 марта 1807 // Там же. С. 70.

79

Письмо Н. И. Гнедичу от 2 марта 1807 // Там же. С. 67–68.

Письмо Н. И. Гнедичу от 19 марта 1807 // Там же. С. 68–70.

81

Там же. С. 69.

Письмо Н. И. Гнедичу от июня 1807 // Там же. С. 70.

83

Там же.

Бартенев П. И. К. Н. Батюшков: Его письма и очерки его жизни // Русский архив. М., 1867. Кн. 1–3. С. 1356.

85

Батюшков К. Н. Воспоминания о Петине // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 299.

Письмо сестрам от 17 июня 1807 // Там же. Т. 2. С. 72.

87

Письмо Н. И. Гнедичу от июня 1807 // Там же. С. 71.

Письмо сестрам от 17 июня 1807 // Там же. С. 72.

Кошелев В. А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 68.

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. С. 79.

91

Там же. С. 76.

92

См. комментарий Л. Н. Майкова и В. И. Сайтова в кн.: *Батюшков К. Н.* Сочинения: В 3 т. Т. 1. С. 317.

Ilya Z. Sermon. Konstantin Batyushkov. P. 120; *Зубков Н. Н.* Опыты на пути к славе: О единственном прижизненном издании К. Н. Батюшкова // *Зорин А., Немзер А., Зубков Н.* Свой подвиг свершив… М., 1987. С. 349.

«Центральная тема „Выздоровления“ могла бы быть сведена к известной формуле: „любовь побеждает смерть“» *(Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 201).

95

Эти строки из псалма составляют часть первого изобразительного антифона литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого, то есть были на слуху любого православного.

Н. Н. Зубков обратил внимание на употребление самим Батюшковым в разных стихотворениях эпитета «благой» и по отношению к Богу, и по отношению к земной женщине: «Ты снова жизнь даешь; она твой дар благой…» — «Он! Он! Его все дар благой!» («Надежда», 1815). См.: *Зубков Н. Н.* Наперегонки со смертью: Константин Батюшков // Персональная история. М., 1999. С. 103.

97

«И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? *Никто не благ, как только один Бог»* (от Луки 18, 18–19).

Сходно трактует этот мотив Н. Н. Зубков: «…Животворящая сила земной любви заведомо неполна: „поцалуев сочетанье“ пробуждает больного лишь „для сладострастия“ и, в конечном счете, для новой, хотя и сладостной, смерти…» *(Зубков Н. Н.* Наперегонки со смертью: Константин Батюшков // Персональная история. С. 103).

99

Письмо Н. И. Гнедичу от 12 июля 1807 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 73.

100

Цит. по: *Кошелев В. А.* Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 73.

101

Письмо А. Н. Батюшковой от 23 мая 1809 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 95.

102

Письмо А. Н. Батюшковой от 1 мая 1812// Там же. С. 210.

103

Письмо Н. И. Гнедичу от 24 июня 1808 // Там же. С. 77.

104

Письмо Н. И. Гнедичу от 7 августа 1808 // Там же. С. 79.

105

Письма В. А. Озерова А. Н. Оленину (Письмо от 23 ноября 1808) // Русский архив. 1869. С. 138.

106

Храбрость есть в человеке самое рядовое свойство *(фр.)*.

107

Там же.

108

Письмо А. Н. Батюшковой от 1 ноября 1808 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 80–81.

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. С. 85.

110

Батюшков К. Н. Воспоминание о Петине // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 302.

111

Письмо Н. И. Гнедичу от 24 июня 1808 // Там же. Т. 2. С. 78.

112

Письмо сестрам от 8 декабря 1808 // Там же. С. 83.

113

Письмо Н. И. Гнедичу от 1 апреля 1809 // Там же. С. 87.

114

Письмо А. Н. Батюшковой от 1 ноября 1808 // Там же. С. 81.

115

Письмо Н. И. Гнедичу от 1 апреля 1809//Там же. С. 87.

116

Письмо сестрам от 1 июля 1809 // Там же. С. 96. (Коцит — в античной мифологии одна из рек царства мертвых Аида; «перейти Коцит» означает умереть.)

117

См., например: *Кошелев В. А.* Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 72 («Батюшков снова попробовал переводить Тассо, — а потом — потерял первый том и… как-то остыл к самому переводу»).

118

Письмо Н. И. Гнедичу от 6 сентября 1809 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 101–102.

119

Письмо Н. И. Гнедичу от 23 ноября 1809 // Там же. С. 113.

Пильщиков И. А. Из истории русско-итальянских литературных связей: Батюшков, Петрарка, Данте // Дантовские чтения. М., 2000. С. 9.

121

Проскурин О. А. Батюшков и поэтическая школа Жуковского // Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В. Э. Вацуро. М., 1995–1996. С. 86.

Ради справедливости надо заметить, что уже в своем юношеском «Послании к стихам моим» под именем Глупона Батюшков выводит идеолога литературных архаистов А. С. Шишкова, так что в целом симпатии его давно были на стороне Карамзина.

123

Письмо Н. И. Гнедичу от 19 сентября 1809 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 102.

124

Письмо Н. И. Гнедичу от 1 ноября 1809 // Там же. С. 109.

125

Минос воспринимался поздней античной традицией как судья в царстве мертвых, в частности, именно в такой роли он описан Гомером («Одиссея»).

126

Переведенный А. Ф. Мерзляковым текст «Освобожденного Иерусалима» был опубликован в 1828 году.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 1. С. 372.

Проскурин О. А. Поминки по Бибрису // *Проскурин О. А.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. С. 88.

129

Там же. С. 81.

130

Имеется в виду знаменитый «Письмовник» Н. Г. Курганова, который с 1777 года по 1837-й выдержал 10 изданий — своеобразный учебник по грамматике и одновременно хрестоматия по словесности для широкого круга людей, желающих приохотиться к литературе.

131

Письмо Н. И. Гнедича К. Н. Батюшкову от 6 декабря 1809 // Батюшков: Исследования и материалы. С. 299.

Ilya Z. Serman. Konstantin Batyushkov. P. 31.

133

Письмо Н. И. Гнедичу от 23 ноября 1809 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 112.

Там же. С. 113.

135

Там же.

136

Письмо А. Н. Оленину от 23 ноября 1809 // Там же. С. 113–114.

137

Письмо Н. И. Гнедичу от декабря 1809 // Там же. С. 115.

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. С. 114.

139

Письмо А. Н, Батюшковой от января 1810 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 117.

140

Письмо Н. И. Гнедичу от 3 января 1810 // Там же. С. 116.

141

Письмо А. Н. Батюшковой от января 1810 // Там же. С. 117.

142

Письмо Н. И. Гнедичу от 9 февраля 1810 // Там же. С. 120.

143

Письмо Н. И. Гнедичу от середины февраля 1810 // Там же. С. 122.

144

Письмо Н. И. Гнедичу от 9 февраля 1810 // Там же. С. 121.

145

Письмо Н. И. Гнедичу от 16 января 1810 // Там же. С. 118.

Болезненный тик *(фр.)*.

147

Письмо Н. И. Гнедичу от 17 марта 1810 // Там же. С. 124.

148

Там же.

149

Письмо Н. И. Гнедичу от 23 марта 1810 // Там же. С. 125.

150

Там же.

151

Письмо Н. И. Гнедичу от 9 февраля 1810 // Там же. С. 120.

152

Письмо Н. И. Гнедичу от 17 марта 1810 // Там же. С. 124.

153

Письмо Н. И. Гнедичу от 25 декабря 1810 //Там же. С. 152.

154

Письмо Н. И. Гнедичу от 30 сентября 1810 // Там же. С. 145.

155

Письмо В. А. Жуковского И. И. Дмитриеву от 18 февраля 1816// Письма разных лиц к И. И. Дмитриеву: Русский архив. 1866. Кн. 1–3. Ст. 1630.

156

Письмо Н. И. Гнедичу от середины февраля 1810 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 122.

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. С. 130.

Там же. С. 131.

159

Письмо В. А. Жуковскому от 26 июля 1810 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 138.

160

Письмо Н. И. Гнедичу от 30 сентября 1810 // Там же. С. 145.

161

Письмо П. А. Вяземского К. Н. Батюшкову от 20 октября 1810 года// Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 121.

Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты» // *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 451–453; *Топоров В. Н.* «Источник» Батюшкова в связи с «Le torrent» Парни // Труды по знаковым системам. 4. Тарту, 1969 и др.

163

Пушкин А. С. Заметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова// *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1977. Т. 7. С. 406.

164

Письмо Н. И. Гнедичу от апреля 1811 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 161.

165

Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 26 и 27 декабря 1819 // Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 382.

166

Процитированная выше элегия «Мессала! Без меня ты мчишься по волнам…» датируется А. Л. Зориным 1810–1811 годами, хотя впервые появляется в рукописных сборниках Батюшкова только в 1812 году. «Тибуллова Элегия III» была переведена из 3-й книги Тибулла, которая на самом деле ему не принадлежала.

Ilya Z. Serman. Konstantin Batyushkov. P. 55.

168

Пушкин А. С. Заметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова. С. 391–392.

169

Замечено Н. И. Харджиевым: «Делия — имя возлюбленной Тибулла, ставшее условным поэтическим именем; ср. образные параллели в заключительной части „Элегии из Тибулла“ К. Н. Батюшкова» (*Мандельштам О. Э.* Стихотворения. Л., 1978. С. 275).

170

Письмо Н. И. Гнедичу от осени 1810 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 147.

171

Письмо Н. И. Гнедичу от 26 января 1811 // Там же. С. 154–155.

172

Письмо Н. И. Гнедичу от января 1811 // Там же. С. 154.

173

Письмо Н. И. Гнедичу от 25 декабря 1810 // Там же. С. 153.

174

Письмо П. А. Вяземского К. Н. Батюшкову от 11 декабря 1810// Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. С. 124

175

Письмо Н. И. Гнедича К. Н. Батюшкову от 6 января 1811 // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974. С. 88.

176

Письмо Н. И. Гнедичу от 26 января 1811 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 155.

177

Письмо Н. И. Гнедичу от февраля — марта 1811 // Там же.

Батюшков К. Н. Опыты в прозе // Там же. Т. 1. С. 269–270.

Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000. С. 278–279.

180

Письмо А. И. Тургенева В. А. Жуковскому от 20 марта 1811 // Арзамас. М., 1994. Т. 1.С. 162.

181

Письмо Д. П. Северина П. А. Вяземскому от 24 марта 1811 // Там же. С. 163.

182

Письмо Д. П. Северина П. А. Вяземскому от 27 апреля 1811// Там же. С. 165–166.

183

Письмо Н. И. Гнедичу от 6 мая 1811 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 167.

184

Письмо Н. И. Гнедичу первой половины апреля 1811 //Там же. С. 161.

185

Письмо Н. И. Гнедичу от 29 мая 1811// *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 174.

186

Дашков Д. В. О легчайшем способе возражать на критики // Арзамас. Т. 2. С. 48–49.

187

Письмо Н. И. Гнедичу от 6 мая 1811 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 167.

Правда, неприятие Гнедичем «Беседы» было связано большей частью с только что произошедшей личной ссорой с Державиным по поводу вступления Гнедича в означенное сообщество.

189

Дашков Д. В. О легчайшем способе возражать на критики // Арзамас. Т. 1. С. 164.

190

Письмо Н. И. Гнедичу от конца апреля 1811 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 163.

191

Письмо А. Н. Батюшковой от 24 апреля 1811 //Там же. С. 165.

Письмо А. Н. Батюшковой от 1 мая 1811 // Там же.

193

Там же. С. 166.

194

С французского перевел и впервые опубликовал эти воспоминания Е. Г. Пушкиной Л. Н. Майков в юбилейном трехтомном собрании сочинений Батюшкова: *Майков Л. Н.* О жизни и сочинениях К. Н. Батюшкова // *Батюшков К. Н.* Сочинения: В 3 т. СПб., 1887. С. 2–3.

195

«Дух истории» Антуана Франсуа Клода Феррана (1751–1825), французского публициста и политического деятеля.

196

Письмо Н. И. Гнедичу от августа 1811 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 178–179.

197

Письмо Н. И. Гнедичу от ноября 1809 // Там же. С. 106.

Это бросающееся в глаза противоречие во взглядах Жуковского и Батюшкова впервые отметил Л. Н. Майков: *Майков Л. Н.* Батюшков, его жизнь и сочинения. С. 143.

199

Письмо Н. И. Гнедичу от августа 1811 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. С. 179.

200

Письмо Н. И. Гнедичу от августа — сентября 1811 // Там же. С. 182.

201

Письмо Н. И. Гнедичу от 7 ноября 1811 //Там же. С. 186.

202

Письмо Н. И. Гнедичу от 27 ноября — 5 декабря 1811 //Там же. С. 192.

203

Письмо Н. И. Гнедичу от августа — сентября 1811 // Там же. С. 182.

204

Письмо П. А. Вяземскому от конца ноября 1811 // Там же. С. 189.

205

Письмо П. А. Вяземскому от 19 декабря 1811 //Там же. С. 198.

206

Пушкин А. С. Заметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова. С. 403.

Ilya Z. Serman. Konstantin Batyushkov. P. 89.

208

См.: Письмо Н. И. Гнедичу от августа 1811 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 177.

209

Пушкин А. С. Заметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова. С. 402.

Речь людей такова, какой была их жизнь *(лат.)*.

Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1.С. 41.

Там же. С. 42.

213

Там же. С. 43.

214

Письмо Н. И. Гнедичу от 27 ноября — 5 декабря 1811 // Там же. Т. 2. С. 197.

215

Письмо П. А. Вяземского К. Н. Батюшкову от января 1811 — февраля 1812 // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. С. 129.

216

Письмо К. Ф. Муравьевой К. Н. Батюшкову от 6 марта 1812 // РО ИРЛИ РАН. Ф. 19. Ед. хр. 39. Л. 1–2.

217

Там же.

218

Письмо А. Н. Батюшковой от 1 мая 1812 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 211.

219

РО ИРЛИ РАН. Ф. 19. Ед. хр. 30. Л. 7.

220

Письмо П. А. Вяземскому от 27 февраля 1812 // *Батюшков К. И.* Сочинения. Т. 2. С. 205.

Проскурин О. А. «Победитель всех Гекторов халдейских…» // Вопросы литературы. 1987. № 6. С. 83–84.

222

Речь Д. В. Дашкова цитируется по: Арзамас. Т. 1. С. 183–186.

Там же. С. 194.

224

Письмо П. А. Вяземскому от 10 мая 1812 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 214–215.

225

Письмо П. А. Вяземского К. Н. Батюшкову от 1 мая 1812 // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. С. 132.

226

Письмо П. А. Вяземскому от 10 мая 1812 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 214.

227

Письмо В. А. Жуковскому от июня 1812 // Там же. С. 219.

228

Письмо А. Н. Батюшковой от 1 мая 1812 // Там же. С. 211.

229

Письмо К. Н. Батюшкову от В. Н. Батюшковой от мая 1812 // Батюшков: Исследования и материалы. С. 248.

230

Письмо К. Н. Батюшкову от В. Н. Батюшковой от июня — июля 1812//Там же. С. 249.

231

Письмо К. Н. Батюшкову от А. Н. Батюшковой от 29 июля 1812 // Там же. С. 252.

232

Письмо К. Н. Батюшкову от Е. Н. Батюшковой от 16 мая 1812 // Там же. С. 246.

233

Письмо А. Н. Батюшковой от 1 мая 1812 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 212.

234

Письмо Д. В. Дашкова К. Н. Батюшкову от 12 июля 1812 // РО ИРЛИ РАН. Ф. 19. Ед. хр. 30. Л. 1–2. Далее письмо цитируется по тому же источнику.

И. И. Дмитриев, покровитель и старший друг Дашкова.

236

О ссоре Дмитриева с Каченовским см.: *Вацуро В. Э.* И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX в. // *Вацуро В. Э.* Пушкинская пора. СПб., 2000.

237

Менять средства передвижения, пересаживаться *(ит.)* — цитата из 40-й песни «Неистового Роланда» Л. Ариосто, которую приводит в своем письме и Дашков.

238

Письмо Д. В. Дашкову от 9 августа 1812// *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 226.

239

Письмо П. А. Вяземскому от первой половины июля 1812 // Там же. С. 223.

240

Письмо П. А. Вяземскому от 21 июля 1812 // Там же. С. 224.

241

Письмо П. А. Вяземскому от конца августа 1812 // Там же. С. 229.

Кошелев В. А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 149.

243

Отметим, что 2 сентября 1812 года, совсем вскоре после побега Н. Муравьева, произошел страшный эпизод, описанный в романе «Война и мир» Л. Н. Толстым, — Ростопчин, оставляя Москву, отдал обвиненного в измене сына купца Верещагина на растерзание толпы.

Интересно, что в обстоятельной биографии Батюшкова, написанной Л. Н. Майковым к столетию со дня рождения поэта, история младшего Муравьева не была рассказана. Вероятно, это было связано с долгосрочным запретом на упоминание в печати имен декабристов: Н. М. Муравьев впоследствии стал одним из создателей и идеологов тайных обществ и после восстания 1825 года был осужден по первому разряду (смертная казнь, замененная двадцатилетней каторгой). Умер в 1843 году в Сибири.

245

Письмо Н. И. Гнедичу от октября 1812 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 234.

246

Письмо Н. И. Гнедича К. Н. Батюшкову от 3 октября 1812// Батюшков: Исследования и материалы. С. 329.

247

Письмо Н. Л. Батюшкову от 27 сентября 1812 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 230.

Третий ребенок — Ипполит Муравьев-Апостол, воспитание которого после смерти его матери взяла на себя Е. Ф. Муравьева. Иван Матвеевич Муравьев-Апостол — его отец, родственник Муравьевых, а также отец С. И. и М. И. Муравьевых-Апостолов.

249

Письмо Н. И. Гнедичу от октября 1812 // Там же. С. 234.

Там же. С. 235.

251

Письмо Н. Л. Батюшкову от 27 сентября 1812 // Там же. С. 230.

252

Письмо Н. И. Гнедича К. Н. Батюшкову от 3 октября 1812 // Батюшков: Исследования и материалы. С. 330.

253

По иронии судьбы и по странной логике войны, рядом с генералом Бахметевым во время Бородинского сражения оказался П. А. Вяземский: «А. Н. Бахметев лишился ноги на Бородинском поле, в памятную для меня минуту: то же ядро, которое раздробило ногу ему, убило подо мною лошадь, и я, с помощью двух или трех солдат, вынес генерала из сражения на плаще моем» [Письмо П. А. Вяземского М. П. Погодину // *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 417.]

254

Письмо Е. Г. Пушкиной // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 241.

255

Там же.

Письмо Н. Ф. Грамматину от января 1813 // Там же. С. 238.

257

Письмо Н. И. Гнедичу от октября 1812 // Там же. С. 235.

258

Письмо П. А. Вяземскому от первой половины июля 1812// Там же. С. 223.

259

Письмо П. А. Вяземскому от 21 марта 1813 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 242.

260

Письмо А. Н. Батюшковой от 1 апреля 1813// Там же. С. 244.

261

Письмо П. А. Вяземскому от 21 марта 1813 // Там же. С. 242.

262

Письмо А. Н. Батюшковой от 4 мая 1813 // Там же. С. 245.

263

Письмо П. А. Вяземскому от 10 июня 1813 // Там же. С. 250.

Там же. С. 251.

265

Письмо Н. И. Гнедичу от сентября 1813 //Там же. С. 258.

Батюшков К. Н. Чужое: мое сокровище! // Там же. С. 37, 38.

267

Северная почта, или Новая Санктпетербургская газета. 31 июля 1812 г. № 61. С. 2 (Раздел «Известия внутренние»). Странно, но самый дотошный исследователь биографии Батюшкова Л. Н. Майков не сумел отыскать в «Северной почте» этой небольшой заметки. В комментариях ко второму тому «Сочинений» Батюшкова он писал: «В Северной почте 1812 и следующих годов нам не удалось найти тот рассказ о Н. Н. Раевском, который разумеет Батюшков» *(Майков Л. Н., Сайтов В. И.* Примечания // *Батюшков К. Н.* Сочинения: В 3 т. СПб., 1885–1887. Т. 2. С. 533). Последующие исследователи чаще всего не пытались найти заметку, полагаясь на авторитет Майкова, и сообщали, что Батюшков ошибочно называет в качестве источника этой легенды газету «Северная почта» *(Кошелев В. А.* Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 143). Однако Батюшков не только не ошибается, но и почти дословно цитирует эту заметку в своей записной книжке «Чужое: мое сокровище!», составленной значительно позже, в 1817 году («Вперед, ребята. Я и дети мои откроем вам путь ко славе»). Он не просто хорошо помнил текст, но, вероятно, сохранил заметку или переписал ее.

Русский вестник. 1812. № 10. С. 79.

269

Батюшков К. Н. Чужое: мое сокровище! // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 37.

Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 3. Ч. 1. Гл. 12.

Там же. С. 36.

И вот как пишут историю! *(фр.)*.

273

Различные трактовки истинности и вымышленности случая, описанного в «Северной почте», см.: *Лекманов О. А.* О чем не забыло Отечество? Из комментария к одной пушкинской рецензии // Лотмановский сборник. М., 2004. С. 230–239.

274

У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь. / Она в сраженьях пролита за родину *(фр.)*.

275

Письмо Н. И. Гнедичу от сентября 1813 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 258.

Батюшков К. Н. Воспоминания о Петине // Там же. Т. 1. С. 303.

Там же. С. 304.

278

Письмо Н. И. Гнедичу от 30 октября 1813 // Там же. Т. 2. С. 260.

Письмо Петиной от 13 ноября 1814 // Там же. С. 312.

280

Письмо Н. И. Гнедичу от 30 октября 1813 // Там же. С. 260.

281

Там же. С. 262.

282

Там же.

283

Письмо А. Н. Батюшковой от 10–15 ноября 1813 // Там же. С. 266.

284

Письмо Н. И. Гнедичу от 16 января 1814 // Там же. С. 266.

285

Письмо Н. И. Гнедичу от 27 марта 1814 // Там же. С. 271.

Там же. С. 270.

287

Но, господин, вас можно принять за француза. <…> Вы говорите без акцента *(фр.)*.

Там же. С. 271.

289

Письмо Д. В. Дашкову от 25 апреля 1814 // Там же. С. 276.

Там же. С. 278.

Там же. С. 37–38.

292

Письмо А. Ф. Воейкову от 20 февраля 1814 // *Жуковский В. А.* Сочинения: В 2 т. М., 1902. Т. 1. С. 482.

293

Батюшков К. Н. Речь о влиянии легкой поэзии на язык // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 38.

294

Письмо П. А. Вяземскому от 10 января 1815 // Там же. Т. 2. С. 318.

295

Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 22 марта 1815 // Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 28.

296

Письмо Д. В. Дашкову от 25 апреля 1814 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 278–279.

297

Роман французского писателя Ж. А. Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1788) окажется одной из двух книг, которые Батюшков не сжег в припадке душевной болезни в 1823 году, уничтожив всю свою дорожную библиотеку.

Батюшков К. Н. Чужое: мое сокровище! // Там же. С. 42.

299

А. Л. Зорин писал об этом: «Думается, что два эти письма в какой-то мере объединены и общим замыслом — противопоставлением безумной и легкомысленной Франции свободной и процветающей Англии, поддерживающей себя „совершенным почитанием нравов, законов гражданских и божественных“. По неизвестной причине Батюшков не напечатал их сам, но они были опубликованы в „Памятнике отечественных муз на 1827 г.“ и „Северных цветах на 1827 г.“ друзьями поэта, у которых их литературный характер не вызывал сомнений» (*Зорин А. Л.* К. Н. Батюшков в 1814–1815 гг. // Известия Академии наук СССР: Серия литературы и языка. М., 1988. Т. 47. № 4. С. 371).

Батюшков именовал его Гаричем. Этот город в северо-западном Эссексе и по сей день является портовым.

301

Письмо Д. П. Северину от 19 июня 1814 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 289.

Там же. С. 291.

303

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. СПб., 1879. Т. 2. С. 417. Очевидно, стихотворение «Тень друга» было написано годом позже (см.: *Зорин А. Л.* К. Н. Батюшкове 1814–1815 гг. С. 370).

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. С. 587.

Ср.:

The sails were filled, and fair the light winds blew
As glad to waft him from his native home;
And fast the white rocks faded from his view,
And soon were lost in circumambient foam;
And then, it may be, of his wish to roam
Repented he, but in his bosom slept
The silent thought, nor from his lips did come
One word of wail, whilst others sate and wept,
And to the reckless gales unmanly moaning kept.

(Дул свежий бриз, шумели паруса,
Все дальше в море судно уходило,
Бледнела скал прибрежных полоса,
И вскоре их пространство поглотило.
Быть может, сердце Чайльда и грустило.
Что повлеклось в неведомый простор.
Но слез не лил он, не вздыхал уныло,
Как спутники, чей увлажненный взор,
Казалось, обращал к ветрам немой укор.

Перевод В. Левика.)

306

По меткому замечанию О. А. Проскурина, в батюшковской элегии смерть друга или разлука с возлюбленной — это всего лишь два варианта элегического мотива утраты и описываются они одинаково (*Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 59).

Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 164–174.

308

Подробное исследование поэтического диалога между Жуковским и Батюшковым содержится в статье: *Проскурин О. А.* Батюшков и поэтическая школа Жуковского // Новые безделки. С. 77–116.

309

Речь идет о стихотворении Матиссона «Элегия, написанная на развалинах старого горного замка». О том, что Батюшков Матиссона читал, узнаем из его письма П. А. Вяземскому от 10 июня 1813 года — см.: *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 250.

См. об этом: *Томашевский Б. В.* Пушкин. М.;Л., 1956. Кн. 1.С. 56–63.

Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 164.

Проскурин О. А. Батюшков и поэтическая школа Жуковского // Новые безделки. С. 96.

313

Портрет А. Ф. Фурман (холст, масло) написан О. А. Кипренским в 1815–1816 годах и хранится в Русском музее.

314

Письмо А. Н. Батюшковой от 13 октября 1814 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 304.

315

Письмо А. Н. Батюшковой от 27 июля 1814// Там же. С. 296.

Там же. С. 295.

317

Письмо А. Н. Батюшковой от августа 1814//Там же. С. 298.

318

Письмо П. А. Вяземского К. Н. Батюшкову от 6 августа 1814// Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. С. 138.

319

Письмо П. А. Вяземскому от 27 августа 1814 // Там же. С. 300. Опираясь на это письмо, А. Л. Зорин датирует начало романа с А. Ф. Фурман: 16 месяцев назад был апрель — начало мая 1813 года; соответственно, конец романа — август 1814 года (*Зорин А. Л.* К. Н. Батюшков в 1814–1815 гг. С. 368–369). Однако нам кажется, что Батюшков все же говорит здесь о военной кампании 1813–1814 годов: слова «всё, что я видел, что испытал» явно описывают не любовные переживания. Кроме того, упоминание о «шуме политическом» говорит о вполне определенном содержании этого фрагмента. Примерно так же прочитал это письмо Н. В. Фридман (*Батюшков К. Н.* Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964. С. 37). 16 месяцев — это неточное обозначение периода, начавшегося 29 марта 1813 года, когда Батюшков получил назначение в Рыльский пехотный полк и ожидал распоряжения генерала Бахметева.

320

Датируем это событие мартом 1815 года, опираясь на письмо П. А. Вяземскому, написанное Батюшковым во второй половине марта, где содержатся намеки на разрыв с А. Ф. Фурман. В частности, Батюшков там пишет: «…У меня есть свой характер, *я это испытал на днях*. Я умею подбирать в бурю паруса моего воображения» *(Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 325). Традиционно считается, что Батюшков порвал с А. Ф. Фурман в январе 1815 года. А. Л. Зорин предполагает, что разрыв состоялся в августе 1814 года *(Зорин А. Л.* К. Н. Батюшков в 1814–1815 гг. С. 373–374).

321

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 11 августа 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 343.

Там же. С. 343–344.

Есть искушение также заподозрить Батюшкова в подсознательном подражании хорошо известным биографическим обстоятельствам В. А. Жуковского, пережившего любовную драму с М. А. Протасовой. Мифологема «истинный поэт не может быть счастлив в любви», подтвержденная личным опытом такой знаковой фигуры, как Жуковский, вполне могла сыграть свою роковую роль.

324

Письмо П. А. Вяземскому от второй половины марта 1815 // Там же. С. 323.

325

Там же. С. 324.

326

Воспоминания Ф. А. Оома // Русский архив. 1896. Т. 2. № 6. С. 225.

327

Гнедич Н. И. Записная книжка // *Тихонов* Я. Николай Иванович Гнедич: несколько данных для его биографии по неизданным источникам. СПб., 1884. С. 76.

328

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 11 августа 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 343.

329

Письмо Н. И. Гнедичу от 11 августа 1815 // Там же. С. 345.

Зорин А. Л. К. Н. Батюшков в 1814–1815 гг. С. 373–374.

331

Письмо В. А. Жуковскому от 3 ноября 1814 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 310.

332

Письмо П. А. Вяземскому от 25 марта 1815 // Там же. С. 326.

333

Письмо П. А. Вяземского К. Н. Батюшкову от 5 апреля 1815 // П. А. Вяземский: Письма к К. Н. Батюшкову//Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. С. 143. Под «родителем экзаметров» Вяземский подразумевает Н. И. Гнедича.

334

Письмо П. А. Вяземскому от второй половины марта 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 324.

335

И ты, Брут? *(фр.)*.

336

Письмо П. А. Вяземского К. Н. Батюшкову от середины января 1815 // П. А. Вяземский: Письма к К. Н. Батюшкову // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. С. 141.

337

Письмо Н. И. Гнедичу от 28–29 октября 1816 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 410.

338

Письмо П. А. Вяземскому от второй половины марта 1815// Там же. С. 325.

339

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 11 августа 1815 // Там же. С. 344.

Об этом сопоставлении О. А. Проскурин пишет так: «Тематически „К другу“ представляет собою как бы поэтическую вариацию Экклезиаста: экклезиастическая ситуация оказалась опрокинута в современность; собственный духовный опыт осмыслялся в категориях и параметрах библейской мудрости. Это было ново и смело. Но еще смелее было то, что библейский „прототекст“ сплетался с новейшими литературными текстами, которые в сознании Батюшкова выступали знаками определенных культурных ориентиров, определенных ценностных комплексов, теперь подвергавшихся осмыслению и переосмыслению» (*Проскурин О. А.* Батюшков и поэтическая школа Жуковского // Новые безделки. С. 103).

341

Письмо П. А. Вяземскому от 25 марта 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 327.

342

По тонкому замечанию О. А. Проскурина, описание Лилы и ее преждевременной смерти соотносится с аналогичным фрагментом, посвященным смерти Андрея Тургенева в стихотворении Жуковского «Тургеневу, в ответ на его письмо» (*Проскурин О. А.* Батюшков и поэтическая школа Жуковского // Новые безделки. С. 107).

343

Пушкин А. С. Заметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова. С. 398.

344

См. письмо Н. И. Гнедичу от 30 октября 1813 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 262.

345

Ja wohl bin ich nur ein Wandrer, ein Waller auf der Erde! (*Goethe J. W.* Die Leiden des Jungen Werthers. СПб., 2005. S. 133).

Подробнее о встрече Батюшкова с Пушкиным см.: *Зорин А. Л.* К. Н. Батюшков в 1814–1815 гг. С. *316–371*.

347

Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. Л., 1991. С. 89, 91. Цявловский, вероятно, ошибочно датирует встречу Батюшкова с Пушкиным февралем.

Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951. С. 73–74.

349

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 27 апреля 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 328.

350

Письмо Н. И. Гнедичу от начала июня 1815 // Там же. С. 336.

351

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 6 июня 1815// Там же. С. 337.

352

Письмо Н. И. Гнедичу от начала июня 1815 //Там же. С. 336.

353

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 1 августа 1815 // Там же. С. 340.

354

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 13 июля 1815 // Там же. С. 339–340.

355

Письмо А. Н. Батюшковой от 11 августа 1815 // Там же. С. 342.

В высоком стиле *(фр.)*.

357

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 11 августа 1815 // Там же. С. 344.

358

Письмо В. А. Жуковскому от августа 1815 // Там же. С. 347.

359

Письмо В. А. Жуковскому от середины декабря 1815 // Там же. С. 363.

Кошелев В. А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 222; *Зубков Н. Н.* Опыты на пути к славе // *Зорин А., Немзер А., Зубков Н.* Свой подвиг свершив… С. 295.

361

Батюшков К. Н. Петрарка // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 132.

Зубков Н. Н. Опыты на пути к славе. С. 295.

Батюшков К. Н. Петрарка. С. 131.

Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 169.

365

Воспоминания Ф. А. Оома. С. 224.

366

Письмо К. Н. Батюшкову С. И. Муравьева-Апостола от 22 февраля 1816// Русская старина. СПб., 1893. Т. 78. С. 407–408 (перевод с фр. Л. Н. Майкова).

Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 61.

Батюшков К. Н. Петрарка. С. 130–131.

Подробнее о влиянии Петрарки на творчество Батюшкова см.: *Пильщиков И. А.* Из истории русско-итальянских литературных связей: Батюшков, Петрарка, Данте // Дантовские чтения. М., 2000. С. 10.

Батюшков К. Н. Петрарка. С. 137.

371

Там же.

Вацуро В. Э. Литературная школа Лермонтова // *Вацуро В. Э.* Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 494.

Там же. С. 498.

374

Письмо В. А. Жуковскому от августа 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 347.

Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе: Серия «Литературные памятники». С. 543.

376

Письмо Н. И. Гнедичу от 11 августа 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 345.

377

Письмо А. Н. Батюшковой от 19 ноября 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 358.

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 17 декабря 1815 // Там же. С. 366. Эти два высказывания Батюшкова, в частности, подтверждают, что разрыв с А. Ф. Фурман произошел в течение 1815 года, а не в августе 1814-го.

379

Письмо А. Н. Батюшковой от 19 ноября 1815 // Там же. С. 359.

380

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 19 ноября 1815 // Там же. С. 360.

381

Письмо А. Н. Батюшковой от 7 января 1816 // Там же. С. 370.

382

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 30 января 1816 // Там же. С. 373.

Вигель Ф. Ф. Записки. С. 82.

Там же. С. 199.

См.: *Проскурин О. А.* Поминки по Бибрису. С. 81–115.

386

Письмо П. А. Вяземскому от 11 ноября 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 357.

387

Письмо В. А. Жуковскому от середины декабря 1815 //Там же. С. 365.

388

С. С. *Уваров* — в то время, о котором идет речь, — дипломат, знаток древних и новых языков, литературы, археологии, почетный член Академии наук, страстный противник «Беседы» и поклонник Карамзина, автор научных трудов по филологии, блестящий критик, одаренный несомненным литературным талантом.

389

Вигель Ф. Ф. Записки. С. 201.

Там же. С. 202.

391

Письмо В. А. Жуковскому от середины декабря 1815 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 364.

392

Речь Д. Н. Блудова при вступлении в «Арзамас» К. Н. Батюшкова. 27 августа 1817 г.// Арзамас. С. 430–431.

393

Письмо А. Н. Батюшковой от 16 февраля 1816 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 374.

394

Письмо А. Н. Батюшковой от 19 апреля 1816 // Там же. С. 388.

395

Письмо А. Н. Батюшковой от 10 июля 1816 // Там же. С. 392.

Кошелев В. А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 238.

397

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 6 августа 1816 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 396.

398

Письмо Н. И. Гнедичу от 23 марта 1810//Там же. С. 125.

399

До нашего времени дошли четыре тетради, блудовская была затеряна владельцем и со временем заменена новой — с измененным составом.

400

Письмо Н. И. Гнедичу от начала сентября 1816 // Там же. С. 400.

401

Письмо Н. И. Гнедичу от 28–29 октября 1816//Там же. С. 409.

Иди, хоть и неотделанная *(лат.)*.

403

Там же.

Письмо Н. И. Гнедичу от 17 августа 1816 // Там же. С. 397.

405

Гнедич примерно в то же время написал стихотворение «Рождение Омира». [Об этом стихотворении Батюшков упоминает в письме от 7 февраля 1817 года: «Филимонов скажет тебе, что я читал ему Бой Гезиода и Омира (я писал тебе об нем) и что я употребил выражение *слепец всевидящий*, говоря об Омире. Как мы сошлись? Это, право, странно — и *потомство*? что скажет? Подумает, что я обокрал тебя! Это ужасно! Я целую ночь не мог спать, и голова разболелась от беспокойства» (Там же. С. 422)].

406

Письмо Н. И. Гнедичу от 27 ноября 1816 // Там же. С. 412–413.

407

Письмо Н. И. Гнедичу от марта 1817 // Там же. С. 433.

Письмо В. А. Жуковскому от июня 1817 // Там же. С. 442.

409

Письмо Н. И. Гнедичу от начала июня 1817 // Там же. С. 449.

410

Письмо Н. И. Гнедичу от 17 июля 1817 // Там же. С. 451.

411

Уваров С. С. «Опыты в стихах и прозе» г-на Батюшкова // Арзамас: Сборник. Т. 2. С. 96.

412

Анализ состава сборника и подробная история его создания содержатся в статье Н. Зубкова: Опыты на пути к славе: О единственном прижизненном издании К. Н. Батюшкова//Свой подвиг свершив… М., 1987. С. 265–350.

413

Письмо Н. И. Гнедичу от июня — начала июля 1817 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 446–447.

Проскурин О. А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 57.

Батюшков К. Н. Сочинения. Т. 2. С. 447.

416

Стихотворение «Беседка муз» заняло последнюю, ударную позицию совершенно случайно.

417

Письмо Н. И. Гнедичу от второй половины января 1817 //Там же. С. 419.

418

Там же.

419

Письмо Н. И. Гнедичу от марта 1817 // Там же. С. 432.

420

Ср. в «Вакханке»: «Все на праздник Эригоны / Жрицы Вакховы *текли*».

421

Тема бесприютности мира, выраженная той же формулой «из края в край», отчетливо читается в других стихотворных произведениях Батюшкова, например, в элегии «Разлука»(1815): «Напрасно я скитался / Из края в край…» Замечено Н. В. Фридманом (см.: *Фридман Н. В.* Поэзия Батюшкова. С. 198).

Попутно заметим, что Батюшков использует ту же формулу еще раз, будучи уже давно и безнадежно больным, в стихотворении «Подражание Горацию» (1852), только совсем в ином значении. Сознание больного поэта нашло беспроигрышный способ борьбы с мыслью о неизбежности смерти. «Не знаю смерти я», — напишет Батюшков, теперь уже не ощущающий различий между собой и бессмертными богами.

423

Как заметил И. З. Серман, Батюшков перевел элегию Мильвуа очень близко к подлиннику. Все изменения, которые он внес, касаются стилистики элегии *(Ilya Z. Serman.* Konstantin Batyushkov. P. 109).

424

Письмо В. Л. Пушкину от начала марта 1817 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 430.

425

Письмо Н. И. Гнедичу от 27 февраля 1817 // Там же. С. 423.

426

Письмо П. А. Вяземскому от 4 марта 1817 // Там же. С. 424.

427

Письмо П. А. Вяземскому от 9 марта 1817 // Там же. С. 428.

Письмо П. А. Вяземскому от 23 июня 1817 // Там же. С. 446.

429

Набело *(фр.)*.

430

В полном наряде учителя *(фр.)*.

431

Письмо П. А. Вяземскому от 28 августа 1817 //Там же. С. 458.

432

Письмо Н. М. Карамзина Е. Ф. Муравьевой от лета 1818 года: «А. И. Тургенев сказывал мне, что вы желали бы отдать нам ваш верхний этаж: это было бы для нас прекрасно, но боюсь вашей деликатности» (Письма и записки Н. М. Карамзина Е. Ф. Муравьевой // Русский архив. М., 1867. Кн. 1–3. Ст. 458).

433

Письмо А. Н. Батюшковой от 29 сентября 1817 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 463.

434

Письмо А. Н. Батюшковой от 19 октября 1817 // Там же. С. 466.

Ковалевский Е. П. Граф Блудов и его время. СПб., 1866. С. 131–132.

436

Блудова А. Д. Из «Воспоминаний и записок» // Арзамас. Т. 1. С. 130.

437

Письмо П. А. Вяземскому от сентября 1817 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 464–465.

Цит. по: *Кошелев В. А.* Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 255.

439

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 6 декабря 1817 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 474.

С ним Батюшков сошелся довольно близко еще в 1812 году, когда в Нижнем Новгороде им пришлось делить одну квартиру.

441

Письмо А. Н. Батюшковой от 11 мая 1818 // Там же. С. 486.

442

Письмо В. А. Жуковскому от января 1818 // Там же. С. 478.

443

Кюхельбекер В. К. О греческой антологии //Сын Отечества. 1820. Ч. 62. № 23. С. 145–151.

444

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 19 февраля 1818 // Остафьевский архив. Т. 1. С. 93.

445

Письмо А. Н. Оленину от марта 1818 // *Батюшков К. И.* Сочинения. Т. 2. С. 482.

Габлиц К. И. Физическое описание Таврической области, по ее местоположению, и по всем трем царствам природы. СПб.: Тип. И. Вейтбрехта, 1785.

Нарушевич А. С. Таврикия, или Известия древнейшия и новейшия о состоянии Крыма и его жителей до наших дней. Киев, 1788.

448

Письмо П. А. Вяземскому от 9 мая 1818 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 484.

449

Письмо Александру I от июня 1818 // Там же. С. 498.

450

Письмо А. И. Тургеневу от 9–12 июня 1818//Там же. С. 490.

451

Письмо А. И. Тургеневу от 23 июня 1818//Там же. С. 499.

452

Письмо А. И. Тургеневу от 9–12 июня 1818//Там же. С. 492.

453

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 13 июня 1818 // Там же. С. 494.

Письмо А. И. Тургеневу от 23 июня 1818//Там же. С. 498.

Там же. С. 498–499.

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 23 июня 1818 // Там же. С. 500.

457

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 12 июля 1818 // Там же. С. 502.

458

Письмо А. И. Тургеневу от 12 июля 1818 //Там же. С. 505.

459

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 12 июля 1818 // Там же. С. 501.

460

Письмо А. Н. Тургеневу от 12 июля 1818 // Там же. С. 504.

461

Письмо А. И. Тургеневу от 30 июля 1818//Там же. С. 510.

Письмо А. Н. Батюшковой от 3 августа 1818 // Там же. С. 512.

463

Письмо А. И. Тургеневу от 10 сентября 1818 //Там же. С. 515.

464

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 18 сентября 1818 // Остафьевский архив. Т. 1. С. 121.

465

Письмо П. А. Вяземскому от начала ноября 1818 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 520.

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 18 декабря 1818 // Там же. С. 525.

Письмо Д. Н. Блудову от начала ноября 1818//Там же. С. 522.

Письмо А. И. Тургеневу от 24 марта 1819// Там же. С. 534.

469

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 20 ноября 1818 // Остафьевский архив. Т. 1. С. 150.

470

Письмо П. А. Вяземскому от начала ноября 1818 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 521.

471

Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 17 ноября 1818 // Остафьевский архив. Т. 1. С. 149.

472

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 18 декабря 1818 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 526.

473

Письмо Н. М. Карамзину от 24 мая 1819 //Там же. С. 544.

474

Письмо Н. М. Карамзина К. Н. Батюшкову от 20 октября 1819// РО ИРЛИ РАН. Архив Грота. 15 976. Л. 62.

Там же.

476

Поскольку я имею честь никогда не соглашаться с теми, кто удостаивает меня чести со мной разговаривать *(фр.)*.

477

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 20 июня 1819// *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 548–549.

Там же. С. 548.

Письмо А. Н. Оленину от февраля 1819 // Там же. С. 529.

Там же. С. 532.

481

Письмо Н. И. Гнедичу от мая 1819 // Там же. С. 537.

Письмо А. Н. Оленину от февраля 1819 // Там же. С. 530.

483

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 1 июля 1819 // Там же. С. 550.

Там же.

485

Письмо А. И. Тургеневу от 24 марта 1819 // Там же. С. 534.

Письмо С. С. Уварову от мая 1819 // Там же. С. 540.

Там же. С. 551.

Письмо А. И. Тургеневу от 24 марта 1819//Там же. С. 533.

489

Письмо В. А. Жуковскому от 1 августа 1819 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 555–556.

Там же. С. 556.

491

Там же.

Это мнение оспаривает В. Э. Вацуро, который датирует элегию 1821 годом и связывает ее создание с «Невыразимым» Жуковского и «Погасло дневное светило…» Пушкина *(Вацуро В. Э.* Последняя элегия Батюшкова: К истории текста // Ясская речь. 1993. № 2. С. 11–15).

Там же. С. 17–21.

494

Письмо К. В. Нессельроде от 24 декабря 1821 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 577. (Оригинал по-французски.)

495

Письмо А. Н. Оленину от февраля 1819 // Там же. С. 529.

Письмо С. С. Уварову от мая 1819 // Там же. С. 539.

497

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 24 мая 1819 // Там же. С. 541.

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 20 июня 1819 // Там же. С. 546.

499

Письмо В. А. Жуковскому от 1 августа 1819 // Там же. С. 556.

500

Письмо А. И. Тургеневу от 3 октября 1819 // Там же. С. 561.

501

Письмо С. Ф. Щедрина родителям от 20 сентября 1820 // *Щедрин С. Ф.* Письма из Италии. М.; Л., 1932. С. 142–143.

502

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 24 мая 1819 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 542.

503

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 18 мая 1820 // Там же. С. 565.

Письмо Е. Ф. Муравьевой от 13 января 1821 // Там же. С. 568.

505

Кошелев В. А. Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 284.

506

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1956–1958. Т. 6. С. 689.

507

Сын Отечества. СПб., 1821. Ч. 68. № 8. С. 35–36.

508

Письмо Н. И. Гнедичу от 21 июля 1821 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 569.

509

А. С. Пушкин, еще ничего не зная о состоянии Батюшкова, предположил, что его обида была связана с низким качеством текста, который мог быть воспринят читателями как батюшковский («слог его бледен, как мертвец»).

510

Письмо А. С. Пушкина Л. С. Пушкину от 4 сентября 1822 // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 10. С. 37–38.

511

Письмо Н. И. Гнедичу от 21 июля 1821 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 570.

Зубков Н. Н. Опыты на пути к славе // *Зорин А., Немзер А., Зубков Н.* Свой подвиг свершив… С. 349.

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. С. 310.

Сын Отечества. 1821. Ч. 70. № 24. С. 177.

515

Гг. Издателям Сына Отечества и других русских журналов // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 571.

516

Письмо Н. И. Гнедичу от 26 августа 1821 // Там же. С. 572–573.

517

Плетнев П. А. Письмо графине С. И. С. о русских поэтах // Сочинения и переписка П. А. Плетнева. В 3 т. СПб., 1885. Т. 1. С. 176.

518

Письмо Н. М. Карамзина П. А. Вяземскому от 30 сентября 1821 // Письма Н. М. Карамзина князю П. А. Вяземскому: 1810–1826. СПб., 1897. С. 118.

519

Жуковский В. А. Дневники 1821 года // *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 2004. Т. 13. С. 233.

520

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 7 февраля 1822 // Остафьевский архив. Т. 2. С. 244.

521

Принятые в арзамасских кругах пародийные имена членов «Беседы» — Шишкова, Хвостова и Шаховского.

522

С 1816 года К. В. Нессельроде занимал пост управляющего иностранной коллегией, в то время как И. А. Каподистрия ведал иностранными сношениями. Таким образом, существовало одновременно два министра иностранных дел. Такая ситуация продолжалась до 1822 года, когда Каподистрия был отправлен в отставку.

523

Письмо Александру I от 12 декабря 1821 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 578.

524

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 17 марта 1822 // Остафьевский архив. Т. 2. С. 249.

Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 288.

526

Письмо Н. М. Карамзина И. И. Дмитриеву от 19 мая 1822 // Письма Н. И. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 329.

527

Письмо А. С. Пушкина Л. С. Пушкину от 21 июля 1822 // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В Ют. Т. 10. С. 35.

528

Письмо Н. М. Карамзина П. А. Вяземскому от 5 апреля 1823// Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому: 1810–1826. С. 139.

529

Цит. по: *Кошелев В. А.* Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 293.

530

Сушков Н. В. Обоз к потомству с книгами и рукописями // Раут: Исторический и литературный сборник. М., 1854. Кн. 3. С. 278–279.

531

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 3 апреля 1823// Остафьевский архив. Т. 2. С. 309.

532

Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 9 апреля 1823 // Там же. С. 311.

533

Не безумен *(фр.)*.

534

Письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу от 15 апреля 1823 // Там же. С. 312.

535

Там же.

536

Речь идет о ране на шее, оставшейся после попытки самоубийства.

537

Дружба, дружба, дружба *(фр.)*.

Вы забываете о смерти *(фр.)*.

539

Что весь мир держит его в повиновении *(фр.)*.

540

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 8 мая 1823 // Остафьевский архив. Т. 2. С. 319–320.

541

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 11 мая 1823 // Там же. С. 322.

542

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 18 мая 1823 // Там же. С. 323.

543

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 22 мая 1823 // Там же. С. 324.

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 12 июня 1823 // Там же. С. 331.

Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 288.

Возлюбленная тень *(ит.)*.

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. С. 319.

Вяземский П. А. Полное собрание сочинений: В 12 т. СПб., 1883. Т. 8. С. 481.

549

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от 28 августа 1823 // Остафьевский архив. Т. 2. С. 341.

550

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от весны 1824 // Остафьевский архив. Т. 3. С. 22.

551

Письмо Н. М. Карамзина П. А. Вяземскому от 27 ноября 1823 // Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому: 1810–1826. С. 148.

552

Письмо Александру 1 от 11 апреля 1824 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 584–585.

553

Цит. по: *Кошелев В. А.* Константин Батюшков: Странствия и страсти. С. 291.

554

Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому от мая 1824 // Остафьевский архив. Т. 3. С. 50.

555

Цит. по: *Айзикова И. А.* Темы и сюжеты переписки В. А. Жуковского и Е. Г. Пушкиной // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 2(10). С. 49.

Твердое сознание *(нем.)*.

Тургенев А. И. Дневники: 1825–1826// *Тургенев А. И.* Хроника русского. Дневники (1825–1826). М.; Л., 1964. С. 288.

Там же. С. 288–289.

559

Эта записка датируется 28 марта 1826 года, очевидно, ошибочно, исходя из перевернутого представления о времени самого Батюшкова (*Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 586). Скорее всего она была написана 28 августа 1826 года, когда Жуковский посетил Пирну. В этот день он записал в дневнике: «Пирна. У Батюшковой» *(Жуковский В. А.* Дневники. Письма — дневники. Записные книжки: 1804–1833 *// Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 1999–2004. Т. 13.С. 251).

560

Письмо Е. Г. Пушкиной от 11 марта 1826 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 585–586.

561

Дитрих А. О болезни русского императорского надворного советника и дворянина господина Константина Батюшкова // *Майков Л. Н.* Батюшков, его жизнь и сочинения. С. 488–499.

Игра слов: сознательно искаженная Батюшковым фамилия в переводе с французского означает: «сверкающий замок». *(Прим. пер.)*

563

Паламарчук П. Г. Москва Батюшкова // *Паламарчук П. Г.* Два московских сказания. М., 1987. С. 67.

564

Родина Данте, родина Ариосто, родина Тассо, о дорогая моя родина, и я тоже художник! *(ит.)*.

Здесь я хотел бы уснуть, уснуть навеки *(нем.)*.

566

Туда, туда, там моя Родина! *(нем.)*.

567

Письмо Д. В. Дашкова к неизвестному лицу, осень 1828 // *Батюшков К. Н.* Сочинения: В 3т. СПб., 1885–1887. Т. 1. С. 332–333.

568

Информация о болезни и смерти А. Н. Батюшковой взята из книги: *Лазарчук Р. М.* К. Н. Батюшков и Вологодский край. С. 139–149.

569

Письмо Д. В. Дашкова к неизвестному лицу, осень 1828 // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 1. С. 333.

Новиков Н. Н. К. Н. Батюшков под гнетом душевной болезни. Историко-литературный психологический очерк. Арзамас, 2005. С. 168.

571

О связи этого стихотворения Пушкина с посещением больного Батюшкова см.: *Алексеев М. П.* Несколько новых данных о Пушкине и Батюшкове // Известия Академии наук СССР: Отделение литературы и языка. Т. 8. Вып. 4. М.; Л., 1949. С. 369–372.

Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1890. Кн. 3. С. 36.

573

Письмо В. А. Жуковского П. Д. Северину от 13 апреля 1830 // Русская старина. 1896. № 7. С. 84.

Дитрих А. О болезни русского императорского надворного советника и дворянина господина Константина Батюшкова. С. 516.

О других детях А. Н. Гревенс (Батюшковой) есть упоминания в письмах; со временем эти упоминания исчезают.

Современный адрес дома протоиерея П. В. Васильевского: Советский проспект, 20.

Никитенко А. В. Записки // *Никитенко А. В.* Записки и дневник: В 3 т. М., 2004. Т. 1.С. 114–115.

Никитенко А. В. Дневник: 1834 год // Там же. С. 345.

579

П*[огодин] М.* Вологда // Москвитянин. 1842. Ч. IV. № 8. С. 281–282.

580

Современный адрес в Вологде: улица Батюшкова, 2.

581

Лазарчук Р. М. К. Н. Батюшков и Вологодский край. С. 309.

А. В. Башинский — директор Вологодской гимназии.

583

Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь: В 2 ч. М., 1850. Ч. 1.С. 109–110.

Власов А. С. Заметки о жизни К. Н. Батюшкова в Вологде// История в лицах: Историко-культурный альманах. Череповец, 1993. Вып. 1. С. 151.

585

Берг Н. В. Встреча с Батюшковым // *Шевырев С. П.* Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Ч. 1. С. 111–114.

586

РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 3055. Л. 10 об.

Власов А. С. Заметки о жизни К. Н. Батюшкова в Вологде. С. 155.

Там же. С. 151.

589

Модест Гревенс скончался от скарлатины 21 января 1850 года в возрасте шести лет.

590

Письмо В. А. Писарева Ф. Н. Фортунатову от 7 октября 1855 //История в лицах: Историко-культурный альманах. Вып. 1.Череповец, 1991.С. 158.

591

Власов А. С. Заметки о жизни К. Н. Батюшкова в Вологде. С. 153.

592

Гревениц П. Г. Несколько заметок о К. Н. Батюшкове // Вологодские губернские ведомости. 1855. 22 октября. № 43. Неофициальная часть. С. 362–363.

593

Сорокин П. <Некролог> // Вологодские губернские ведомости. 1855. 16 июля. № 29. Неофициальная часть. С. 250.

Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…» Л. 1967. С. 247.

Благой Д. Д. Комментарии // *Батюшков К. Н.* Сочинения. М.; Л., 1934. С. 549.

596

Письмо А. Г. Гревенс 1849 (?) // *Батюшков К. Н.* Сочинения. Т. 2. С. 587–588.

597

Стихотворение было опубликовано в «Русской старине» в 1883 году (Т. XXXIX. С. 551). После русского текста следовал сделанный Батюшковым же перевод его на французский язык прозой.

598

По свидетельству А. С. Власова, «из светлого периода своей жизни Батюшков сохранил в своей памяти сильное удивление и высокое почитание талантов Наполеона I» *(Власов А. С.* Заметки о жизни К. Н. Батюшкова в Вологде. С. 151).

599

Есть также следующее свидетельство А. С. Власова о посещении Батюшковым вместе с его компаньоном церковной службы: «<…Батюшков изъявил желание войти во храм; компаньон его согласился на это, присовокупив, что он должен вести себя там как следует и ничего не говорить. „Хорошо, хорошо, — отвечал Константин Николаевич, — будьте покойны, я ничего не сделаю; мне только хочется взглянуть, как они там молятся мне“» *(Власов А. С.* Заметки о жизни К. Н. Батюшкова в Вологде. С. 156).

600

Стихотворение было опубликовано в 1819 году в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» (№ 10) под названием «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны». Теоретически Батюшков мог знать этот текст либо от друзей (скажем, от Блудова), либо из самого журнала. Но никаких прямых подтверждений этому у нас нет.

601

Шевырев С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Ч. 1. С. 109–110.

602

Надпись к портрету графа Буксгевдена Шведского и Финского. Та же надпись к образу Хвостова-Суворова. Опубликовано: Русская старина. 1883. Т. XXXIX. С. 552. Ср. рассуждения о Боге героя комедии Ж. Б. Мольера «Дон Жуан» Сганареля: «А я рассуждаю так: что бы вы ни говорили, есть в человеке что-то необыкновенное — такое, что никакие ученые не могли бы объяснить. Разве это не поразительно, что вот я тут стою, а в голове у меня что-то такое думает о сотне всяких вещей сразу и приказывает моему телу всё, что угодно? Захочу ли я ударить в ладоши, вскинуть руки, поднять глаза к небу, опустить голову, пошевелить ногами, пойти направо, налево, вперед, назад, повернуться… *(Поворачивается и падает.)»* (пер. с фр. А. В. Федорова).

Все даты приведены по старому стилю.